

# РОБЕРТ ХАРРИС



Основательно, увлекательно, достоверно.

*The New York Times Book Review*





The Big Book. Исторический роман

Роберт Харрис

# **Империй. Люструм. Диктатор**

«Азбука-Аттикус»

2006, 2009, 2015

УДК 821.111  
ББК 84(4Вел)-44

**Харрис Р.**

Империй. Люструм. Диктатор / Р. Харрис — «Азбука-Аттикус»,  
2006, 2009, 2015 — (The Big Book. Исторический роман)

ISBN 978-5-389-23786-5

В истории Древнего Рима фигура Марка Туллия Цицерона одна из самых значительных и, возможно, самых трагических. Ученый, политик, гениальный оратор, сумевший искусством слова возвыситься до высот власти... Казалось бы, сами боги покровительствуют своему любимцу, усыпая его путь цветами. Но боги – существа переменчивые, человек в их руках – игрушка. И Рим – это не остров блаженных, Рим – это большая арена, где если не победишь ты, то соперники повергнут тебя, и часто со смертельным исходом. Заговор Катилины, неудачливого соперника Цицерона на консульских выборах, и попытка государственного переворота... Козни влиятельных врагов во главе с народным трибуном Клодием, несправедливое обвинение и полтора года изгнания... Возвращение в Рим, гражданская война между Помпеем и Цезарем, смерть Цезаря, новый взлет и следом за ним падение, уже окончательное... Трудный путь Цицерона показан глазами Тирона, раба и секретаря Цицерона, верного и бессменного его спутника, сопровождавшего своего господина в минуты славы, периоды испытаний, сердечной смуты и житейских невзгод.

УДК 821.111  
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-23786-5

© Харрис Р., 2006, 2009, 2015

© Азбука-Аттикус, 2006, 2009, 2015

## Содержание

Империй	8
От автора	10
Часть первая	11
Часть вторая	109
Конец ознакомительного фрагмента.	156

# Роберт Харрис

## Империй. Люструм.

### Диктатор: роман-трилогия

Robert Harris

IMPERIUM

Copyright © 2006 by Robert Harris

LUSTRUM

Copyright © 2009 by Robert Harris

DICTATOR

Copyright © 2015 by Robert Harris

All rights reserved

*Роман «Люструм» ранее издавался под названием «Очищение».*

© А. В. Новиков (наследники), перевод, 2007

© Ю. О. Кирильченко (наследник), перевод, 2007

© А. С. Петухов (наследник), перевод, 2014

© А. Г. Овчинникова, перевод, 2017

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Азбука®

\* \* \*

Роберт Харрис родился в английском городе Ноттингем. Окончил Кембридж, работал журналистом на Би-би-си и политическим редактором газет «The Observer», «The Sunday Times», «The Daily Telegraph». Как писатель начал с публицистики, первый его художественный роман «Фателанд» (1992), написанный в жанре альтернативной истории, стал бестселлером, и по нему был поставлен одноименный фильм.

На сегодняшний день Роберт Харрис – автор более десятка остросюжетных произведений, многие из которых экранизированы (в том числе такими мастерами мирового кино, как Роман Полански, – фильм «Призрак», 2010) и переведены на многие языки мира.

\* \* \*

Основательно, увлекательно, достоверно.  
*The New York Times Book Review*

«Империи», возможно, самая совершенная из работ Харриса на сегодняшний день.  
*Los Angeles Times*

Настоящий мастер на пике своего творчества...  
*Mail of Sunday*

Умнейший автор бестселлеров из тех, кто работает сегодня...  
*Esquire*

И снова Харрису удалось с удивительным искусством оживить историю.  
*The Washington Post*

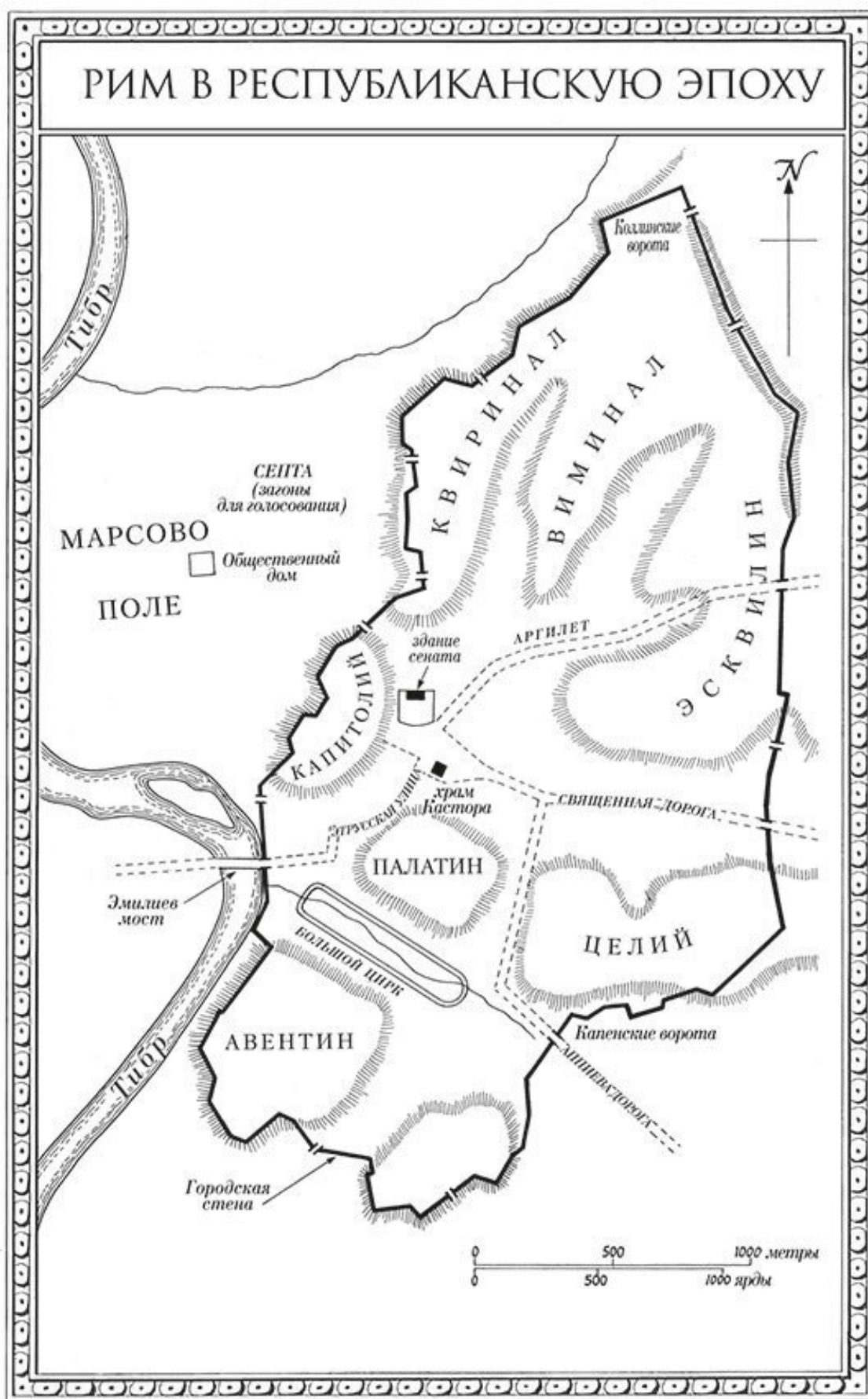
## Империй

*Посвящается Сэму и памяти Одри Харрис (1920–2005)*

*ТИРОН, Марк Туллий – образованный вольноотпущенник и друг Цицерона. Он был не только личным секретарем и помощником оратора в его литературных трудах, но и сам являлся автором литературных и энциклопедических трудов, изобретателем скорописи – системы стенографических знаков, позволявшей полностью и без ошибок записывать слова оратора, как бы быстро они ни произносились. После смерти Цицерона Тирон купил имение неподалеку от Путеол, удалился от дел и жил там до тех пор, пока, по свидетельству Иеронима, ему не исполнилось сто лет. Квинт Асконий Педиан ссылается на четвертую книгу жизнеописания Цицерона, принадлежащего перу Тирона.*

*Словарь греческих и римских жизнеописаний и мифов. Том III. Издание Уильяма Смита, Лондон, 1851 г.*





## От автора

За несколько лет до нашей эры Тирон, бывший письмоводитель римского оратора и государственного деятеля Цицерона, составил его жизнеописание.

И существование Тирона, и факт написания им этой книги подтверждаются различными источниками. «Твои услуги по отношению ко мне неисчислимы: в домашней жизни, в суде, в Риме, в провинции, в частной, в общественной жизни, в моих занятиях и сочинениях»<sup>1</sup>, – писал ему Цицерон. Тирон, родившийся в семье рабов, был тремя годами моложе своего хозяина, но намного пережил его и, если верить святому Иерониму, скончался в столетнем возрасте. Тирон первым начал дословно записывать речи сенаторов, а его система скорописи – *Notae Tironianae* – использовалась церковью еще в VI веке. Некоторые ее составляющие (символ &, сокращения etc., NB, i. e., e. g.) дожили до нашего времени. Тирон был также автором нескольких трактатов по истории латинского языка. Историк I века Асконий Педиан в своих комментариях к речам Цицерона упоминает в качестве источника его многотомное жизнеописание Цицерона; Плутарх ссылается на Тирона дважды. Но все труды Тирона, включая этот, погибли во время крушения Римской империи.

Периодически исследователи задаются вопросом о том, как мог выглядеть этот труд. В 1985 году Элизабет Роусон из оксфордского колледжа Корпус-Кристи предположила, что Тирон, вероятно, следовал эллинистической традиции создания биографий – его произведение было «незатейливым, лишенным риторических украшений; он мог цитировать документы, но охотнее помещал высказывания своего героя, мог приводить слухи и необоснованные утверждения... Ему нравилось повествовать о странностях героя... Это жизнеописание было рассчитано не на государственных деятелей и военачальников, а на тех, кого римляне звали *curiosi*, любопытствующими». Именно в этом духе я начал воссоздавать утраченный труд Тирона.

Это роман, а не исследование, и там, где художественность вступала в противоречие с исторической строгостью, я без колебаний отдавал предпочтение первой. Тем не менее я старался, насколько возможно, придерживаться фактов и вставлять подлинные слова Цицерона, дошедшие до нас во многом благодаря Тирону. Для удобства читателей в конце помещены глоссарий политических терминов и список действующих лиц.

*Роберт Харрис*

---

<sup>1</sup> Перев. В. Горенштейна.

## Часть первая Сенатор 79–70 гг. до н. э.

*Urbem, urbem, mi Rufe, cole et inista luce viva!*  
*В Риме, в Риме оставайся, мой Руф, и живи в этом городе света<sup>2</sup>.*  
*Из письма Цицерона Марку Целию Руфу. 26 июня 50 г. до н. э.*

### I

Мое имя – Тирон. Целых тридцать шесть лет я был личным письмоводителем Цицерона, одного из самых выдающихся государственных деятелей Рима. Сначала эта работа казалась мне увлекательной, потом – удивительной, затем – трудной и, наконец, стала крайне опасной. За эти годы он провел со мной больше времени, чем с женой и домочадцами. Я присутствовал на его частных встречах и передавал его тайные сообщения. Я записывал его речи, письма и литературные сочинения – даже стихи. Это был поистине нескончаемый поток слов. Чтобы не упустить ни одного из них, мне даже пришлось придумать способ, который сейчас используют для записи выступлений в сенате. За это изобретение мне пожаловали скромное вспомоществование. Оно, а также небольшое наследство и доброта старых друзей помогают мне существовать с тех пор, как я ушел на покой. Старикам ведь много не нужно, а я очень стар. Мне уже почти сто лет, – по крайней мере, так говорят люди.

На протяжении десятилетий, минувших со дня смерти Цицерона, меня часто спрашивали – преимущественно шепотом, – каким он был на самом деле, но каждый раз я хранил молчание. Откуда мне знать, может, это были подосланные правительством соглядатаи! Каждый миг я ожидал смертельного удара из-за угла. Но теперь, когда мой жизненный путь подходит к концу, я уже не боюсь никого и ничего, даже пытки. Оказавшись в руках палача или его помощников, я не проживу и нескольких секунд. Вот почему я решил написать этот труд и ответить в нем на все вопросы о Цицероне, которые мне задавали. Я буду основываться на собственных воспоминаниях и на письменных свидетельствах, вверенных моему попечению. Поскольку времени мне отпущено очень мало, я намерен работать над этой книгой с помощью своего способа быстрой записи. Для этой цели я уже давно запасаюсь несколькими десятками свитков лучшего папируса.

Я заранее прошу у моих читателей прощения за возможные ошибки и погрешности в стиле. Я также возношу молитвы богам, чтобы моя работа закончилась раньше, чем кончится моя жизнь. Последними словами Цицерона, обращенными ко мне, была просьба рассказать о нем всю правду, и именно это я собираюсь сделать. Если на страницах этой книги он далеко не всегда будет выглядеть образцом добродетели, что ж, так тому и быть. Власть одаривает человека многим, но честность и порядочность редко входят в число ее даров.

А писать я намерен именно о власти и человеке. Я имею в виду ту власть, которая в латинском языке называется словом «империй»<sup>3</sup>. Многие сотни людей стремились к ней, но

---

<sup>2</sup> Перев. В. Горенштейна.

<sup>3</sup> Во времена Римской республики империй означал полноту власти высших магистратов (консула, претора, проконсула, пропретора), а в пределах померия (сакральная городская черта Рима) также и обладание правом интерцессии (наложение запрета) коллегии народных трибунов и правом провокации (апелляция римского гражданина к центуриатным комициям). Империй складывался из права ауспий (птицегадания), набора войска и командования им, созыва комиций, принуждения и наказания. Различался *imperiū domi* (в пределах померия) и *imperiū militiae* (вне померия – в Италии, провинциях и

Цицерон – единственный в истории республики, кто добился ее лишь с помощью своих талантов, не прибегая к другим средствам. В отличие от Метелла и Гортензия, он не происходил из знатной семьи, чье влияние на государственные дела, накопленное за много поколений, сказывалось бы во время выборов. В отличие от Помпея или Цезаря, он не возглавлял войско, способное мечом доставить ему власть; он не владел, наподобие Красса, огромными богатствами, которые помогли бы купить эту власть при помощи золота. У Цицерона был только голос, и он невероятными усилиями превратил этот голос в могучее оружие.

Мне было двадцать четыре года, когда я начал служить Цицерону, ему – двадцать семь. Я был рабом, рожденным в их семейном поместье на холмах близ Арпина, и никогда не видел Рима, он – молодым адвокатом, страдавшим от частых перемен настроения и пытавшимся побороть врожденные телесные недостатки. Немногие осмелились бы сделать ставку на то, что он выйдет победителем в ожидавшей его борьбе.

Голос Цицерона в то время еще не стал тем знаменитым орудием, как впоследствии. Он был резким, а иногда от волнения Цицерон даже начинал заикаться. Думаю, в голове у него вертелось слишком много слов, они стремились вырваться наружу и превращались в комок, застревавший в горле. Так бывает, когда несколько овец, подпираемые сзади отарой, пытаются протиснуться в узкие ворота, толкают друг друга, спотыкаются и падают. Как бы то ни было, зачастую речь Цицерона становилась настолько неразборчивой, что слушатели не могли уловить ее суть. Его нередко называли «грамотеем» или «греком», причем далеко не в лестном смысле. Его ораторский талант никто не ставил под сомнение, однако этого было недостаточно для удовлетворения честолюбия Цицерона. Будучи судебным защитником, он выступал с речами по несколько часов в день, часто на открытом воздухе, в любую погоду, и это давало о себе знать. Голосовые связки работали на пределе, и подчас его голос в течение недели после этого либо дребезжал, либо пропадал вовсе. Постоянная бессонница и недоедание тоже, разумеется, не шли на пользу. Короче говоря, стать видным государственным мужем, чего он страстно желал, Цицерон мог только с помощью знающего человека. Поэтому он решил на время покинуть Рим и пуститься в странствия, чтобы развеять туман в голове, а заодно поучиться у признанных мастеров риторики, которые жили преимущественно в Греции и Малой Азии.

Я поддерживал в порядке небольшую библиотеку его отца и, кроме того, неплохо владел греческим языком, так что Цицерон попросил отца одолжить меня на время (как люди одалживают друг у друга книги), чтобы взять с собой на Восток. В мои обязанности входило договариваться о встречах, устраивать переезды из города в город, платить учителям и так далее. Через год я должен был вернуться к прежнему хозяину. Как это нередко случается с полезными вещами, меня так и не вернули обратно.

Мы встретились в гавани Брундизия в день, на который было назначено отплытие. Дело было в консульство Сервилия Ватия и Аппия Клавдия Пульхра, спустя 675 лет после основания Рима. Цицерон тогда еще ничем не напоминал ту важную особу, в которую превратился позже, – человека, который не может пройти по улице неузнанным. Сейчас, на склоне лет, я часто задумываюсь: что произошло с тысячами бюстов и портретов моего хозяина, которые украшали едва ли не все частные дома и общественные учреждения Рима? Неужели все они разбиты и сожжены?

Молодой человек, поджидавший меня на пристани в то весеннее утро, был худым и сутулым, с неестественно длинной шеей. Большое, с детский кулак, адамово яблоко ходило вверх-вниз, когда он сглатывал. Глаза навывкате, нездоровая желтоватая кожа, впалые щеки – все

---

за рубежом). Лицо, облеченное империем, не имело права входить в пределы померия. Здесь «империй» обычно означает «верховная власть», «командование».

говорило о скверном здоровье. Помнится, я тогда подумал: «Ну, Тирон, постарайся получить от этого путешествия как можно больше, да торопись, ведь оно продлится недолго».

Первым делом мы отправились в Афины: Цицерон намеревался поучиться у философов прославленной Академии. Я донес его поклажу до помещения для занятий, повернулся и вознамерился было уйти, как вдруг он окликнул меня и спросил, куда это я собрался.

– Хочу посидеть в тени вместе с другими рабами, – ответил я. – Если, конечно, у тебя нет других поручений.

– Конечно есть, – сказал он. – Я хочу, чтобы ты проделал для меня работу, требующую немалых усилий.

– Что же я должен делать, господин? – спросил я.

– Пойдешь со мной, сядешь рядом и будешь слушать. Я хочу, чтобы ты имел хоть какое-то представление о философии. Тогда во время наших долгих путешествий я смогу поговорить с тобой о том, что мне любопытно.

Я последовал за Цицероном и удостоился чести внимать самому Антиоху из Аскалона, знаменитому греческому философу, рассказывавшему о трех основаниях стоицизма. Антиох утверждал, что добродетели довольно для счастья, что добродетель – это единственное благо и что чувствам нельзя доверять. Три простых правила, и если каждый будет следовать им – все беды мира исчезнут. Впоследствии мы с Цицероном часто обсуждали такого рода вопросы и, оказываясь в этих чертогах познаний, совершенно забывали о разнице в нашем положении. Мы слушали лекции Антиоха на протяжении трех месяцев, а потом направились туда, где находилась главная цель нашего путешествия.

В те времена главенствовала так называемая азиатская школа риторики. Напыщенная и вычурная, полная высокопарных оборотов и звонких рифм, речь должна была непременно сопровождаться оживленной жестикуляцией, а оратору следовало постоянно находиться в движении. В Риме ярчайшим представителем этой школы был Квинт Гортензий Гортал, считавшийся лучшим оратором того времени. Произнося свои речи, он неистово размахивал руками, а ногами выписывал столь затейливые кренделя, что получил прозвище Плясун. Цицерон очень внимательно присматривался ко всем фокусам Гортензия и в итоге решил обратиться за помощью к его наставникам: Ксеноклу из Адрамиттия, Дионисию Магнесийскому, карийцу Мениппу и даже к самому Эсхилу. Чего стоят одни только имена! С каждым из этих выдающихся людей Цицерон провел по несколько недель, терпеливо постигая их искусство, пока наконец не решил, что выученного достаточно.

– Тирон, – обратился он ко мне однажды вечером, когда я поставил перед ним блюдо с обычной едой – вареными овощами, – я уже сыт по горло общением с этими самовлюбленными зазнайками, от которых разит благовониями. Мы найдем судно, которое отвезет нас на Родос. Теперь мы попробуем действовать иначе и запишемся в школу Аполлония Молона.

И вот весенним утром, сразу после рассвета, когда поверхность пролива Карпатос была гладкой и молочно-белой, словно жемчужина (да простят меня за цветистость речи: я прочитал слишком много греческих стихов и время от времени невольно становлюсь высокопарным), гребное судно доставило нас с материка на древний холмистый остров. На пристани стоял невысокий коренастый мужчина. Это и был Аполлоний Молон.

Родом из Алабанды, Молон раньше был адвокатом, блистательно выступавшим в судах Рима. Как-то раз его даже пригласили выступить в сенате на греческом языке – неслыханная честь! – после чего он удалился на Родос и открыл там собственную школу риторики. Его ораторское искусство являло собой прямую противоположность азиатской и было при этом очень простым: не нужно лишних движений, держи голову прямо, говори по сути дела, умей заставить слушателей плакать и смеяться, а после того как завоюешь их симпатию, умолкни и быстро сядь на место. «Ибо ничто, – говорил Молон, – не высыхает быстрее, чем слеза». Эта теория пришлась Цицерону по душе, и он полностью верил себя заботам Аполлония Молона.

Первым делом Молон заставил Цицерона съесть целую корзину сваренных вкрутую яиц с соусом из анчоусов. Когда Цицерон – не без жалоб, признаюсь вам, – покончил с яйцами, ему принесли огромный кусок жареного на углях мяса и большую чашку козьего молока.

– Ты должен как следует питаться, молодой человек, – проговорил Молон, похлопав себя по гулкой, словно бочка, груди. – Из тонкой дудочки не извлечь громких звуков.

Цицерон сердито посмотрел на наставника, но все же покорно принялся жевать и остановился, лишь когда тарелка оказалась пустой. После этого он впервые не проснулся за ночь. Я знаю это потому, что спал на полу, под дверью его комнаты.

Рано утром настал черед телесных упражнений.

– Выступать на форуме, – объяснял Молон, – все равно что соревноваться в беге. Это занятие требует силы и выносливости.

Он сделал ложный выпад в сторону Цицерона. Тот охнул, отшатнулся назад и едва не упал. Тогда Молон заставил его встать, широко расставив ноги, и делать наклоны – двадцать раз, не сгибая коленей и дотягиваясь пальцами до земли. После того как упражнение было выполнено, учитель заставил Цицерона лечь на спину, завести руки за голову и, не помогая себе ногами, поднимать туловище и садиться. Затем Молон заставил ученика лечь лицом вниз и отжиматься на руках.

Таким был первый день, и с каждым следующим нагрузка возрастала: упражнений становилось все больше, время занятий также увеличивалось. Во вторую ночь Цицерон снова спал как сурок.

Для занятий декламацией Молон выводил своего ретивого ученика с тенистого двора на солнышек и заставлял его читать наизусть заданные отрывки – чаще всего выдержки из записей судебных заседаний или монологов из трагедий. Все это время они гуляли по крутому склону холма, и единственными их слушателями были ящерицы, сновавшие под ногами, да цикады в ветвях оливковых деревьев. Цицерон разработал легкие и научился произносить длинные реплики на одном дыхании.

– Держись средней высоты, – поучал его Молон. – Именно в ней – сила. Не надо забирать высоко или понижать голос.

После обеда наступал черед речей. Молон вел ученика на галечный пляж, отходил на восемьдесят размашистых шагов – самое большое расстояние, на котором слышен человеческий голос, – и заставлял декламировать под свист ветра и шум прибоя. Только с этим, говорил он, можно сравнить гул трех тысяч человек, собравшихся на открытом пространстве, или бормотание нескольких сотен сенаторов. Цицерон должен привыкнуть и не отвлекаться на подобные раздражители.

– А как же содержание моих речей? – спросил учителя Цицерон. – Ведь я должен привлечь слушателей именно силой своих доводов?

Молон лишь передернул плечами:

– Содержание меня не волнует. Вспомни Демосфена: «Лишь три вещи имеют значение для оратора: исполнение речи, исполнение и еще раз исполнение».

– А мое заикание?

– Т-твое з-з-заикание меня тоже не волнует, – с ухмылкой ответил Молон и подмигнул. – А если серьезно, заикание вызывает любопытство и создает впечатление, что ты – честный человек. Демосфен тоже немного шепелявил. Слушатели безошибочно распознают оратора по этим незначительным изъянам речи, а совершенство выглядит скучным. Теперь отойди подальше и постарайся говорить так, чтобы я тебя слышал.

Таким образом, вышло так, что я с самого начала имел редкую возможность наблюдать, как один мастер передает секреты своего мастерства другому.

– Ты не должен так женственно сгибать шею, не должен играть с собственными пальцами. Не шевели плечами. Если хочешь сделать пальцами какой-нибудь жест, прислони сред-



ний палец к большому, а три остальных вытяни. Это выглядит достойно и красиво. Глаза, разумеется, устремлены на эту же руку, кроме тех случаев, когда ты высказываешь отрицание. Например: «О боги, отведите эту напасть!» Или: «О нет, я не заслуживаю подобной чести!»

Записывать тезисы не позволялось, ибо ни один уважающий себя оратор не станет зачитывать речь или даже сверяться со своими пометками. Молон отдавал предпочтение общепотребительному способу запоминания речи: ее сравнивали с воображаемым путешествием по дому оратора.

– Расположи первую мысль, которую ты хочешь довести до аудитории, рядом со входом и представь себе ее лежащей там. Вторую положи в атриуме, и так далее. Представь себе, что ты прогуливаешься по дому, как ты делаешь это обычно, и раскладываешь свои мысли не только по комнатам, но и в каждом алькове, возле каждой статуи. Представь себе, что каждое место, куда ты положил ту или иную мысль, хорошо освещено, что все они отчетливо видны. Иначе ты будешь блуждать в своей речи, как пьяный, который вернулся домой после попойки и не может отыскать собственное ложе.

В том году – весной и летом – Цицерон был не единственным учеником в школе Молона. Через некоторое время к нам присоединились младший брат Цицерона – Квинт, двоюродный брат – Луций и двое друзей: Сервий, шумный защитник в судах, мечтавший стать судьей, и Атик. Щеголеватый, обаятельный Атик был равнодушен к ораторскому искусству, поскольку жил в Афинах и определенно не стремился стать государственным деятелем, но любил проводить время с Цицероном. Увидев Цицерона, все были поражены переменами в его здоровье и внешнем виде. Теперь же, в последний день своего пребывания на Родосе накануне возвращения в Рим – уже наступила осень, – они собрались вместе, чтобы Цицерон продемонстрировал свои успехи в ораторском мастерстве, которых он достиг под руководством Молона.

Хотелось бы мне вспомнить, о чем говорил Цицерон в тот вечер после ужина. Но боюсь, я – ходячее подтверждение циничного изречения Демосфена: содержание – ничто, исполнение – все. Я стоял незаметно, укрывшись в тени; все, что мне запомнилось, это мошки, выющиеся вокруг факелов на внутреннем дворе, звезды, рассыпавшиеся по бездонному ночному небу, и потрясенные, застывшие в восхищении лица молодых людей, освещенные пламенем костра и повернутые в сторону Цицерона. Но я запомнил слова Молона, прозвучавшие, когда его ученик, склонив голову перед воображаемым судом, опустил на свое место. После долгого молчания Молон поднялся и хрипло проговорил:

– Тебя, Цицерон, я хвалю и твоим искусством восхищаюсь, но мне больно за Грецию при виде того, как единственные наши преимущества – образованность и красноречие – по твоей вине тоже уходят к римлянам. Возвращаясь, – добавил он и сделал свой излюбленный жест, протянув три пальца в сторону далекого темного моря. – Возвращаясь, мой мальчик, и покоряй Рим.

«Покоряй Рим»... Легко сказать! Но как это сделать, если из оружия у тебя имеется только собственный голос?

Первый шаг очевиден: надо стать сенатором.

В то время войти в состав сената мог лишь человек не младше тридцати одного года, обладающий к тому же миллионным состоянием. Точнее, миллион сестерциев необходимо было предъявить властям только для того, чтобы стать кандидатом на ежегодных июльских выборах, когда избирались двадцать новых сенаторов вместо тех, которые умерли в течение предыдущего года или обеднели до такой степени, что уже не могли сохранять свои места. Но откуда Цицерону взять миллион? У его отца таких денег определенно не было, семейное имение было маленьким и перезаложенным. Значит, в его распоряжении оставались три обычных способа. На то, чтобы заработать деньги, ушло бы слишком много времени, красть было рис-

кованно, поэтому Цицерон избрал третий способ. Вскоре после нашего возвращения с Родоса он женился на деньгах.

Семнадцатилетняя Теренция была плоскогрудой, сложенной по-мальчишески; голову ее венчала густая шапка черных вьющихся волос. Единоутробная сестра Теренции была весталкой, что подтверждало высокое положение семьи. Что еще более важно, ей принадлежали несколько кварталов в простонародном районе Рима, лес в его окрестностях и поместье. Все вместе стоило миллион с четвертью.

Ах, Теренция, простая, но в то же время величественная и богатая! Истинное совершенство! В последний раз я видел эту женщину всего несколько месяцев назад: ее несли на открытых носилках по прибрежной дороге, ведущей к Неаполю, а она покрикивала на носильщиков, требуя, чтобы те пошевеливались. Седовласая, смуглокожая, а в остальном – почти не изменившаяся.

Итак, Цицерон надлежащим образом был избран в сенат, опередив по числу набранных голосов всех своих соперников. К этому времени он уже считался одним из лучших адвокатов Рима, уступая пальму первенства только Гортензию. Однако, прежде чем занять место в сенате, Цицерон обязан был посвятить один год государственной службе и получил назначение в провинцию Сицилия. Он занимал скромную должность квестора, младшего из магистратов. Поскольку женам не позволялось сопровождать мужей в длительных служебных поездках, Теренция – я уверен, к величайшему облегчению Цицерона, – была вынуждена остаться дома.

Однако меня он взял с собой: к тому времени я превратился в своего рода продолжение Цицерона, и он использовал меня не задумываясь, как дополнительную руку или ногу. Отчасти я стал незаменим потому, что придумал способ записывать его слова так же быстро, как он произносил их. Отдельные значки, обозначающие те или иные слова или словосочетания, со временем заполнили собой целую книгу – их насчитывалось около четырех тысяч. Я, например, заметил, что Цицерон любит повторять некоторые обороты, и научился обозначать их всего несколькими линиями или даже точками, доказав тем самым, что государственные мужи повторяют одно и то же по многу раз. Он диктовал мне, когда сидел в ванне, ехал в качающейся повозке, возлежал за столом, прогуливался за городом. Он никогда не испытывал недостатка в словах, а я – в значках для того, чтобы записать их и сохранить для вечности. Мы были словно созданы друг для друга.

Вернемся к Сицилии. Не пугайся, читатель, я не стану подробно описывать нашу работу там. Как и любые другие государственные дела, она была отчаянно скучной еще в те времена и уж тем более не заслуживает того, чтобы разглагольствовать о ней по прошествии шести десятилетий. А вот что действительно важно и заслуживает упоминания, так это наше возвращение домой. Цицерон намеренно перенес его с марта на апрель, чтобы проехать через Путеолы во время сенатских каникул, когда виднейшие сенаторы и магистраты будут пребывать на побережье Неаполитанского залива и наслаждаться купанием в минеральных источниках. Мне было велено нанять лучшую двенадцативесельную лодку, чтобы мой хозяин торжественно появился на ней в заливе, впервые облачившись в тогу сенатора Римской республики – белоснежную, с пурпурной полосой.

Поскольку мой хозяин убедил себя в том, что на Сицилии он добился грандиозного успеха, он надеялся, вернувшись в Рим, вызвать к себе всеобщее внимание. На сотнях тесных рыночных площадей, под тысячами сицилийских платанов, увешанных осиными гнездами, Цицерон насаждал римские законы – справедливо и с достоинством. Он купил много хлеба, чтобы накормить избирателей в столице, и продал его по смехотворно низкой цене. Его речи на государственных церемониях были образцами такта. Он даже делал вид, что его занимают беседы с местными жителями. Иными словами, Цицерон был уверен, что блестяще справился с поручением, и бахвалился о своих успехах в многочисленных отчетах для сената. Должен признаться, иногда я на свой страх и риск делал эти послания чуть менее высокопарными,

прежде чем вручить их гонцу из Рима, и намекал хозяину на то, что Сицилия, возможно, не является пупом земли, но он оставался глух к этим замечаниям.

Я, словно наяву, вижу наше возвращение в Италию: он стоит на носу челна и, шурясь, глядит на гавань ПUTEОЛ. Чего он ожидал? Торжественной встречи с музыкой? Высокопоставленных магистратов, которые возложат на его голову лавровый венок? На пристани действительно собралась толпа, но вовсе не из-за Цицерона. Гортензий, метивший в консулы, устраивал торжества на двух нарядных галерах, и гости на берегу ждали, когда их переправят туда.

Цицерон сошел на берег, но никто не обращал на него внимания. Он удивленно оглядывался, и тут несколько бражников поспешили к нему, заметив его новенькую сенаторскую тогу. Охваченный сладостным предвкушением, он горделиво расправил плечи.

– Сенатор, – окликнул его один из них, – что новенького в Риме?

Цицерону каким-то образом удалось сохранить улыбку на устах.

– Я приехал не из Рима, добрый друг. Я возвращаюсь из своей провинции.

Рыжеволосый человек, без сомнения успевший сильно напиться, обернулся к своему приятелю и, передразнивая Цицерона, проговорил:

– О-о-о, мой добрый друг! Он возвращается из своей провинции!

Вслед за этим он фыркнул.

– Что тут смешного? – спросил его спутник, которому явно не хотелось напрашиваться на неприятности. – Разве ты не знаешь? Он был в Африке.

Улыбку Цицерона теперь можно было без преувеличения назвать стоической.

– Вообще-то, я был на Сицилии, – поправил он.

Разговор продолжался еще некоторое время – я уже не помню, что было сказано, но вскоре, уразумев, что свежих сплетен из Рима они не услышат, люди разошлись. Появился Гортензий и пригласил оставшихся гостей рассаживаться по лодкам. Он вежливо кивнул Цицерону, но не пригласил его присоединиться к празднеству. Мы остались вдвоем.

Самый обыкновенный случай, решите вы, но именно он, как говорил впоследствии сам Цицерон, сделал его решимость подняться на самый верх твердой как скала. Он был унижен из-за собственного тщеславия, ему со всей жестокостью продемонстрировали, что в этом мире он всего лишь песчинка.

Мой хозяин долго стоял на пристани – наблюдал, как Гортензий и его гости предаются увеселениям, слушал веселые мелодии флейт, – а когда повернулся ко мне, я увидел, что он в одночасье переменялся. Поверь, читатель, я не преувеличиваю. Я увидел это в его глазах и словно прочитал в них: «Ну что ж, веселитесь, дураки. А я буду работать!»

«То, что произошло в тот день на пристани, оказалось намного полезнее, чем если бы меня встретили овациями. С тех пор меня перестало заботить, что именно мир услышит обо мне. Я решил, что отныне меня должны видеть каждый день, что я обязан жить у всех на виду. Я часто посещал форум, никто и ничто – ни мой привратник, ни сон – не могло помешать кому-либо увидеться со мной. Я трудился даже тогда, когда было нечем заняться, и с той поры забыл, что такое отдых».

Я наткнулся на этот отрывок из его речи совсем недавно и готов поклясться, что каждое слово здесь – истина. Цицерон ушел с пристани, ни разу не обернувшись. Он пошел по главной улице ПUTEОЛ, а затем по дороге к Риму. Поначалу он брел неторопливо и задумчиво, но затем его шаг ускорился настолько, что я, нагруженный поклажей, едва поспевал за ним.

И вот теперь, когда закончился мой первый свиток, начинается подлинная история Марка Туллия Цицерона.

## II

День, ставший, как выяснилось потом, судьбоносным, начался точно так же, как и все предыдущие, за час до рассвета. Цицерон, как обычно, встал первым в доме. Я полежал еще немного, прислушиваясь, как он шлепает босыми ногами по доскам пола над моей головой, выполняя упражнения, которым выучился на Родосе еще шесть лет назад. Затем я скатал свой соломенный тюфяк и ополоснул лицо. Стоял первый день ноября, и было очень холодно.

Цицерон жил в скромном двухэтажном доме на гребне Эсквилинского холма. С одной его стороны возвышался храм, с другой раскинулись жилые кварталы. А если бы вы потрудились взобраться на крышу, вашему взгляду открылся бы захватывающий вид на затянутую дымкой долину и величественные храмы Капитолийского холма, примерно в полумиле от этого места. Вообще-то, жилище принадлежало отцу Цицерона, но в последнее время здоровье старика пошатнулось, и он редко покидал свое загородное поместье, предоставив дом в полное распоряжение сына. Поэтому здесь жили сам Цицерон, его жена Теренция и их пятилетняя дочь Туллия. Здесь же обитали рабы, числом с дюжину: я, Сосифей и Лаврея, два писмоводителя, работавших под моим руководством, Эрос, заведовавший хозяйственными делами, Филотим, писмоводитель Теренции, две служанки, няня ребенка, повар, спальник и привратник. В доме жил еще и старый слепой философ, стоик Диодот, который время от времени выбирался из своей комнаты и за трапезой присоединялся к хозяину, если тому хотелось поговорить на какие-нибудь высокоученые темы. Всего в доме жило пятнадцать человек. Теренция беспрестанно жаловалась на тесноту, но Цицерон не желал переезжать в более просторное жилище. Как раз в это время он старался играть роль «народного заступника», и стесненные условия как нельзя лучше соответствовали этому образу.

Первое, что я сделал в то утро, было то же, что я делал каждое утро до этого: намотал на запястье кусок бечевки, конец которой был привязан к изобретенному мной приспособлению для записей. Оно состояло не из одной или двух, как обычно, а целых четырех табличек, покрытых воском. Таблички в буквых рамках были очень тонкими и легко складывались вместе. Однако Цицерон ежедневно обрушивал на меня такой поток слов, что этого явно не хватило бы, поэтому я прихватил с собой еще несколько запасных табличек.

Затем я отдернул занавеску, отгораживавшую крохотную нишу – мои «покои», – и прошел через двор в таблиум, зажигая по пути лампы и следя за тем, чтобы к началу нового дня все было готово. Единственным предметом обстановки здесь был шкаф для посуды, на котором стояла миска с горохом. (Родовое имя Цицерона происходит от слова «цицер» – горох; полагая, что из-за необычного звучания оно может способствовать успеху, мой хозяин не желал сменить его на более благозвучное и стойко переносил насмешки, нередко раздававшиеся за его спиной.)

Удовлетворившись осмотром, я прошел через атриум в помещение у входа, где меня уже ожидал привратник, положив руку на тяжелый металлический засов. Я выглянул в узкое оконце, убедился, что уже достаточно рассвело, кивнул привратнику, и тот отодвинул засов.

На улице, ежась от холодного ветра, уже, как обычно, ожидала толпа клиентов<sup>4</sup> – убогих и несчастных. По мере того как они входили в дом, я записывал имя каждого. Большинство их я знал в лицо, других же видел впервые и просил назвать себя, после чего поспешно отворачивался. Все были похожи друг на друга – отчаявшиеся, утратившие надежду люди; однако указания, полученные от хозяина, не оставляли места для сомнений. «Если человек имеет право

---

<sup>4</sup> Утро влиятельного и знатного человека в Риме начиналось с приема клиентов. Покровителя и отдавшего под его защиту клиента связывали такие же священные узы, как узы родства.

голоса на выборах,пусти его», – приказал он мне, и в скором времени таблинум заполнился людьми, каждый из которых с трепетом ожидал хотя бы краткой встречи с сенатором.

Я стоял у входа, пока не переписал всех, а затем отступил в сторону. На пороге возник человек в пыльной одежде, с взлохмаченными волосами и нестриженной бородой. Не буду отрицать: его вид вызвал во мне страх.

– Тирон! – воскликнул он. – Слава богам!

Бессильно облокотившись о дверной косяк, он уставился на меня выцветшими, полуживыми глазами.

На вид странному посетителю было около сорока лет. Поначалу я не мог вспомнить его, но письмоводитель любого государственного деятеля должен уметь сопоставлять лицо с именем, независимо от того, в каком состоянии находится человек. В моей голове, словно мозаика, стала складываться картина: большой дом с видом на море и обширным собранием произведений искусства, изысканный сад. Это было в каком-то сицилийском городе. Фермы – вот как он назывался!

– Стений из Ферм! – сказал я, узнав гостя, и протянул ему руку. – Добро пожаловать!

Я был не вправе высказываться насчет его появления или спрашивать, что занесло его так далеко от дома и почему он прибыл в столь ужасном виде. Оставив его в таблинуме вместе с остальными, я прошел в комнату для занятий. В то утро сенатор должен был выступать в суде, защищая молодого человека, обвиненного в отцеубийстве, а днем – заседать в сенате. Сейчас на него надевали тогу; он сидел, сжимая и разжимая ладонь, где покоился кожаный мячик для тренировки кистей, и слушал письмо, которое читал молодой раб Сосифей. Одновременно с этим сам он диктовал письмо второму младшему письмоводителю, которого я обучил началам моей скорописи. Когда я вошел, хозяин швырнул в меня мячик (я поймал его не задумываясь) и протянул руку за списком просителей. Как всегда, он жадно просмотрел его. Кого Цицерон ожидал найти? Знатного горожанина из прославленного и влиятельного рода? Или торговца, достаточно богатого для того, чтобы голосовать на выборах консулов? Но в тот день пожаловала лишь мелкая рыбешка, и по мере чтения лицо Цицерона мрачнело. Наконец он добрался до последней строки и, прервав диктовку, спросил:

– Стений? Тот самый, с Сицилии? Богач и обладатель единственного в своем роде собрания редкостей? Надо выяснить, что ему нужно.

– Но сицилийцы не имеют права голоса, – напомнил я.

– Pro bono<sup>5</sup>, – непреклонно ответил он. – И потом, у него есть превосходные бронзовые изваяния. Я приму его первым.

Я привел Стения наверх, и он незамедлительно получил то, что полагалось любому посетителю: неповторимую улыбку Цицерона, крепкое рукопожатие двумя ладонями и радушный, искренний взгляд. Затем Цицерон предложил гостю сесть и спросил, что привело его в Рим. Я стал вспоминать, что еще мне известно о Стении. Мы дважды останавливались у него в Фермах, когда Цицерон приезжал туда для участия в судебных слушаниях. Тогда Стений был одним из наиболее знатных жителей провинции, но теперь от кипучего нрава и самоуверенности не осталось и следа. Он сказал, что был ограблен, что ему грозит тюрьма и его жизнь в опасности. Короче говоря, он нуждается в помощи.

– Правда? – равнодушно переспросил Цицерон, поглядывая на свиток, лежавший на столе. Он почти не слушал собеседника и вел себя как защитник, которому ежедневно приходится выслушивать десятки жалобных историй от неудачливых бедняг. – Я весьма сочувствую тебе, – продолжал он. – И кто же тебя ограбил?

– Наместник Сицилии, Гай Веррес.

---

<sup>5</sup> Во имя общественного блага (*лат.*).

Сенатор резко вздернул голову. После этого Стения было не остановить. Цицерон посмотрел на меня и одними губами велел записывать все, что говорит проситель. Когда Стений сделал короткую передышку, Цицерон мягко попросил его вернуться немного назад – к тому дню, когда он получил первое письмо от Верреса, почти три месяца назад.

– Как ты отнесся к нему? – спросил он.

– Немного встревожился, – ответил Стений. – Тебе ведь известно, какой славой он пользуется. Имя говорит само за себя<sup>6</sup>. Люди называют его «Боров с кровавым рылом». Но разве я мог отказаться?

– У тебя сохранилось это письмо?

– Да.

– И в нем Веррес действительно упоминает о твоём собрании?

– О да! Он пишет, что неоднократно слышал о нем и теперь хочет увидеть его собственными глазами.

– Как скоро после этого письма он заявился к тебе?

– Очень скоро. Примерно через неделю.

– Он был один?

– Нет, с ним были его ликторы. Пришлось искать место, чтобы разместить и их тоже. Все телохранители грубы и нахальны, но таких отпетых мерзавцев мне еще не приходилось видеть. Старший из них, Секстий, – главный палач Сицилии. Перед тем как исполнить наказание – например, порку, – он вымогает у жертвы взятку, обещая в случае отказа искалечить несчастного на всю оставшуюся жизнь.

Стений тяжело задышал и умолк. Мы ждали продолжения.

– Не спеши и не волнуйся, – проговорил Цицерон.

– Я подумал, что после долгого путешествия Веррес захочет совершить омовение и поужинать, но нет! Он потребовал, чтобы я сразу же показал ему свое собрание.

– Я хорошо помню его. Там было много поистине бесценных предметов.

– В ней заключалась вся моя жизнь, сенатор, иначе я сказать не могу! Только представь себе: тридцать лет путешествий и поисков! Коринфские и дельфийские бронзовые изваяния, посуда, украшения – каждую вещь я находил и выбирал сам. Мне принадлежали «Дискобол» Мирона и «Копьеносец» Поликлета, серебряные кубки работы Ментора. Веррес рассыпался в похвалах. Он заявил, что подобное собрание нельзя показывать только узкому кругу людей, его необходимо выставить для публичного обозрения. Я не придавал значения этим словам, пока мы не принялись за ужин и я не услышал шум, доносившийся из внутреннего двора. Слуга сообщил мне, что подкатила повозка, запряженная волами, и ликторы Верреса без разбора грузят в нее предметы из моего бесценного собрания.

Стений вновь умолк. Мне был понятен стыд, который испытывал этот гордый человек от столь чудовищного унижения. Я представил, как все происходило: плачущая жена Стения, растерянные слуги, пыльные круги там, где только что стояли статуи. Единственным звуком, который слышался теперь в помещении, был шорох моей палочки для записей, касавшейся восковых табличек.

– Ты не стал жаловаться? – спросил наконец Цицерон.

– Кому? Наместнику? – Стений горько рассмеялся. – Нет, сенатор. Я хотя бы сохранил жизнь. Если бы Веррес удовольствовался одной только моей коллекцией, я проглотил бы эту утрату, и ты никогда не увидел бы меня здесь. Но коллекционирование – это настоящая болезнь, и вот что я тебе скажу: ваш наместник Веррес болен ею, и болен тяжело. Ты еще помнишь статуи на городской площади Ферм?

---

<sup>6</sup> «Верресом» римляне называли холощенного борава.



– Конечно помню. Три чудесных бронзовых изваяния. Но ты же не хочешь сказать, что он украл и их тоже?

– Он попытался. На третий день своего пребывания под моим кровом. Спросил меня, кому принадлежат эти статуи. Я ответил ему, что они уже много веков являются собственностью города. Тебе ведь известно, что этим статуям по четыреста лет? Тогда Веррес заявил, что ему нужно разрешение городского совета, чтобы перевезти их в его сиракузское поместье, якобы на время, и попросил меня поговорить с членами совета. Однако к этому времени я уже знал, что он за человек, и сказал, что не стану делать этого. В тот же вечер он уехал, а несколько дней спустя я получил вызов в суд, назначенный на пятый день октября. Меня обвиняли в подлоге.

– Кто выдвинул обвинение?

– Мой враг, человек по имени Агатиний. Клиент Верреса. Первой моей мыслью было отправиться к нему, поскольку я – честный человек и бояться мне нечего. Я за всю свою жизнь не подделал ни одного документа. Но затем я узнал, что судьей будет сам Веррес, что он уже пообещал признать меня виновным и назначить наказание в виде публичной порки. Так он решил покарать меня за непокорность.

– И после этого ты бежал?

– В ту же самую ночь я сел на лодку и поплыл вдоль побережья по направлению к Мессане.

Цицерон упер подбородок в сложенные руки и направил на Стения пристальный взгляд. Эта поза была мне хорошо знакома: он хотел понять, стоит ли верить собеседнику.

– Ты говоришь, что слушание по твоему делу назначили на пятый день прошлого месяца. Состоялось ли оно?

– Именно по этой причине я здесь. Я был осужден заочно, приговорен к порке и штрафу в пять тысяч сестерциев. Но есть и кое-что похуже. Во время заседания Веррес заявил, что против меня выдвинуты новые, гораздо более серьезные обвинения. Оказывается, я еще и помогал мятежникам в Испании. В четвертый день декабря в Сиракузах должен состояться новый суд надо мной.

– Но это обвинение грозит смертной казнью!

– Поверь мне, сенатор, Веррес всей душой жаждет увидеть меня распятым на кресте! Он говорит об этом во всеуслышание. Я буду не первой его жертвой. Мне нужна помощь, сенатор! Очень нужна! Ты поможешь мне?

Мне казалось, что он сейчас упадет на колени и станет целовать ноги Цицерона. Хозяйина, кажется, посетила та же мысль, поскольку он поспешно поднялся со стула и принялся расхаживать по комнате.

– Мне представляется, Стений, что у этого вопроса есть две стороны, – заговорил он. – Первый – это кража твоего имущества, и тут, откровенно говоря, я не вижу, что можно сделать. Как ты полагаешь, почему люди, подобные Верресу, всеми силами стремятся стать наместниками? Потому что в этом случае они получают возможность брать все, что захотят, не давая никаких объяснений. Вторая сторона – воздействие на судебную власть, и это уже дает нам некоторые надежды.

Почесав кончик своего знаменитого носа, Цицерон продолжал:

– Я знаком с несколькими людьми, весьма опытными в судебных разбирательствах, которые живут на Сицилии, а один из них – как раз в Сиракузах. Я сегодня же напишу ему и попрошу в порядке личного одолжения заняться твоим делом. Более того, я изложу свои соображения относительно следующих шагов. Он обратится в суд с прошением отменить разбирательство в связи с твоим отсутствием. Если же Веррес будет настаивать на своем и снова доведет дело до заочного приговора, твой адвокат поедет в Рим и станет доказывать, что этот приговор безоснователен.

Однако сицилиец лишь безнадежно покачал головой.

– Если бы я хотел найти защитника в Сиракузах и только, то не приехал бы к тебе, сенатор.

Я видел, что Цицерону не нравится такой оборот. Ввяжись он в это дело, ему пришлось бы забросить все остальные, а сицилийцы, как я уже напомнил ему, не имели права голоса, и мой хозяин не мог рассчитывать на них во время выборов. Вот уж действительно *pro bono*!

– Послушай, – обнадеживающим тоном заговорил Цицерон, – многое говорит о том, что ты добьешься успеха. Для всех очевидно, что Веррес – продажная тварь. Он нарушает обычаи гостеприимства, грабит, использует суд для уничтожения неугодных ему людей. Его положение не так уж прочно. Уверяю тебя, мой знакомый защитник в Сиракузах без труда справится с твоим делом. А теперь прошу меня простить. Мне надо поговорить со множеством клиентов, а меньше чем через час я должен быть в суде.

Цицерон кивнул мне, я сделал шаг вперед и положил руку на плечо Стения, чтобы проводить его, однако тот нетерпеливо сбросил ее.

– Мне нужна именно твоя помощь! – упрямо твердил сицилиец.

– Почему?

– Потому что я могу найти справедливость только здесь, а не на Сицилии, где все суды подвластны Верресу! И еще потому, что все в один голос утверждают: Марк Туллий Цицерон – второй из лучших защитников в Риме.

– Неужели? – В голосе Цицерона прозвучал нескрываемый сарказм. Он терпеть не мог, когда его ставили на второе место. – Так стоит ли тратить время на второго по счету? Почему бы не отправиться напрямик к Гортензию?

– Я думал об этом, – бесхитростно признался посетитель, – но он отказался разговаривать со мной. Он представляет интересы Верреса.

Я проводил сицилийца и, вернувшись, застал Цицерона в одиночестве. Он откинулся на спинку стула и, уставившись в стену, перебрасывал кожаный мячик из одной руки в другую. Стол его был завален книгами по судопроизводству, среди которых были «Предшествовавшие случаи в судебных разбирательствах» Тулла Гостилия и «Условия сделок» Марка Манилия. Первый свиток был развернут.

– Помнишь рыжего пьянчугу, который встретил нас на пристани ПUTEОЛ в день нашего возвращения с Сицилии? Он еще проорал: «О-о-о, мой добрый друг! Он возвращается из своей провинции...» – (Я кивнул.) – Это и был Веррес.

Мячик продолжал летать из руки в руку: из правой – в левую, из левой – в правую.

– Этот человек продажен по самые уши.

– Тогда меня удивляет, почему Гортензий решил встать на его сторону.

– Вот как? А меня несколько не удивляет. – Цицерон перестал бросать мячик и теперь держал его на открытой ладони. – Плясун и Боров... – Какое-то время он молча размышлял. – Человек моего положения должен быть безумцем, чтобы вступать в схватку с Гортенziem и Верресом, спасая шкуру какого-то сицилийца, который даже не является гражданином Рима.

– Это верно.

– Верно, – эхом повторил он, но в голосе его не слышалось уверенности. Такое случалось не раз. Мне казалось, что в эти минуты Цицерон не просто складывает в своем мозгу, словно мозаику, картину будущего дела, но и пытается просчитать все возможные последствия на несколько ходов вперед. Было ли так и на сей раз, мне узнать не довелось – в дверь вбежала его дочурка Туллия, все еще в ночной рубашке, с каким-то своим рисунком, который принесла показать отцу. Внимание хозяина мгновенно переключилось на девочку. Он поднял ее с пола и посадил себе на колени.

– Ты сама нарисовала? – спросил он, прикидываясь изумленным. – Неужели сама? И тебе никто-никто не помогал?

Оставив их вдвоем, я неслышно выскользнул из комнаты для занятий и вернулся в таблинум, чтобы сообщить посетителям о том, что мы сегодня задержались и сенатор скоро должен отправляться в суд. Стений все еще слонялся здесь. Он пристал ко мне с расспросами относительно того, когда сможет получить ответ. Что я мог ему сказать? Я посоветовал ждать вместе с остальными. Вскоре появился и сам Цицерон, держа за руку Туллию, приветственно кивая посетителям и называя каждого по имени. «Первое правило в государственных делах, Тирон, – нередко говаривал он, – помнить каждого в лицо». Теперь он был во всей красе: с напомаженными и зачесанными назад волосами, с благоухающей кожей, в новой тоге. Красные кожаные сандалии сияли, лицо было бронзовым от многих лет пребывания на открытом воздухе – ухоженное, гладкое, красивое. От всей его фигуры словно исходило сияние.

Цицерон вышел в прихожую, и все последовали за ним. Там он поднял лучившуюся счастьем девчурку высоко в воздух, показал ее собравшимся и, повернув лицом к себе, запечатлел на ее щечке звонкий поцелуй.

– А-а-х! – пронесся по толпе восхищенный вздох. Кто-то захлопал в ладоши.

Это не было жестом, рассчитанным лишь на публику. Наедине с дочерью Цицерон все равно сделал бы это, поскольку любил свою ненаглядную Туллию больше всех на свете. Однако он знал, что римский избиратель способен растрогаться из-за пустяка, и разговоры о его нежной отеческой любви пойдут ему только на пользу.

Затем мы вышли в холодное ноябрьское утро и окунулись в суматоху городских улиц. Цицерон шел широкими шагами, я – сбоку от него, приготовив на всякий случай восковые таблички для записей; позади нас семенили Сосифей и Лаврея, нагруженные коробками со свитками, необходимыми нашему хозяину для выступления в суде. По обе стороны от нас, пытаясь любыми средствами привлечь к себе внимание сенатора, но гордые уже тем, что находятся рядом с ним, шагали просители, в том числе Стений. Спустившись с зеленых высот Эсквилина, процессия оказалась в шумном, дымном и вонючем квартале Субура. Здания, стоявшие вдоль улицы, закрывали солнце, а поток пешеходов почти сразу же превратил стройную фалангу наших последователей в порванную нитку бус. Все же они продолжали кое-как тащиться за нами.

Цицерон был здесь хорошо известен, став героем лавочников и торговцев, интересы которых он представлял и которые год за годом видели его проходящим по улицам Субуры. Острый взгляд его голубых глаз подмечал каждую почтительно склонившуюся голову, каждый приветственный жест. Не было нужды шептать ему на ухо имена этих людей: Цицерон помнил своих избирателей гораздо лучше, чем я.

Не знаю, как сейчас, но в те времена, о которых пишу я, в разных частях форума почти постоянно работало шесть или семь судов. Когда они открывались, на форуме было не протолкнуться от защитников и прочих законников, спешивших во всех направлениях. Хуже того, претор каждого из судов прибывал в сопровождении не менее дюжины ликторов, которые расчищали для него путь.

Как назло, мы с нашей скромной свитой подошли к форуму одновременно с Гортенziem: на сей раз он сам выступал в качестве претора и торжественно направлялся к зданию сената. Его стража бесцеремонно оттеснила нас в сторону, чтобы мы не мешали великому человеку. Я и сейчас не думаю, что это смертельное оскорбление было нанесено Цицерону – человеку безукоризненных манер и удивительного такта – преднамеренно, но, так или иначе, «второго лучшего защитника Рима» грубо оттолкнули в сторону, и ему осталось лишь наблюдать удаляющуюся спину первого, самого лучшего защитника. Вежливое приветствие замерло на его губах, вместо этого вслед Гортензию посыпались такие отборные проклятия, что я подумал: не засвербело ли у него между лопатками?

В то утро Цицерону предстояло выступать в суде рядом с базиликой<sup>7</sup> Эмилия. Пятнадцатилетний Гай Попиллий Ленат обвинялся в том, что убил собственного отца, вонзив тому в глаз металлический прут. Там уже собралась внушительная толпа. Цицерону предстояло произнести заключительную речь от имени защиты – одно это привлекало множество любопытных. Если бы он не убедил судей в невиновности Попиллия, того ждала бы ужасная участь. По старинному обычаю, после вынесения обвинительного приговора отцеубийце надевали на голову волчью шкуру, а на ноги – деревянные сандалии и отводили его в тюрьму – ждать, пока не будет изготовлен кожаный мешок. Отхлестав преступника розгами, его зашивали в мешок вместе с петухом, собакой, обезьяной и змеей и топили в Тибре. Такая казнь называлась *ропа cullei*.

Толпа жаждала крови. Когда зеваки расступились, пропуская нас, я встретился взглядом с самим Попиллием, молодым человеком, печально известным своей склонностью к насилию. Его черные густые брови успели срастись, несмотря на юный возраст. Он сидел рядом со своим дядей на скамье, отведенной для защитников, сердито хмурился и плевал в любого, кто подходил слишком близко.

– Мы обязаны добиться его оправдания хотя бы для того, чтобы спасти от неминуемой смерти собаку, петуха и змею, – пробормотал Цицерон. Он придерживался мнения, что защитник не обязан разбираться в том, виновен его подопечный или нет. Этим, как он полагал, должен был заниматься суд. Что касается Попиллия Лената, то Цицерон старался освободить его по очень простой причине. Семья юноши дала четырех консулов и, если бы Цицерон вознамерился занять эту должность, могла оказать ему поддержку.

Сосифей и Лаврея поставили коробки с документами. Я наклонился, чтобы открыть первую из них, но Цицерон велел мне не делать этого.

– Не трудись понапрасну, – сказал он и постучал указательным пальцем себя по виску. – Того, что есть здесь, хватит, чтобы произнести речь. – Он отвесил вежливый поклон своему подзащитному. – Добрый день, Попиллий. Уверен, что очень скоро все будет улажено. – Затем, понизив голос, он обратился ко мне: – Для тебя есть более важное поручение. Дай мне свою восковую табличку. – Взяв ее, он принялся что-то писать и одновременно с этим говорил: – Отправляйся в сенат, найди старшего писца и выясни, можно ли вынести это на сегодняшнее заседание. Нашему сицилийскому другу пока ничего не говори. Дело опасное, и мы должны действовать очень осторожно: по одному шагу за один раз.

Я покинул место судилища, прошел половину дороги до курии и только тут осмелился прочесть то, что Цицерон начертал на восковой дощечке. «Волею сената судебное преследование людей в их отсутствие по обвинению в преступлениях, карающихся смертной казнью, подлежит запрету во всех провинциях».

Грудь у меня сдавило: я сразу понял, что это означает. Умно, хитро, окольными путями Цицерон готовился к нападению на своего главного соперника. Я держал в руках объявление войны.

В ноябре председательствующим консулом был Луций Геллий Публикола – грубоватый, восхитительно глупый вояка старой закалки. Рассказывали (по крайней мере, мне говорил об этом Цицерон), что, когда Геллий двадцать лет назад проходил со своим войском через Афины, он пожелал примирить две враждующие философские школы. Он заявил, что устроит диспут, на котором философы раз и навсегда определят, в чем состоит смысл жизни, избавив себя от дальнейших споров.

---

<sup>7</sup> *Базилика* – прямоугольное здание, разделенное внутри рядами колонн или столбов на продольные части – нефы. В Древнем Риме базилики служили залами суда, рынками и т. д.

Я был хорошо знаком с письмоводителем Геллия. Во второй половине дня дел у него оказалось необычно мало, если не считать составления отчета о ходе военных действий, и он с готовностью согласился вынести предложение Цицерона на рассмотрение сената.

– Только учти, – сказал он мне, – и передай своему хозяину: консул уже слышал его шуточку про две философские школы и она ему не очень-то понравилась.

Когда я вернулся в суд, Цицерон уже выступал. Свою речь он не собирался сохранять для потомков, поэтому у меня, к сожалению, не осталось ее записи. Я помню только, что он выиграл дело благодаря хитрому заявлению о том, что, если юный Попиллий будет оправдан, он посвятит всю оставшуюся жизнь военной службе. Неожиданное обещание ошеломило и обвинителей, и суд, и, прямо скажу, самого подсудимого, однако цель была достигнута. Как только огласили приговор, Цицерон, не тратя более ни секунды на Попиллия и даже не перекусив, направился к западной части форума, где стояло здание сената. «Почетный караул» потащился следом за ним, только поклонников стало больше: по толпе пролетел слухок, что знаменитый защитник намерен выступить с еще одной речью.

Цицерон всегда полагал, что главная его работа во благо республики вершится не в здании сената, а вне его стен, на огороженном участке открытого пространства: то был так называемый сенакул, где сенаторы дожидались, когда их вызовут на заседание. Это собрание мужей в белых тогах, которые пребывали там в течение часа или даже больше, было одной из главных достопримечательностей Рима. Цицерон присоединился к сенаторам, а Стений и я – к толпе зевак, собравшихся на другой стороне форума. Несчастный сицилиец по-прежнему не понимал, что происходит.

Уж такова жизнь, что далеко не каждому государственному мужу суждено достичь подлинного величия. Из шестисот человек, числившихся тогда в сенате, лишь восемь могли рассчитывать на избрание преторами и лишь у двоих была возможность достичь империя – высшей, то есть консульской, власти. Иными словами, более чем половине тех, кто ежедневно переминался с ноги на ногу в сенакуле, путь к высоким выборным должностям был заказан раз и навсегда. Знать пренебрежительно звала их «педарии» – те, кто голосует с помощью ног. Все происходило следующим образом: сторонники обсуждаемого постановления собирались возле того, кто его выдвинул, остальные – на другой стороне курии. После этого объявлялось, на чьей стороне большинство.

И все же в каком-то смысле эти граждане являлись стеновым хребтом республики: банкиры, торговцы и землевладельцы со всех концов Италии – богатые, осторожные, преданные Риму, с подозрением относившиеся к высокомерию и показной пышности аристократов. Как и Цицерон, они в основном были выскочками, первыми представителями своих семей, добившимися избрания в сенат. Это были его люди, и в тот день, прокладывая путь через толпу, он напоминал великого живописца или скульптора в окружении учеников: крепко пожал протянутую руку одного, дружески потрепал по жирному загривку другого, обменялся солеными шутками с третьим, прижав руку к груди, проникновенным голосом выразил соболезнования четвертому. Хотя рассказ о злключениях этого последнего собеседника явно вызывал у Цицерона откровенную скуку, вид у Цицерона был такой, словно он готов выслушивать жалобы до заката. Но вот он выудил из толпы кого-то еще, с изяществом заправского танцовщика повернулся к страдальцу, извинился и в тот же миг погрузился в новую беседу. Время от времени он делал жест в нашу сторону, и сенатор, с которым он говорил, расстроено качал головой или согласно кивал, по-видимому обещая Цицерону свою поддержку.

– Что он сказал про меня? – спросил Стений. – Что он намерен предпринять?

Я промолчал, поскольку сам не знал ответа.

К этому времени стало очевидно: у Гортензия уже возникли подозрения, но он пока не понял, что именно затевается. Повестка дня была вывешена на обычном месте – возле входа в сенат. Гортензий остановился, чтобы прочитать ее, а затем отвернулся. На лице его появилось

озадаченное выражение. Видимо, он дошел до слов: «...Судебное преследование людей в их отсутствие по обвинению в преступлениях, карающихся смертной казнью, подлежит запрету во всех провинциях».

Геллий Публикола в окружении своих помощников находился на положенном месте – сидел у входа в курию на резном стуле из слоновой кости, дожидаясь, пока авгуры<sup>8</sup> не закончат толковать ауспиции. Только после этого он мог торжественно пригласить сенаторов в курию. Гортензий приблизился к нему и, протянув руки ладонями вверх, задал какой-то вопрос. Геллий пожал плечами и раздраженно ткнул пальцем в сторону Цицерона. Резко развернувшись, Гортензий увидел, что его честолюбивый соперник стоит в окружении нескольких сенаторов и все они перешептываются о чем-то с заговорщицким видом. Нахмурившись, он направился к своим друзьям из числа аристократов. Это были братья Метеллы – Квинт, Луций и Марк, – а также два бывших консула, на деле правившие государством, уже немолодые: Квинт Катул (Гортензий был женат на его сестре) и Публий Сервилий Ватия Исаврик. Сейчас, столько лет спустя, я всего лишь пишу на бумаге их имена, и все равно по моей спине бегут мурашки: то были суровые, нестигаемые, приверженные старым республиканским порядкам люди, каких больше нет.

Гортензий, видимо, поведал им о законе, вынесенном на рассмотрение сената, поскольку все пятеро повернули головы в сторону Цицерона. Сразу после этого протяжный звук трубы оповестил о начале заседания, и сенаторы потянулись в курию.

Старое здание сената – курия – внутри было холодным, мрачным, похожим на пещеру. Помещение разделялось на две равные части проходом, выложенным черными и белыми плитками. Вдоль него по обе стороны тянулись ряды нешироких деревянных скамей, на которых полагалось сидеть сенаторам. В дальнем конце стоял помост со стульями, предназначенными для консулов.

Столбы ноябрьского света, тусклого и голубоватого, падали сквозь узкие незастекленные окна, проделанные прямо под кровлей, покоившейся на массивных стропилах. Голуби гордо вышагивали по подоконникам и летали под крышей, так что на сенаторов падали перышки и – время от времени – испражнения. Некоторые полагали, что быть обгаженным во время выступления сулит удачу, другие считали это дурным предзнаменованием, а кое-кто был уверен, что все зависит от цвета птичьего помета. Уж поверь мне, читатель, суеверий в те времена было множество, и каждый толковал их по-своему!

Цицерон не обращал на голубей внимания; точно так же его не волновало, что происходит с внутренностями принесенного в жертву барана, откуда раздался удар грома, справа или слева, в какую сторону направляется стайка птиц. Все это, по его глубокому убеждению, было никчемными глупостями. Тем не менее впоследствии он вознамерился войти в коллегию авгуров и участвовал в выборах.

Согласно древнему обычаю, который в те времена блюли неукоснительно, двери курии оставались открытыми, чтобы граждане могли все слышать. Толпа, в которой были я и Стений, хлынула через весь форум по направлению к курии, где нас остановила... обычная веревка, натянутая поперек. Геллий уже держал речь, зачитывая сенаторам донесения военачальников с полей сражений. Известия поступали вполне утешительные. Самым обнадеживающим был доклад Марка Красса – толстосума, который в свое время утверждал, что человек не может считаться богатым, если он не в состоянии содержать легион из пяти тысяч воинов. Так вот, Красс говорил, что его войско наносит сокрушительные и жестокие поражения взбунтовавшимся рабам во главе со Спартаксом. Помпей Великий, воевавший в Испании уже шесть лет, по его словам, добивал остатки мятежных шаек. Луций Лукулл триумфально сообщал о многочисленных победах над войском царя Митридата в Малой Азии.

<sup>8</sup> *Авгур* – член римской жреческой коллегии, выполнявший официальные государственные гадания (ауспиции).



У каждого из трех военачальников в сенате имелись свои сторонники. После того как все сообщения были зачитаны, они стали один за другим подниматься с мест, чтобы воздать хвалу своему покровителю и исподволь очернить его соперников. Все эти уловки были знакомы мне со слов Цицерона, и я шепотом рассказывал о них Стению:

– Красс ненавидит Помпея и мечтает раздавить Спартака раньше, чем Помпей со своими легионами вернется из Испании, чтобы пожинать лавры. Помпей, в свою очередь, ненавидит Красса, он лелеет мечту первым одержать победу над Спартаксом и стяжать тем самым лавры. И Красс, и Помпей ненавидят Лукулла, потому что он имеет в своем распоряжении лучшие силы.

– А кого ненавидит Лукулл?

– Разумеется, Помпея и Красса, которые строят козни против него.

Я был счастлив, как ребенок, без ошибок сделавший домашнее задание. Все происходящее представлялось мне всего лишь игрой. Откуда мне было знать, куда эта «игра» заведет нас с хозяином!

Обсуждение донесений вылилось в беспорядочные выкрики. Затем сенаторы разделились на кучки и стали переговариваться между собой. Геллий, мужчина шестидесяти с лишним лет, вытащил из пачки документов тот, который был подан от имени Цицерона, поднес ее к близоруким глазам, а затем стал искать глазами в толпе беснующихся сенаторов самого Цицерона. Будучи младшим сенатором, тот сидел на самой дальней лавке, возле двери. Цицерон встал, чтобы его было видно, Геллий сел, а я приготовил свои восковые таблички. В зале повисла тишина; Цицерон ждал, пока она не сгустится. Старый трюк: напряжение в зале должно достичь высшей точки. Когда тишина стала совсем уж гнетущей и многим начало казаться, что тут не все ладно, Цицерон заговорил – поначалу тихо и неуверенно, так что присутствующие напрягали слух и вытягивали шеи, бессознательно попадаясь на эту нехитрую ораторскую уловку.

– Достопочтенные сенаторы! Боюсь, по сравнению с волнующими донесениями наших овеванных славой полководцев то, о чем собираюсь сказать я, покажется мелким и незначительным. Но, – он возвысил голос, – если это высокое собрание становится глухим к мольбам о помощи, исходящим от ни в чем не повинного человека, все славные подвиги, о которых только что говорилось, оказываются бессмысленными, и выходит, что наши воины проливают кровь понапрасну. – (Со стороны скамей, стоявших за Цицероном, донесся одобрителный гул.) – Сегодня утром в мой дом пришел именно такой – ни в чем не повинный – человек. Кто-то из нас поступил с ним настолько чудовищно, бесстыдно и жестоко, что даже боги проследятся, услышав об этом. Я говорю об уважаемом Стении из Ферм, который еще недавно жил в Сицилии – провинции, ввергнутой в нищету и беззаконие власть имущими.

При упоминании Сицилии Гортензий, развалившийся на скамье, что стояла в непосредственной близости от консулов, резко дернулся и сел прямо. Не сводя глаз с Цицерона, он слегка повернул голову и принялся что-то шептать Квинту, старшему из братьев Метеллов. Тот повернулся назад и обратился к Марку, младшему из этой родственной троицы. Марк присел на корточки, чтобы лучше слышать указания, а затем, отвесив почтительный поклон председателствовавшему на заседании консулу, торопливо пошел в мою сторону. В первую минуту я подумал, что меня сейчас будут бить, – они были скоры на расправу, эти братья Метеллы, – однако Марк, даже не взглянув на меня, поднял веревку, скользнул под нее и, протолкавшись сквозь сенаторов, растворился в толпе.

Цицерон тем временем расходился не на шутку. После нашего возвращения от Милона, который вбил в голову своего ученика мысль о том, что для оратора важны только три вещи – исполнение, исполнение и еще раз исполнение, – Цицерон провел много часов в театре, изучая актерские приемы. Он научился искусно управлять своей мимикой и вести себя по-разному, смотря по обстоятельствам. С помощью едва уловимой перемены в интонациях, еле заметного жеста он отождествлял себя с теми, к кому обращается, вызывая у них доверие. В тот день

он устроил настоящее представление, противопоставляя чванливую самоуверенность Верреса спокойному достоинству Стения, рассказывая о том, как многострадальный сицилиец пострадал от подлостей Секстия, главного палача провинции. Стений не верил своим ушам. Он находился в городе меньше одного дня, а его скромная особа уже успела стать предметом обсуждения в римском сенате!

Гортензий тем временем бросал взгляды в сторону дверей. Когда же Цицерон перешел к заключительной части своего выступления, заявив: «Стений просит у нас защиты не просто от вора, а от человека, который по долгу службы должен сам защищать сограждан от воров!» – он наконец вскочил на ноги. Согласно правилам сената, действующий претор во всех случаях имел неоспоримое преимущество перед обычным педарием, поэтому Цицерону оставалось лишь умолкнуть и опуститься на свое место.

– Сенаторы! – загремел Гортензий. – Мы выслушивали все это достаточно долго и стали свидетелями самого вопиющего приспособленчества, когда-либо виденного в этих стенах! Нам предлагают обсудить невнятное, расплывчатое постановление, к тому же направленное на защиту одного-единственного человека! Нам не потрудились объяснить, что мы должны обсуждать, у нас нет доказательств того, что все услышанное нами является правдой! Гая Верреса, уважаемого и заслуженного представителя нашего общества, в чем только не обвиняют, а он даже не может защитить себя! Требую немедленно закрыть заседание.

Гортензий сел под аплодисменты аристократов. Цицерон вновь поднялся со своего места. Лицо его было непроницаемым.

– Сенатор, по всей видимости, не удосужился должным образом ознакомиться с моим предложением, – заговорил он, изображая притворное удивление. – Разве я хоть словом обмолвился о Гае Верресе? Коллеги, я вовсе не призываю сенат голосовать за или против Гая Верреса. Действительно, было бы несправедливо судить Гая Верреса в его отсутствие. Гая Верреса здесь нет, и он не может защитить себя. А теперь, когда мы пришли к согласию относительно этого, не изволит ли Гортензий распространить его также и на моего клиента, согласившись с тем, что мы не должны также судить этого человека в его отсутствие? Или для аристократов у нас один закон, а для остальных – другой?

Напряженность в зале стала еще ощутимее, педарии уже сгрудились вокруг Цицерона. Толпа за дверями сената радостно рычала и волновалась. Кто-то грубо ткнул меня сзади, и тут же между мной и Стением протолкался Марк Метелл. Проложив себе плечами путь к дверям, он поспешил по проходу к тому месту, где сидел Гортензий. Цицерон сначала следил за ним с удивлением, но затем его лицо просветлело: он словно что-то понял. Тогда мой хозяин воздел руку вверх, призывая сенаторов к молчанию.

– Очень хорошо! – вскричал он. – Поскольку Гортензий выказал недовольство расплывчатостью моего проекта, давайте сформулируем его иначе, чтобы он уже ни у кого не вызывал сомнений. Я предлагаю следующую поправку: «Принимая во внимание то обстоятельство, что Стений подвергся преследованию в его отсутствие, мы соглашаемся с тем, что с этих пор его не должны судить заочно, а если подобные разбирательства уже состоялись, следует признать их недействительными». А я призываю вас: давайте проголосуем за этот документ и, в соответствии со славными обычаями римского сената, спасем невинного человека от ужасной смерти на кресте!

Под смешанные звуки аплодисментов и улюлюканья Цицерон сел, а Геллий поднялся с места.

– Предложение внесено! – объявил он. – Желает ли выступить кто-то еще из сенаторов?

Гортензий и братья Метеллы, а также несколько других членов их партии, среди которых были Скрибоний Курион, Сергей Катилина и Эмилий Альба, повскакали со своих мест и сгрудились возле передних скамеек. В течение нескольких секунд казалось, что зал разделится

на две части. Это полностью соответствовало замыслу Цицерона, но вскоре аристократы угомонились, остался стоять лишь сухопарый Катул.

– По-видимому, мне нужно выступить, – проговорил он. – Да, у меня определенно есть что сказать.

Катул, жесткий и бессердечный, как камень, был прапрапрапраправнуком (надеюсь, я не ошибся с количеством «пра») тех самых Катулов, которые разгромили Гамилькара в первой Пунической войне. Казалось, что в его скрипучем старческом голосе звучит сама двухвековая история.

– Да, я буду говорить, – повторил он, – и первым делом я скажу, что вот этот молодой человек, – он указал на Цицерона, – не имеет ни малейшего представления о «славных обычаях римского сената», иначе он знал бы, что один сенатор никогда не нападает на другого заочно – только лицом к лицу. В этом незнании я усматриваю недостаток породы. Я смотрю на него, такого умного, неумного, и знаете, о чем я думаю? О мудрости старой поговорки: «Унция хорошей наследственности стоит фунта любых других достоинств».

По рядам аристократов пробежали раскаты смеха. Катилина, о котором мне еще многое предстоит рассказать, указал на Цицерона, а потом провел пальцем по своей шее. Цицерон вспыхнул, но не утратил самообладания. Он даже ухитрился изобразить некое подобие улыбки. Катул, улыбаясь, повернулся к сидевшим сзади. В профиль его горбоносое лицо напоминало те, что чеканят на монетах. Затем он вновь повернулся к залу:

– Когда я в первые вошел под эти своды в консульство Клавдия Пульхра и Марка Перперны...

Он продолжал говорить, и теперь его голос напоминал деловитое, уверенное жужжание.

Мы с Цицероном встретились глазами, и он, беззвучно произнеся что-то одними губами, посмотрел на окна, а затем мотнул головой в сторону дверей. Сразу поняв, чего он хочет, и стал пробираться через толпу к открытому пространству форума. Я сообразил и еще кое-что: совсем недавно Марк Метелл выходил из зала, получив точно такое же поручение.

В те времена, о которых я веду рассказ, рабочий день заканчивался с закатом, после того как солнце оказывалось к западу от Менийской колонны. Именно это должно было вот-вот произойти, и я не сомневался, что писец, следивший за временем, уже торопился в курию, чтобы сообщить о скором заходе светила. Стало очевидно, что Гортензий и его дружки вознамерились говорить до конца рабочего дня, чтобы не дать проголосовать за закон, представленный Цицероном.

Взглянув, где находится солнце, я бегом пересек форум в обратном направлении, снова протолкался к дверям курии и оказался у порога как раз в тот миг, когда Геллий встал и объявил:

– Остался один час!

Цицерон тут же вскочил с места, желая поставить на голосование свое предложение, однако Геллий снова не дал ему слова, поскольку Катул все еще продолжал выступать. Он говорил и говорил, рассказывая бесконечную историю управления провинциями, начав чуть ли не с того дня, как волчица взялась выкармливать Ромула. Когда-то отец Катула, тоже консул, покончил с собой: уединился в закрытом помещении, развел костер и задохнулся от дыма. Цицерон не раз повторял с желчью, что Катул-старший, вероятно, сделал это, чтобы не выслушивать очередную речь своего сына.

После того как Катул кое-как добрался до конца своего выступления, он тут же передал слово Квинту Метеллу. Цицерон снова встал и снова оказался бессилен перед правом старшинства. Метелл был претором и если бы сам не захотел уступить слово Цицерону, тот не смог бы ничего поделать. А уступать право слова Квинт явно не собирался. Несмотря на протестующий гул, Цицерон все же поднялся на ноги, но люди, находившиеся по обе стороны от

него, в том числе Сервий, его друг и коллега, не хотели, чтобы он выглядел глупо, и принялись предостерегающе дергать его за тогу. Наконец Цицерон сдался и сел на скамью.

Зажигать лампы и факелы в помещении сената категорически возбранялось. Сумерки сгущались, и вскоре сенаторы в белых тогах, неподвижно сидевшие в ноябрьской мгле, стали напоминать собрание призраков.

Метелл бубнил, казалось, целую вечность, но потом все же сел, уступив слово Гортензию – человеку, который мог часами говорить ни о чем. Все поняли, что спорам пришел конец, и действительно, через некоторое время Геллий объявил заседание закрытым. Предвкушая ужин, старик проковылял к выходу, предшествуемый четырьмя ликторами, которые торжественно несли его резной стул из слоновой кости. Как только он вышел из дверей, за ним потянулись сенаторы, и мы со Стением отошли назад, чтобы дожидаться Цицерона на форуме. Толпа вокруг нас заметно поредела. Сицилиец по-прежнему приставал ко мне с расспросами о том, что происходит, но я счел за благо не отвечать. Я представил себе, как Цицерон в одиночестве сидит на одной из задних скамей, дожидаясь, пока не опустеет зал. Он потерпел поражение, думал я, и наверняка не хочет ни с кем говорить. Однако в следующий миг я с удивлением увидел его выходящим из дверей. Он оживленно беседовал с Гортенziem и еще с одним сенатором, постарше, которого я не узнал в лицо. Остановившись на ступенях курии, они поболтали еще пару минут, обменялись рукопожатиями и разошлись.

– Знаете, кто это? – спросил Цицерон, приблизившись к нам. Он совсем не выглядел расстроенным, даже напротив – казался оживленным, чуть ли не радостным. – Это отец Верреса. Он обещал написать сыну и потребовать больше не преследовать Стения, если мы пообещаем не поднимать снова этот вопрос на заседаниях сената.

Бедный Стений испытал такое облегчение, что мне показалось, будто он сейчас же умрет от радости и благодарности. Упав на колени, он принялся целовать руки сенатора. Цицерон кисло улыбнулся и помог ему подняться на ноги.

– Милый Стений, побереги свою благодарность до того времени, когда мне удастся добиться чего-то более существенного. Он всего лишь обещал написать сыну, и не более того. Это еще не залог успеха.

– Но вы приняли это предложение? – дрожащим голосом спросил Стений.

– А что еще мне оставалось? – пожал плечами Цицерон. – Даже если я еще раз внесу свое предложение, они вновь заболтают его.

Не удержавшись, я полюбопытствовал, почему же Гортензий предложил эту сделку.

– А вот это хороший вопрос, – кивнул Цицерон. От Тибра поднимался туман, в лавках, выстроившихся вдоль улицы Аргилет, мерцал желтый свет ламп. Цицерон втянул носом сырой воздух. – Думаю, Гортензий просто растерялся, хотя такое с ним случается редко. Даже он, при всей своей самоуверенности, не хочет, чтобы его принародно связывали со столь мерзким преступником, как Веррес. Вот он и пытается уладить дело по-тихому. Сколько ему платит Веррес? Должно быть, целое состояние!

– Гортензий был не единственным, кто встал на защиту Верреса, – напомнил я хозяину.

– Ты прав, – согласился Цицерон и оглянулся на здание сената. Я понял, что в голову ему пришла важная мысль. – Они все в этом замешаны. Братья Метеллы – подлинные аристократы, они и пальцем не пошевелят, чтобы помочь кому-нибудь, кроме себя, конечно. Если только тут не замешаны большие деньги. Что касается Катула, он вообще помешан на золоте. За последние десять лет он развернул такое строительство на Капитолии, что средств ему понадобилось, наверное, не меньше, чем на возведение храма Юпитера. Полагаю, Тирон, эти люди получили взятку не меньше чем на полмиллиона сестерциев. Нескольких дельфийских статуэток, как бы хороши они ни были – ты уж прости меня, Стений, – не хватит, чтобы купить такую непробиваемую защиту. Чем же на самом деле занимается Веррес там, на Сицилии? – Цицерон сдернул кольцо со своей личной печатью и протянул его мне. – Возьми это кольцо, Тирон, отправляйся

в государственный архив, покажи его и потребуй от моего имени предоставить все отчеты, переданные в сенат Гаем Верресом.

На моем лице, по-видимому, отразился страх.

– Но государственным архивом заправляют люди Катула! Ему сразу же станет известно об этом!

– Что ж, ничего не поделаешь. Значит, так тому и быть.

– И что я должен искать?

– Все, что может быть любопытно для нас. Когда наткнешься на это, сразу поймешь. Отправляйся сейчас же, пока еще не совсем стемнело. – Он приобнял сицилийца. – А ты, Стений, надеюсь, разделишь со мной ужин? Кроме нас, будут лишь мои домочадцы, но я уверен, что жена обрадуется встрече с тобой.

Лично я в глубине души сомневался в этом, но разве мог я высказывать свое мнение о подобных вещах!

Государственный архив, или табулярый, который существовал всего шесть лет, нависал над форумом еще более угрожающе, нежели сегодня, – тогда почти ни одно здание не могло соперничать с ним. Я преодолел огромный лестничный пролет, и к тому времени, когда нашел библиотекаря, сердце мое уже выскакивало из груди. Предъявив ему перстень, я потребовал от имени сенатора Цицерона предоставить мне для ознакомления отчеты Верреса. Сначала служитель начал врать, что никогда не слышал о сенаторе Цицероне, потом принялся отнекиваться, ссылаясь на то, что архив уже закрывается. Тогда я указал в сторону Карцера и твердым голосом сказал, что если он не хочет провести месяц в тюремных цепях за то, что чинит препятствия государственным делам, то должен немедленно предоставить мне документы. Хорошо, что Цицерон научил меня не давать волю чувствам, а то я задал бы жару этой крысе. Постонав еще немного, библиотекарь попросил меня следовать за ним.

Архив был вотчиной Катула, храмом, который он воздвиг в честь себя и своего рода. Под сводом красовалась придуманная им надпись: «Лутаций Катул, сын Квинта, внук Квинта, согласно указу сената повелел соорудить Государственный архив и по окончании счел его удовлетворительным», а под надписью красовалась статуя самого Катула в полный рост. Этот Катул выглядел куда более молодым и героическим, чем живой, появившийся днем в сенате. Большинство служителей архива были его рабами либо вольноотпущенниками, и на одежде каждого из них был вышит значок Катула – маленькая собачка.

Я должен рассказать тебе, читатель, что за человек был этот Катул. Вину за самоубийство отца он возлагал на претора Гратициана, дальнего родственника Цицерона, и, после того как в гражданской войне между Марием и Суллой победили аристократы, ухватился за возможность отомстить. Его молодой протеже Сергей Катилина по приказанию Катула повелел схватить Гратициана и прогнать его хлыстом по улицам до семейного склепа Катулов. Там ему переломали руки и ноги, отрезали уши и нос, вырвали язык и выкололи глаза. Затем несчастному отрубили голову, и Катилина торжественно принес этот ужасный трофей Катулу, который ожидал на форуме. Понимаешь ли ты теперь, читатель, почему я с таким трепетом ожидал, когда передо мной откроется архив?

Для всего, что касалось сената, отвели хранилища, вырубленные в скальной породе Капитолийского холма. Сюда не могла попасть молния, и опасности пожара почти не существовало. Рабы распахнули передо мной большую бронзовую дверь, и моему взору предстали тысячи свитков папируса, укрывшихся в темных недрах священного холма. В этом сравнительно небольшом помещении были заключены пятьсот лет истории – половина тысячелетия: указы и распоряжения магистратов, проконсулов, правителей, законодательство различных земель – от Лузитании до Македонии, от Африки до Галлии. Под большей частью документов стояли имена представителей немногих семей, всегда одних и тех же: Эмилиев, Клавдиев,

Корнелиев, Лутациев, Метеллов, Сервилиев. Именно это, по мнению Катула и ему подобных, давало им право смотреть свысока на рядовых всадников, подобных Цицерону.

Я ждал у двери, пока служители искали отчеты Верреса. Наконец один из них вышел и вручил мне единственный ящик с какой-нибудь дюжиной свитков. Просмотрев прикрепленные к ним ярлыки, я увидел, что почти все они относятся к тому времени, когда Веррес являлся городским претором. Исключением был хрупкий лист папируса, который даже не стали сворачивать. Рукопись составили двенадцать лет назад, во время войны между Суллой и Марием: Веррес тогда был одним из низших магистратов. На папирусе были начертаны всего три предложения: «Я получил 2 235 417 сестерциев. 1 635 417 сестерциев я потратил на заработную плату, хлеб, выплаты легатам, проквесторам, преторианской когорте. 600 000 я оставил в Арминии».

Вспомнив, сколько документов пересылал в Рим Цицерон в свою бытность низшим магистратом в Сицилии (причем все были написаны мной под его диктовку), я едва удержался, чтобы не расхохотаться.

– И это все? – осведомился я.

Служитель подтвердил, что так и есть.

– Но где же его отчеты из Сицилии?

– Еще не поступили.

– Не поступили? Но его назначили наместником провинции два года назад!

Библиотекарь посмотрел на меня пустым взглядом, и я понял, что зря трачу время. Переписав три предложения, содержащиеся на папирусе, я вышел на вечернюю прохладу.

За то время, что я провел в Государственном архиве, на Рим опустилась тьма. Семейство Цицерона уже приступило к ужину, однако хозяин предупредил раба Эроса, чтобы меня провели в триклиний<sup>9</sup> сразу же после того, как я вернусь.

Цицерон возлежал на ложе рядом с Теренцией. Был здесь и его брат Квинт вместе со своей супругой Помпонией. Третье ложе занимали двоюродный брат Цицерона Луций и незадачливый Стений, по-прежнему одетый в грязные траурные одежды, поживавшийся от смущения. Войдя в трапезную, я сразу же ощутил напряжение, но сам Цицерон был в прекрасном настроении. Он всегда любил застолья, причем ценил в них не столько яства, сколько возможность побыть в хорошем обществе и насладиться беседой. Среди собеседников он в особенности ценил Квинта, Луция и, конечно, Аттика.

– Ну? – обратился он ко мне.

Я рассказал ему о том, что произошло, и показал три предложения из отчета Верреса. Пробежав их глазами, Цицерон заворчал и бросил восковую табличку на стол.

– Ты только взгляни на это, – обратился он к Квинту, – этот негодяй настолько ленив, что даже соврать не может. Шестьсот тысяч! Кругленькая сумма! Ни больше ни меньше! И где он их оставляет? В городе, который потом – до чего ладно все складывается! – занимает противник. Дескать, с него и спрашивайте за пропажу денег. И еще: в архив не поступило ни одного отчета за последние два года. Стений, я несказанно благодарен тебе за то, что ты обратил мое внимание на этого мерзавца.

– Да, мы благодарны тебе от всей души, – проговорила Теренция с ледяной вежливостью, не предвещавшей ничего хорошего. – Благодарны за то, что втянул нас в войну против половины самых влиятельных семей Рима. Но зато теперь, я полагаю, мы сможем общаться с сицилийцами, так что расстраиваться нет причин. Откуда ты родом, говоришь?

– Из Ферм, досточтимая.

– Ах, из Ферм! Никогда не слышала об этом месте, но не сомневаюсь, что оно восхитительно. Ты сможешь произносить свои пылкие речи перед тамошним городским советом,

---

<sup>9</sup> Триклиний – помещение для трапезы в древнеримском доме.



Цицерон. Может, тебя даже выберут туда, ведь Рим отныне для тебя закрыт. Но зато ты станешь консулом Ферм, а я буду первой дамой.

– Уверен, что ты справишься, с твоим-то умом и обаянием, дорогая, – ответил Цицерон, похлопав жену по руке.

Так они могли препираться часами, и я подозреваю, что временами им это нравилось.

– И все же я пока не понимаю, что ты будешь делать со всем этим, – проговорил Квинт. Совсем недавно вернувшийся с военной службы, он был на четыре года моложе своего родственника, но обладал едва ли половиной его ума. – Если ты предложишь сенаторам поговорить о Верресе, они все заболтают, если ты вытащишь его в суд, они сделают так, что он непременно будет оправдан. Советую держаться от всего этого подальше.

– А что скажешь ты, Луций?

– Я скажу, что человек чести, будучи римским сенатором, не может оставаться в стороне, равнодушно наблюдая за возмутительным и неприкрытым мздоимством.

– Bravo! – воскликнула Теренция. – Вот слова подлинного философа, который за всю свою жизнь не занимал ни одной должности!

Помпония громко зевнула.

– Нельзя ли поговорить о чем-нибудь другом? – спросила она. – Государственные дела – это так скучно!

Она и сама была на редкость скучной женщиной. Помимо выдающегося бюста, у нее имелось только одно достоинство: она приходилась сестрой Атику. Я заметил, что Цицерон встретился глазами с братом и почти незаметно качнул головой, словно говоря: «Не обращай внимания. С ней бесполезно спорить».

– Хорошо, – подытожил он, – не будем больше о государственных делах. Но я хочу выпить, – он поднял кубок, и все последовали его примеру, – за нашего старого друга Стения. Оставив в стороне все остальное, пожелаем, чтобы этот день стал началом восстановления его благоденствия.

Глаза сицилийца увлажнились от избытка чувств.

– За тебя, Стений!

– И за Фермы, – едко добавила Теренция, переведя взгляд маленьких темных глаз с кубка на лицо сицилийца. – Не будем забывать о Фермах.

Я поел один в кухне и потащился спать, прихватив с собой лампу и несколько свитков с философскими трудами – мне разрешалось брать из небольшой хозяйской библиотеки что угодно. Однако я изнемогал от усталости и поэтому не смог читать. Позже за гостями закрылась входная дверь, громко лязгнули железные засовы. Я слышал, как Цицерон и Теренция поднимаются вверх, а затем расходятся по разным комнатам. Не желая, чтобы муж будил ее чуть свет, она давно уже облюбовала себе отдельную спальню в глубине дома. Над моей головой слышались тяжелые шаги хозяина, который расхаживал по комнате. Это было последнее, что донеслось до моего слуха: вслед за этим я задул лампу и провалился в сон.

Лишь через шесть недель до нас дошли первые новости из Сицилии. Веррес пропустил отцовские просьбы мимо ушей. В первый день декабря он, как и собирался, провел в Сиракузах суд над Стением, заочно осудил его за помощь повстанцам, приговорил к распятию на кресте и отрядил своих головорезов в Рим. Те должны были схватить несчастного и привезти в Сицилию, чтобы предать там мучительной смерти.

### III

Вызывающее, пренебрежительное поведение наместника в Сицилии оказалось для Цицерона полной неожиданностью. Он был уверен, что заключил честное соглашение, которое поможет спасти жизнь его клиенту.

– Выходит, – горько жаловался он, – среди них нет честных людей!

Он бушевал и метался по дому, чего раньше никогда не случалось. Его провели, обманули, выставили дураком! Он кричал, что немедленно отправится в сенат и публично разоблачит этот гнусный обман. Однако я знал, что Цицерон очень скоро успокоится. Он прекрасно знал, что его положение в сенате не позволяет даже настаивать на созыве заседания и если он попытается сделать это, то лишь подвергнется новому унижению.

Но все равно Цицерон был просто обязан защитить своего клиента. Наутро после того, как Стений с ужасом узнал об ожидавшей его судьбе, мой хозяин собрал совет, чтобы определиться со следующими шагами. В первый раз на моей памяти он отменил ежедневный утренний прием посетителей, и мы вшестером набились в его маленькую комнату для занятий: сам Цицерон, Квинт, Луций, Стений, я со своими табличками для записей и Сервий Сульпиций – молодой, но уже известный законник, которому прочили блестящее будущее. Цицерон первым делом предложил Сульпицию изложить суть дела с точки зрения закона.

– Вообще-то, – начал тот, – наш друг имеет право оспорить приговор сиракузского суда, но подать прошение он может только на имя наместника, то есть самого Верреса. Значит, этот путь для нас закрыт. Выдвинуть обвинение против Верреса тоже невозможно. Во-первых, как действующий наместник, он пользуется неприкосновенностью. Во-вторых, полномочия Гортензия как судебного претора истекают только в январе. Наконец, в-третьих, суд будет состоять из сенаторов, которые не пойдут против одного из своих. Цицерон может внести в сенат еще один проект, но он уже предпринял такую попытку, и мы знаем, чем она закончилась. Вторую непременно постигнет такая же участь. Открыто жить в Риме Стений не может. Любой приговоренный к смерти согласно закону должен быть немедленно изгнан из города. Между прочим, и ты, Цицерон, можешь подвергнуться преследованию, если попытаешься укрывать его в своем доме.

– И что же ты посоветуешь?

– Самоубийство, – ответил Сервий. Стений издал мучительный стон. – Я говорю совершенно серьезно. Боюсь, тебе придется подумать об этом, прежде чем они доберутся до тебя. Или ты предпочитаешь бичевание, раскаленные гвозди, забиваемые в ладони, многочасовые муки на кресте...

– Благодарю тебя, Сервий, – прервал его Цицерон, пока законник окончательно не запугал сицилийца, и так полумертвого от страха. – Тирон, нужно найти место, где Стений мог бы скрываться какое-то время. Под этой крышей ему оставаться больше нельзя, здесь его будут искать в первую очередь. Сервий, я восхищен твоей речью, ты изложил все безукоризненно. Веррес – животное, но животное хитрое, и поэтому он почувствовал себя в силах довести дело до обвинения. Ну а я ночью все обдумал и решил, что по крайней мере один выход есть.

– Какой? – хором спросили собеседники.

– Обратиться к трибунам.

В комнате повисло напряженное молчание. Трибуны к тому времени полностью утратили доверие. Изначально они были противовесом сенату, отстаивая права и интересы рядовых граждан, но за десять лет до описываемых событий, после того как Сулла разгромил войска Мария, аристократы лишили их прежних полномочий. Трибуны более не имели права созывать народные собрания, вносить законопредложения или смещать таких, как Веррес, за преступления и злоупотребления. Последним унижением стало правило, согласно которому любой

сенатор, становившийся трибуном, лишался права занимать высшие должности – консула или претора. Иными словами, институт трибунов превратился в своеобразный отстойник. Трибунами делали пустословов или оголтелых злопыхателей, бездарных и не имеющих будущего – отходы деятельности государства. С трибунами не станет иметь дела ни один сенатор, независимо от его происхождения и честолюбия.

Цицерон помахал в воздухе рукой, призывая собеседников к молчанию.

– Я предвижу ваши возражения, – сказал он, – но у трибунов еще осталась толика власти, пусть и крошечная. Не так ли, Сервий?

– Это верно, – согласился законник. – Они все еще сохранили *potestas auxilii ferendi*. – Созерцание наших ничего не понимающих лиц доставило ему истинное наслаждение, и Сервий с улыбкой пояснил: – Право предоставлять защиту людям, подвергшимся несправедливым преследованиям со стороны магистратов. Но я обязан предупредить тебя, Цицерон, что твои друзья, в числе которых имею честь быть и я, станут коситься на тебя, если ты ввяжешься в дела простонародья. Самоубийство! – повторил он. – Что тут, в конце концов, такого? Все мы смертны, и уход из жизни для каждого из нас – это всего лишь вопрос времени. Покончив с собой, Стений, ты умрешь с честью.

– Я согласен с Сервием. Мы можем подвергнуться опасности, связавшись с трибунами, – проговорил Квинт. Он всегда говорил «мы», имея в виду старшего брата. – Нравится нам или нет, но власть в Риме сегодня принадлежит сенату и аристократам. Именно поэтому мы так осмотрительно создавали тебе имя, чтобы ты прославился как судебный защитник. Если другие решат, что ты всего лишь очередной нарушитель спокойствия, пытающийся взбудоражить чернь, это может нанести нам непоправимый урон. И кроме того... Даже не знаю, как и сказать, Марк... Задумывался ли ты о том, как поведет себя Теренция, если ты пойдешь этим путем?

Сервий захохотал:

– Действительно, Цицерон, как ты собираешься покорять Рим, если не можешь справиться с собственной женой?

– Поверь мне, друг мой Сервий, покорение Рима – это детская игра по сравнению с покорением моей жены!

Спор продолжился. Луций склонялся к тому, чтобы немедленно, независимо от возможных последствий, обратиться к трибунам, а Стений был слишком перепуган и несчастен, чтобы иметь собственное мнение о чем-нибудь. Под конец Цицерон захотел выслушать меня. В ином обществе это показалось бы нелепостью, ибо взгляды раба в Риме никем и никогда не принимались в расчет, но люди, собравшиеся в этой комнате, уже привыкли к тому, что Цицерон иногда обращался ко мне за советом. Я осторожно ответил, что, как мне кажется, поведение Верреса не понравится Гортензию и во избежание публичного скандала он может усилить нажим на своего клиента, рассчитывая сделать его более сговорчивым. Что касается обращения к трибунам, сказал я, оно таит в себе определенный риск, но все же это лучшее, что можно сделать. Мой ответ явно понравился Цицерону.

Подводя итоги обсуждения, он произнес слова, ставшие впоследствии афоризмом. Я никогда не забуду их:

– Иногда, увязнув в государственных делах, следует ввязаться в драку, даже если не знаешь, как в ней победить. Только во время драки, когда все приходит в движение, можно увидеть выход. Благодарю вас, друзья мои.

На этом совещание закончилось.

Терять время было нельзя: если новости из Сиракуз успели достичь Рима, следовало думать, что люди Верреса уже недалеко. Во время совещания я непрерывно размышлял о том, где можно спрятать Стения, а потом отправился на поиски Филотима, раба Теренции. Моло-

дой, прожорливый и сладострастный, он обычно ошивался на кухне, где уговаривал кухарок снизить до какого-нибудь из его пороков, а лучше до обоих.

Найдя Филотима, я спросил, не найдется ли в принадлежащих его хозяйке доходных домах свободной комнаты. Узнав, что комната есть, я уговорил его дать мне ключ. Затем, выглянув за дверь и убедившись, что возле дома не слоняются подозрительные личности, я уговорил Стения последовать за мной.

Сицилиец был подавлен: его мечты вернуться домой пошли прахом, а теперь бедняга мог еще и потерять свободу. Когда Стений увидел убогое строение в Субуре и слышал от меня, что ему предстоит здесь жить, он, видимо, решил, что даже мы бросили его.

В эту мрачную нору вели разошедшиеся, шаткие ступени, на стенах виднелась копоть – напоминание о недавнем пожаре. Комната на втором этаже мало чем отличалась от тюремной камеры. На голом полу валялся соломенный тюфяк, из крохотного оконца было видно точно такое же здание, стоявшее настолько близко, что с его жильцами можно было обмениваться рукопожатиями. Нужду справляли в ведро.

Что и говорить, удобств маловато, но здесь Стений хотя бы мог чувствовать себя в безопасности. В этих зловонных, перенаселенных трущобах он никому не был известен, и отыскать его было почти невозможно.

Стений плаксивым голосом попросил меня побыть с ним хотя бы немного. Однако мне нужно было подобрать все документы по этому делу, чтобы Цицерон предоставил их трибунам.

– Время поджигает, – сказал ему я и тут же ушел.

Трибуны заседали по соседству с сенатом, в старой Порциевой базилике. Хотя трибунат превратился в пустую раковину, из которой власти выковыряли всю плоть, люди продолжали виться вокруг этого здания. Озлобленные, ограбленные, голодные, воинственные – такими были обычные посетители Порциевой базилики. Пересекая форум, мы с Цицероном увидели на ее ступенях изрядную толпу. Каждый тянул шею, пытался разглядеть, что происходит внутри. Хотя в руках у меня была коробка с документами, я как мог расчищал сенатору путь, получая многочисленные толчки и пинки. Собравшиеся здесь не питали особой любви к обладателям тог с пурпурной полосой.

Десять трибунов, ежегодно избираемых народом, изо дня в день сидели на длинной деревянной лавке под фреской, изображавшей разгрома карфагенян. В здании, не очень большом, постоянно шумел народ и было тепло, несмотря на стоявший за дверями холод.

Когда мы вошли, к собравшимся обращался с речью какой-то – почему-то босоногий – юнец, уродливый, с костлявым лицом и отвратительным скрипучим голосом. В Порциевой базилике всегда хватало сумасбродов, и поначалу я принял оратора за одного из них – тем более что он, похоже, рассуждал лишь о том, почему ни одну из колонн нельзя передвинуть или убрать, чтобы трибунам было просторнее. И тем не менее люди отчего-то слушали его. Цицерон также стал внимать словам уродца и скоро, услышав в десятый раз «мой предок», понял: это праправнук знаменитого Марка Порция Катона, построившего базилику и давшего ей свое имя.

Я упомянул об этом случае потому, что юному Катону – тогда ему было двадцать три – впоследствии предстояло сыграть немалую роль в судьбе Цицерона и гибели республики. Однако в то время о таком никто и помыслить не мог. Выглядел он как обитатель сумасшедшего дома. Закончив свою речь, Катон двинулся вперед – с безумными, ничего не видящими глазами – и наткнулся на меня. Мне запомнились звериный запах, исходивший от него, мокрые, спутанные волосы и пятна пота под мышками – каждое величиной с тарелку. Однако он добился своей цели, и колонна, которую он пылко защищал, стояла на своем месте еще много лет – столько же, сколько само здание.

Однако вернусь к своей истории. Как я уже говорил, в целом трибуны являли собой жалкое зрелище, но один из них был даровитым и деятельным. Звали его Лоллий Паликан. Гор-

дый человек, он, однако, был низкого происхождения, родившись, как и Помпей Великий, на северо-востоке Италии. Все были убеждены, что по возвращении из Испании Помпей использует свое влияние для того, чтобы сделать земляка претором, и несказанно удивились, когда Паликан решил избираться в трибуны. Однако в то утро он выглядел вполне довольным, сидя рядом с другими новоиспеченными трибунами. Выборы состоялись в десятый день декабря, и они еще не совсем освоились с новой должностью.

– Цицерон! – радостно воскликнул Лоллий, завидев нас. – А я все жду, когда ты появишься!

Паликан сообщил, что до него уже дошла весть о случившемся в Сиракузах и он сам хотел поговорить о Верресе. Однако ему хотелось бы побеседовать с Цицероном наедине, поскольку на карту, таинственно сообщил он, поставлено гораздо больше, нежели судьба одного несчастного. Лоллий предложил встретиться через час в его доме на Авентинском холме. Цицерон согласился, и трибун тут же велел одному из своих подчиненных проводить нас туда. Сам он собирался идти один.

Дом Лоллия, расположенный у Лавернских ворот, прямо за городской стеной, оказался суровым и непритязательным. Больше всего мне запомнился огромный бюст Помпея, облаченного в шлем и доспехи Александра Македонского. Он стоял в атриуме и подавлял своими размерами.

– Да, – проговорил Цицерон, как следует осмотрев бюст, – неплохо, если захочешь отдохнуть от «Трех граций».

То была одна из его едких шуточек, которые разлетались по городу и безошибочно находили свою жертву. К счастью, на сей раз его не услышал никто, кроме меня. Воспользовавшись удобным случаем, я сказал хозяину, как письмоводитель консула отнесся к байке о Геллии, пытавшемся помирить философов. Цицерон сделал вид, что до смерти напуган, и пообещал впредь быть осторожнее. «Люди, – заявил он, – любят, когда публичные деятели скучны до зевоты. Я стану таким же». Не знаю, говорил ли он всерьез, но даже если так, Цицерону никогда не удавалось быть скучным.

– Ты произнес великолепную речь на прошлой неделе, – с порога заявил Паликан. – У тебя в сердце горит настоящий огонь, поверь мне! Но эти ублюдки-аристократы втоптали тебя в грязь. Что ты намерен делать дальше?

Вот так он говорил: грубые слова, грубый выговор. Неудивительно, что аристократам приходилось туго, когда они вступали с ним в спор.

Я открыл коробку, вручил Цицерону документы, и он вкратце рассказал Лоллию, что случилось со Стением. Закончив, он спросил, есть ли надежда заручиться поддержкой трибунов.

– Это от многого зависит, – улыбнулся Лоллий, облизнув губы. – Давай присядем и подумаем, что можно предпринять.

Он провел нас в другую комнату, поменьше. Одну из стен украшала фреска с изображением Помпея, увенчанного лавровым венком. Здесь он был одет как Юпитер, а в руках держал разящие молнии.

– Нравится? – спросил Паликан.

– Очень впечатляюще, – ответил Цицерон.

– Да, ты прав, – с нескрываемой гордостью согласился хозяин дома. – Вот это – настоящее искусство.

Я уселся в уголке, прямо под изображением пиценского божества, а Цицерон, с которым я старался не встречаться глазами, чтобы мы оба не расхохотались, устроился на ложе в противоположном конце комнаты, рядом с хозяином.

– То, что я собираюсь сказать тебе, Цицерон, не должно выходить за стены этого дома. Помпей Великий, – Лоллий мотнул головой в сторону фрески на случай, если мы вдруг не

поняли, о ком он говорит, – скоро возвращается в Рим. Впервые за последние шесть лет. Он прибывает со своим войском, так что наши благородные друзья не смогут играть с ним в свои грязные игры. Он идет за должностью консула. И он получит ее. И никто не сможет помешать ему.

Паликан резко подался вперед, ожидая увидеть на лице собеседника потрясение или хотя бы удивление, однако Цицерон выслушал это поразительное сообщение так же бесстрастно, как если бы ему сообщили о погоде за окном.

– Если я правильно понял тебя, ты хочешь, чтобы я поддержал вас с Помпеем в обмен на помощь в деле Стения? – спросил Цицерон.

– Ну и хитрец же ты, Цицерон! Сразу все понял! И каким будет твой ответ?

Цицерон оперся подбородком о руку и поглядел на Паликана:

– Для начала могу сказать тебе, что Квинта Метелла эта новость не обрадует. Его предназначали в консулы с самого рождения. Очередь Квинта Метелла подходит следующим летом.

– Вот как? Тогда пусть поцелует мой зад! Сколько у него легионов?

– Легионы найдутся и у Красса, и у Лукулла, – заметил Цицерон.

– Лукулл слишком далеко, кроме того, у него и так есть все, что ему нужно. Что касается Красса... Да, Красс и вправду ненавидит Помпея до дрожи, но он – не настоящий солдат. Он скорее торгаш, а такая публика предпочитает заключать сделки.

– Но есть еще одна вещь, которая делает вашу затею совершенно противозаконной. Стать консулом можно не раньше сорока трех лет. А сколько Помпею?

– Только тридцать четыре.

– Вот видишь! Он почти на год младше меня. Кроме того, прежде чем стать консулом, сначала следует избраться в сенат и послужить претором, а за плечами Помпея нет ни того ни другого. Он в жизни не произнес ни одной речи, касающейся государственных дел. Короче говоря, Паликан, трудно представить кого-нибудь менее подходящего на место консула, чем Помпей.

Паликан развел руками:

– Все это, возможно, верно, но давай поглядим правде в глаза. Помпей много лет правил целыми странами. Он уже консул, только что не по имени. Смотри на вещи трезво, Цицерон! Ты ведь не думаешь, что такой человек, как Помпей, приедет в Рим и начнет пробиваться наверх с самого низа, точно прислужник при государственном деятеле! Что станет тогда с его именем?

– Я уважаю его чувства, но ты просил меня высказаться, и вот мое мнение. Скажу еще одно: аристократы этого не потерпят. Да, если Помпей приведет к стенам города десяти тысячное войско, я допускаю, что ему позволят сделаться консулом, но рано или поздно его солдаты вернутся домой, и как он тогда... Ха! – Цицерон неожиданно откинул голову и громко засмеялся. – А ведь это очень умно!

– Ну что, дошло? – усмехнувшись, спросил Паликан.

– Дошло! – с горячностью кивнул Цицерон. – На самом деле умно!

– Вот я и предлагаю тебе принять в этом участие. А Помпей Великий никогда не забывает друзей.

В то время я понятия не имел, о чем они толкуют. Цицерон разъяснил мне это лишь по пути домой. Помпей намеревался стать консулом, предложив полностью восстановить власть трибунов. Этим и объяснялось непонятное на первый взгляд решение Паликана стать трибуном. В основе этого замысла лежало вовсе не бескорыстное намерение предоставить римлянам больше свободы, хотя я допускаю, что время от времени, нежась в испанских купальнях, Помпей с удовольствием представлял себя борцом за права простых людей. Нет, конечно же, это был чистый расчет. Будучи прекрасным военачальником, Помпей понял, что, бросив такой клич, он сумеет взять аристократов в клещи: с одной стороны – его солдаты, вставшие лагерем

у стен города, с другой – простой народ внутри этих стен. У Гортензия, Катутла, Метелла и остальных просто не останется выбора. Придется дать Помпею консульство и вернуть трибунам отобранные у них полномочия, а иначе им конец. А после этого Помпей сможет отослать войско домой и править, минуя сенат и обращаясь прямо к народу. Он станет неуязвимым и недосыгаемым. По словам Цицерона, замысел был блестящим: он внезапно осознал это во время беседы с Паликаном.

– Что же получу я? – спросил Цицерон.

– Отмену смертного приговора для твоего клиента.

– И это все?

– Это будет зависеть от того, какую пользу ты принесешь. Я не могу обещать ничего определенного. Придется тебе подождать, пока сюда не приедет сам Помпей.

– Не слишком привлекательное предложение, друг мой Паликан, замечу я.

– Позволь и мне заметить, что ты сейчас находишься в не слишком привлекательном положении, мой дорогой Цицерон.

Цицерон поднялся. Я понял, что у него сейчас лопнет терпение.

– Я в любое время могу отойти в сторону.

– И оставить своего клиента умирать на кресте Верреса? – Паликан тоже встал. – Сомневаюсь, что ты столь жестокосерден, Цицерон. – Он провел нас мимо Помпея в образе Юпитера, потом мимо Помпея в образе Александра Великого. Обменявшись на пороге рукопожатием с Цицероном, он сказал: – Завтра утром приходи со своим клиентом в базилику. После этого ты окажешься нашим должником, и мы будем внимательно наблюдать за происходящим.

Дверь закрылась с громким, уверенным стуком.

– Если он ведет себя так на людях, каков же он в отхожем месте? И не напоминай мне, Тирон, чтобы я осторожнее выбирал слова. Мне наплевать, слышит их кто-нибудь или нет.

Он двинулся к городским воротам, сцепив руки за спиной и задумчиво опустив голову. Бесспорно, Паликан был прав, и у Цицерона не было выбора. Он не мог бросить своего клиента на произвол судьбы. Однако я уверен, что он взвешивал все за и против, пытаясь решить, стоит ли менять замысел и вместо простого обращения к трибунам ввязываться в чреватую кровопролитием борьбу за восстановление их прав и привилегий. Пойдя на этот шаг, он может лишиться поддержки умеренных – таких, как Сервий.

– Ладно, – сказал он с кривой полуулыбкой, когда мы дошли до дома, – я хотел ввязаться в драку, и, похоже, мне это удалось.

Он спросил Эроса, где находится Теренция, и, кажется, испытал облегчение, услышав, что она все еще у себя. Значит, в его распоряжении есть несколько часов и неприятный разговор, во время которого он должен будет рассказать ей последние новости, состоится не сейчас. Мы прошли в его маленькую комнату для занятий, и Цицерон сразу же принялся диктовать мне речь, с которой намеревался обратиться к трибунам:

– Друзья мои! Для меня великая честь впервые предстать перед вами...

Тут послышались крики и глухие удары в дверь. Цицерон, который любил диктовать, расхаживая по комнате, выскочил, желая выяснить, что происходит. Я поспешил за ним. В прихожей мы обнаружили шестерых мужчин с грубыми и злыми лицами. Все они были вооружены палками. Эрос катался по полу, держась за живот и подвывая, из разбитой губы текла кровь. Помимо этих шестерых, был еще один, вместо палки державший в руках официальный документ. Шагнув к Цицерону, он объявил, что ему дано право обыскать дом.

– Дано кем?

Цицерон был спокоен. Мне на его месте, наверное, не удалось бы сохранять такое ледяное бесстрашие.

– Вот предписание, выданное Гаем Верресом, пропретором Сицилии, в первый день декабря. – Незнакомец оскорбительно помахал папирусом перед носом Цицерона. – Я разыскиваю изменника Стения.

– Здесь его нет.

– Это мне судить, есть он здесь или нет.

– А кто ты такой?

– Тимархид, вольноотпущенник Верреса, и я не позволю заговаривать мне зубы, пока преступник покидает дом. Вы, – повернулся он к двоим, стоявшим ближе к нему, – стерегите главный вход. Вы двое идите к черному ходу, остальные – за мной. Начнем с твоей комнаты для занятий, сенатор, если ты не возражаешь.

Через секунду дом наполнился топотом ног по мраморным плитам и деревянным полам, возгласами рабынь, грубыми мужскими голосами, выкрикивавшими приказы, звоном бьющейся посуды и другой утвари. Тимархид прошел в комнату для занятий и стал заглядывать в коробки с папирусами.

– Вряд ли ты найдешь его в одной из этих коробок, – заметил Цицерон, стоявший у двери.

Ничего не обнаружив, они поднялись в покои сенатора, выдержанные в спартанском стиле. Цицерон по-прежнему сохранял спокойствие, но было видно, что это дается ему с большим трудом. Глядя, как незваные гости перевернули кровать, он все же не сдержался и проговорил:

– Будь уверен, Тимархид, ты и твой хозяин стократно заплатите за все это.

Не обратив внимания на угрозу, Тимархид спросил:

– Твоя жена. Где она спит?

– На твоём месте я не стал бы делать этого, – тихо проговорил Цицерон.

Но остановить Тимархида было уже невозможно. Он проделал долгий путь, ничего не нашел, а нарочитое спокойствие Цицерона окончательно вывело его из себя. В сопровождении трех своих людей он побежал по коридору с криком: «Стений! Мы знаем, что ты здесь!» – и с разбега вломился в спальню Теренции.

Женский вопль и сочный звук пощечины, которой хозяйка дома наградила незваного гостя, были слышны во всех уголках дома. А затем последовал поток виртуозных проклятий, изрыгаемых так громко и повелительно, что предок Теренции, возглавлявший римские силы в битве против Ганнибала при Каннах полтора века назад, должно быть, открыл глаза и сел в своей могиле.

– Она кинулась на мерзкого вольноотпущенника, как тигрица бросается с дерева, – рассказывал впоследствии Цицерон. – Признаться, мне даже стало жаль беднягу.

Тимархид, видимо, понял, что проиграл: через минуту он вместе с тремя своими головорезами уже отступал вниз по лестнице под натиском разъяренной Теренции и маленькой Туллии, которая пряталась за юбкой матери, но в подражание ей воинственно размахивала кулачками. Мы слышали, как Тимархид созывает своих людей и все они выбегают на улицу. Хлопнула дверь, и в старом доме вновь воцарилась тишина, нарушаемая лишь приглушенными всхлипываниями одной из служанок.

– Ну что, доволен? – уперев руки в боки, накинута на Цицерона Теренция, все еще кипевшая от гнева. Ее щеки пылали, узкая грудь часто вздымалась и опускалась. – И все это из-за того, что ты заступился в сенате за этого зануду Стения!

– Боюсь, ты права, милая, – грустно ответил Цицерон. – Они решили меня запугать.

– Ты не должен позволить им сделать это, Цицерон, – проговорила женщина, взяв его голову в свои руки – не столько нежно, сколько страстно. Глядя на него горящими глазами, она добавила: – Ты должен сокрушить их!

В итоге, когда следующим утром мы отправились в Порциеву базилику, по одну сторону от Цицерона шел Квинт, по другую Луций, а позади него, облаченная в роскошное пла-



ть римской матроны, в нанятых по такому случаю носилках восседала Теренция. Впервые за всю их совместную жизнь она покинула дом, чтобы выслушать публичную речь мужа, и, готов покаяться, от ее присутствия мой хозяин волновался больше, чем от предстоящего выступления перед трибунами.

Этим утром, как всегда, Цицерона сопровождала внушительная свита клиентов, еще увеличившаяся после того, как примерно на полпути мы остановились, чтобы забрать Стения из его жалкого убежища на улице Аргилет. В общей сложности наша процессия насчитывала около сотни человек. Не таясь, мы прошли через форум и направились в базилику, где заседали трибуны. Тимархид вместе со своей шайкой следовал за нами на некотором отдалении, не осмеливаясь напасть: численный перевес был на нашей стороне. Кроме того, было件нятно, что если он попытается сделать это в базилике, то его просто разорвут на части.

Десять трибунов восседали на скамье. Зал был полон. Паликан поднялся со своего места и зачитал проект решения трибуната:

– Волею данного государственного органа изгнание Стения из Рима отменяется!

Затем вперед выступил Цицерон с бледным от волнения лицом. Нередко перед особенно важными выступлениями его начинало тошнить. То же самое произошло и теперь. За минуту до этого он остановился у сточной канавы, и его вырвало.

Поначалу Цицерон говорил почти то же, что недавно в сенате, правда теперь он мог пригласить своего клиента выйти вперед и время от времени делать жесты в его сторону, чтобы судьи смиростивились над несчастным. Пожалуй, никогда еще перед римским судом не представляла столь жалкая в своем отчаянии фигура, как Стений в тот день. Выступление Цицерона совершенно не походило на его обычные судебные речи: на этот раз он отчетливо высказался о состоянии дел в Риме. Когда Цицерон дошел до самой важной части, он уже не волновался, голос его звенел.

– Напомню старую пословицу: «Рыба гниет с головы». И если сегодня в Риме что-нибудь гниет – кто усомнится в этом? – я уверяю вас, что все также началось с головы. С самого верха! С сената! – (Слушатели одобрительно закричали и затопали ногами в знак согласия.) – И если вы спросите, что можно сделать с этой гниющей, вонючей, разлагающейся головой, я отвечу без малейших колебаний: отрезать! – (Одобрительные возгласы зазвучали еще явственнее.) – Но простого ножа недостаточно, поскольку голову составляет знать, и все мы знаем, что это означает! – (В зале послышался смех.) – Эта голова налилась ядом мздоимства, раздулась от спеси и высокомерия. Тот, кто возьмет нож, должен иметь твердую руку и душевную крепость, ведь у всех этих знатных особ – у всех, говорю я вам! – шеи сделаны из меди. – (Снова смех.) – Но такой человек придет. Он уже близко. Вы будете восстановлены в своих правах, обещаю вам, какой бы ожесточенной ни была борьба. – Самые сообразительные принялись выкрикивать имя Помпея. Цицерон поднял руку с тремя растопыренными пальцами. – Сейчас вам предстоит пройти великое испытание и узнать, по плечу ли вам великая битва. Проявите мужество! Начните прямо сегодня! Нанесите удар тирании! Освободите моего клиента! А потом освободите Рим!

Позже Цицерон был до такой степени встревожен тем, как возбудила толпу его речь, что попросил меня уничтожить табличку с ее записью. Табличка эта была единственной, поэтому сейчас, признаюсь, я пишу по памяти. Однако я помню все в мельчайших подробностях: силу, звучавшую в каждом слове, страсть, звеневшую в его голосе, нарастающее возбуждение слушателей, которых он подстегивал, словно хлыстом. Я помню, как Цицерон и Паликан подмигнули друг другу, когда мы уходили из базилики, как неподвижно сидела Теренция, глядя перед собой, в то время как остальные буквально бесновались вокруг нее. Помню я и Тимархиду, который на протяжении всей речи стоял в глубине зала и поспешно улизнул до того, как отзвучали приветственные крики. Не сомневаюсь, что он тут же поспешил к своему хозяину —

рассказать о том, что произошло. Стоит ли говорить, что трибуны единогласно высказались в пользу Стения! С этой минуты ему ничто не угрожало в пределах Рима.

#### IV

Еще одна максима Цицерона гласила: «Даже если ты собираешься сделать что-нибудь непопулярное, делай это со всем пылом, поскольку робостью в государственных делах ничего не добьешься». А потому он, раньше не высказывавшийся относительно Помпея и трибунов, стал их ярым приверженцем. Стоит ли говорить, что сторонники Помпея были чрезвычайно довольны обретением столь блестящего сторонника.

Та зима была долгой и холодной. Как я подозреваю, неуютнее всего чувствовала себя Теренция. Для нее было делом чести поддерживать мужа в противостоянии с врагами, чьи наемники ворвались в их дом. Однако теперь ей приходилось сидеть среди дурно пахнущих бедняков и слушать, как Цицерон поносит тот общественный слой, к которому принадлежала она сама. В ее гостиной и столовой постоянно толпились новые единомышленники мужа: неотесанные мужланы из диких северных провинций с ужасающим выговором, которые клали ноги на ее мебель и строили козни до глубокой ночи.

Их предводителем был Паликан, и в январе, посетив нас вторично, он привел с собой одного из новых преторов, Луция Афрания, сенатора, происходившего, как и Помпей, из Пицена. Цицерон был сама любезность. Несколько лет назад Теренция также сочла бы за честь принимать под своим кровом претора, но Афраний не принадлежал к знатному роду и не блистал изысканными манерами. Хуже того, он осведомился у хозяйки дома, любит ли она танцевать, и, когда Теренция в ужасе отшатнулась, легкомысленно сообщил, что сам он обожает это занятие. Затем, что было совсем уж чудовищно, он задрал тогу и спросил Теренцию, приходилось ли ей видеть настолько красивые ноги.

Вот такими были люди Помпея в Риме – грубые до неприличия, с казарменными замашками и солдафонскими шутками. Но если учесть, что они замыслили, эти качества, видимо, были им необходимы. Время от времени к мужчинам присоединялась дочь Паликана Лоллия – толстая, краснощекая девица, очень не понравившаяся Теренции. Она была женой Авла Габиния, одного из подручных Помпея, также родом из Пицена: в то время он служил под началом Помпея в Испании. Этот Габиний поддерживал связь с легатами, возглавлявшими легионы, которые, в свою очередь, регулярно сообщали о настроениях среди центурионов. Афраний придавал этому большое значение. Какой смысл, рассуждал он, приводить войско под стены города с намерением восстановить власть трибунов, если аристократ с легкостью перекупит эти легионы?

В конце января Габиний прислал весть о том, что пали последние оплоты мятежников, Уксама и Калагуррис, и что Помпей готов вести свои легионы в Рим. Цицерон неделями работал с педариями: пока сенаторы ждали начала заседания, он отводил в сторону то одного, то другого, убеждая их в том, что восстание рабов на севере угрожает их торговым и другим предприятиям. Когда же дошло до голосования, то, несмотря на отчаянное сопротивление аристократов и приверженцев Красса, сенаторы – пусть и незначительным большинством голосов – разрешили Помпею сохранить свое испанское войско и привести ее на родину, чтобы сокрушить сообщников Спартака на севере. С этих пор консульство у Помпея было, можно сказать, в кармане; когда закон приняли, Цицерон впервые за несколько недель вернулся домой с улыбкой на устах.

Да, аристократы ненавидели Цицерона теперь больше, чем кого-либо еще в Риме, и громко проклинали его. Председествовавший на заседании консул, надменный Публий Корнелий Лентул Сура, даже сделал вид, что не узнает Цицерона, когда тот поднялся с места. Пусть! Разве это имело значение? Теперь он принадлежал к узкому кругу приближенных Пом-

пея Великого, а ведь даже дураку известно, что вернейший способ достичь высших должностей – быть рядом с человеком, находящимся на вершине власти.

Стыдно признаться, но за эти хлопотные месяцы мы начисто забыли о Стении из Ферм. Нередко он заявлялся утром и потом целый день таскался за сенатором в надежде поговорить с Цицероном. Он жил все там же, в одном из домов, принадлежавших Теренции. У него почти не было денег. Он не мог покинуть город: неприкосновенность, предоставленная ему трибунами, действовала только в пределах Рима. Стений не брил бороду, не стриг волосы и, судя по источаемому им запаху, не менял одежду с октября. Он бесцельно бродил по улицам и был похож если не на безумца, то по меньшей мере на одержимого.

Цицерон придумывал всевозможные оправдания, чтобы не встречаться с ним. Без сомнения, он считал, что выполнил все свои обязательства перед клиентом, но это было не единственной причиной. Любой государственный деятель чем-то похож на городского сумасшедшего: он не может заниматься одновременно двумя делами, а бедный Стений уже канул в прошлое. Всех занимало одно – приближавшееся столкновение между Помпеем и Крассом, – а нытье сицилийца только раздражало.

Поздней весной Красс, разбив главные силы Спартака в «каблук» италийского «сапога» и пленив шесть тысяч мятежников, двинулся к Риму. Вскоре после этого Помпей перешел через Альпы и подавил восстание рабов на севере. Он направил консулам письмо, которое было зачитано в сенате. Об успехах Красса в нем упоминалось вскользь, зато говорилось, что именно благодаря Помпею восстание рабов подавлено «окончательно и бесповоротно». Помпей подавал своим сторонникам ясный сигнал: в этом году триумф ожидает лишь одного полководца, и им точно будет не Марк Красс. В конце письма – для самых непонятливых – сообщалось, что он, Помпей, тоже движется к Риму. Стоит ли удивляться тому, что на фоне этих великих, поистине исторических событий Стений был начисто забыт.

В самом конце мая или в начале июня – уже не помню точно – в дом Цицерона прибыл гонец с письмом. Он с неохотой отдал его мне, но уходить отказался, сославшись на то, что ему приказано дожидаться ответа. Хотя гонец носил обычную одежду, в нем безошибочно угадывался военный.

Я отнес письмо в комнату для занятий, вручил его Цицерону и смотрел, как его лицо мрачнеет по мере чтения. Затем он передал его мне. Прочитав первую же строку: «Марк Лициний Красс, император, приветствует Марка Туллия Цицерона!» – я сразу же понял причину его озабоченности. Нет, в самом письме не содержалось ничего угрожающего. Это было вежливое приглашение встретиться с победоносным военачальником следующим утром, близ города Ланувий, на римской дороге, у восемнадцатого мильного столба.

– Могу ли я отказаться? – спросил Цицерон и сам же ответил: – Нет, не могу. Это будет воспринято как смертельное оскорбление.

– Возможно, он хочет заручиться твоей поддержкой, – предположил я.

– Вот как? – язвительно переспросил Цицерон. – Что заставляет тебя так думать?

– Разве ты не можешь хоть немного обнадежить его? Конечно, так, чтобы это не противоречило вашим с Помпеем начинаниям.

– В том-то и дело, что не могу. Помпей требует полнейшей преданности и не оставил никаких сомнений на этот счет. Красс спросит: «Ты за меня или против меня?» – и вот он, главный ужас любого государственного мужа, – необходимость дать прямой и недвусмысленный ответ. – Он тяжело вздохнул. – Но ехать все равно придется.

На следующее утро, как только рассвело, мы пустились в путь на открытой двухколесной коляске, которой правил один из рабов Цицерона. Был лучший день лучшего из времен года. Стало уже достаточно тепло, чтобы люди плескались в открытых общественных купальнях за Капенскими воротами, но еще не жарко, и утренний воздух приятно охлаждал наши лица. Дорога не успела покрыться толстым слоем летней пыли. Листья на ветвях оливковых дере-

вьев радовали глаз свежей изумрудной зеленью. Даже гробницы, тянувшиеся вдоль Аппиевой дороги, выглядели в свете утреннего солнца вполне жизнеутверждающе. В этих местах Цицерон обычно рассказывал о том или ином погребении: вот статуя Сципиона Африканского, а это – могила Горации, убитой собственным братом за то, что слишком откровенно оплакивала смерть своего возлюбленного. Но в то утро хорошее расположение духа покинуло его. Он был слишком озабочен предстоящей встречей с Крассом.

– Ему принадлежит добрая половина Рима, может, и эти могилы тоже – я не удивлюсь. Погляди на них! Каждый склеп способен вместить целую семью. А почему бы и нет? Ты слышал, как действует Красс? Допустим, он узнает, что где-то бушует пожар. Он посылает туда своих людей, и те предлагают жителям соседних кварталов продать свои жилища за бесценок. Иначе они попросту сгорят. Бедняги соглашаются скрепя сердце. После этого Красс отправляет туда же рабов с пожарными повозками, и те тушат пожар. Это лишь одно из его ухищрений. Знаешь, как называет его Сициний? Тот самый Сициний, который не боится никого и ничего? Так вот, он говорит, что Красс – «самый опасный бык в стаде».

Цицерон уткнул подбородок в грудь и больше не проронил ни слова до тех пор, пока мы не миновали восьмой мильный столб, углубившись в сельскую местность и оказавшись неподалеку от Бовилл. Только тогда он обратил мое внимание на кое-что необычное – отряды солдат, охранявшие, как казалось, небольшие столярные мастерские. Мы уже миновали четыре или пять таких сооружений, стоявших примерно через полмили, и чем дальше мы ехали, тем жарче кипела в них работа: визг пил, стук молотков, летящая в разные стороны земля. Через некоторое время Цицерон взглянул на меня и, заметив в моих глазах немой вопрос, пояснил:

– Легионеры сооружают кресты.

Еще чуть погода нам попалась колонна пехотинцев Красса, шагавших в сторону Рима. Пришлось съехать на обочину, чтобы пропустить их. Позади солдат длинной вереницей брели пленные рабы. Сотни и сотни изнуренных, то и дело спотыкавшихся людей с руками, связанными за спиной, шли навстречу неведомой им судьбе: жуткое войско серых призраков. Возница пробормотал заклятие от злых духов, хлестнул лошадей, и наша повозка рванулась вперед. А затем, через милю или чуть больше, мы увидели смерть. И не один раз, а много. По обе стороны Аппиевой дороги легионеры распинали пленников. Я до сих пор, спустя много десятков лет, пытаюсь забыть об этом, но страшные воспоминания все время посещают меня, заставляя просыпаться в холодном поту: деревянные кресты, на которых корчатся люди, прибитые гвоздями, бледные от боли и страха. Легионеры, натужно кряхтя и изрыгая проклятия, тянули за веревки, поднимая кресты и опуская их в заранее вырытые ямы.

Затем мы перевалили через холм, и нашим взорам предстали два длинных ряда уже поставленных крестов с распятыми людьми, тянувшиеся на много миль. Воздух, казалось, дрожал от стонов умирающих, гудения мух и голодного карканья круживших в небе воронов.

– Вот для чего он вытащил меня из Рима! – злобно пробормотал Цицерон. – Чтобы запугать, показав этих несчастных!

Он был очень бледен, поскольку любое напоминание о боли и тем более смерти – даже если это касалось животных – вызывало у него слабость, отвращение и тошноту. По этой причине он никогда не посещал цирк и, как я подозреваю, испытывал стойкое отвращение ко всему, связанному с войной. В юности он недолго служил под началом Суллы, но затем обратился к тихой и созерцательной жизни. Цицерон не владел мечом и не умел метать дротик, поэтому ему всегда приходилось выслушивать насмешки и оскорбления от товарищей, более искушенных в этих делах.

Миновав восемнадцатый мильный столб, мы обнаружили лагерь Красса, обнесенный ровом и защитным валом, и ощутили характерный запах пота и кожи. Над въездом реяли штандарты. Нас поджидал сын Красса, Публий, который в те времена был еще молодым и проворным центурионом. Ему было приказано проводить Цицерона в палатку начальствующего.

Навстречу нам попало несколько сенаторов, а следом за ними из палатки вышел Красс, не узнать которого было невозможно. Старая Лысина – так называли его солдаты. Несмотря на жару, на его плечи был накинут красный плащ – отличительный знак военачальника. Красс был само радушие. Провожая предыдущих посетителей, он махал рукой и желал им доброго пути. Нас он приветствовал столь же сердечно. Он пожал руку даже мне, точно я был сенатором, а не рабом, которого при иных обстоятельствах могли бы распять на одном из его крестов. Сейчас, вспоминая тот далекий день, пытаюсь понять, что насторожило меня в этом человеке, я думаю, что дело было в этом неразборчивом дружелюбии, которое он проявил бы, даже если бы собирался убить нас. Цицерон сказал мне, что его состояние оценивается более чем в двадцать миллионов сестерциев, но при этом Красс вел себя просто и умел быть на равных с любым, даже с селянином, а палатка полководца была столь же непритязательной, как его дом в Риме.

Он пригласил нас войти – и меня тоже, – извиняясь за ужасные картины, свидетелями которых нам пришлось стать, проезжая по Аппиевой дороге: это, по его словам, было продиктовано жестокой необходимостью. Казалось, он гордится своим открытием, позволившим распять шесть тысяч пленников на протяжении трехсот пятидесяти миль «царицы дорог», как называли тогда Аппиеву дорогу. Именно такое расстояние отделяло поле победоносной битвы от ворот Рима. Причем, как он выразился, ему удалось «не допустить сцен насилия». На одну милю приходилось семнадцать распятых, кресты стояли в ста семидесяти шагов друг от друга (у него был поистине математический склад ума), а хитрость заключалась в том, чтобы не посеять смятение среди пленников и не подвигнуть их на бунт, иначе могло начаться настоящее побоище. Для этого через каждую милю или две сколько-то пленников останавливались на обочине дороги, а остальные продолжали двигаться. После того как основная колонна скрывалась из виду, начинались казни. Так шла эта кровавая работа: ничтожный риск для палачей, громадное устрашающее воздействие на проезжих. Замечу, что Аппиева дорога была самой оживленной в Италии.

– Когда рабы услышат об этом, вряд ли у них возникнет желание еще раз взбунтоваться против Рима, – с улыбкой заявил Красс. – Вот ты, например, – обратился он ко мне, – захочешь бунтовать?

Я с жаром заверил его в том, что никогда не пошел бы на такое. Красс потрепал меня по щеке и взъерошил мои волосы. От его прикосновений по моему телу побежали мурашки.

– Продашь его? – спросил он Цицерона. – Он мне нравится, и я дал бы за него хорошую цену. Допустим...

Он назвал сумму, раз в десять или больше превышавшую мою истинную стоимость, и я испугался, что Цицерон не устоит перед щедрым предложением. Если бы он согласился продать меня, мое сердце не выдержало бы.

– Он не продается ни за какие деньги, – ответил Цицерон, подавленный тем, что увидел: голос его прозвучал хрипло. – И для того чтобы избежать всякого недопонимания, император, хочу сразу сообщить, что я присягнул на верность Помпею Великому.

– Помпею – какому? – насмешливо переспросил Красс. – Великому? Чем же он велик?

– Я не хотел бы пускаться в рассуждения об этом, – ответил Цицерон. – Сравнения могут оказаться обидными.

Это замечание пробило броню показного дружелюбия Красса, и его голова невольно дернулась.

Нередко один государственный муж испытывает такую сильную неприязнь к другому, что не может находиться с ним рядом, даже ради взаимной выгоды. Мне стало ясно, что это в полной мере относится к Цицерону и Крассу. Вот чего не понимали стоики, утверждая, что в человеческих отношениях главенствует рассудок, а не чувства. Лично я уверен в обратном. Так было, есть и будет – даже в государственных делах, где, казалось бы, тщательно просчитывается

каждый шаг, каждое слово. И если государственные деятели не подчиняются рассудку, что же говорить о других людях?

Красс вызвал Цицерона в надежде заручиться его дружбой, Цицерон приехал к Крассу, надеясь не утратить его доброго расположения, и тем не менее эти двое мужчин не могли скрыть взаимного недоброжелательства. Встреча обернулась полным провалом.

– Давай перейдем к делу, – проговорил Красс, предложив Цицерону сесть. Сняв плащ, он передал его сыну и опустился на походное ложе. – Я хотел попросить тебя о двух вещах, Цицерон. Во-первых, чтобы ты поддержал меня на выборах консула. Мне сорок четыре года, я подхожу по возрасту, кроме того, это – мой год. Во-вторых, я хочу получить триумф. За то и другое я готов заплатить любую цену. Обычно я настаиваю на том, чтобы человек служил только мне, но раз ты уже принял какие-то обязательства, полагаю, что я готов купить половину тебя. Половина Цицерона, – добавил он, вежливо кивнув, – стоит больше, чем любой другой человек целиком.

– Лестное предложение, император, – ответил Цицерон, пытаясь не выказывать негодования, вызванного намеком Красса. – Благодарю тебя! Значит, ты считаешь, что моего раба купить нельзя, а меня – можно. Разреши обдумать это.

– О чем тут думать? На выборах консула каждый гражданин имеет два голоса. Отдай один мне, а второй – кому захочешь. Сделай только так, чтобы все твои друзья последовали твоему примеру. Скажи им, что Красс никогда не забывает тех, кто ему помог. И, кстати, тех, кто ему помешал, он тоже не забывает.

– И все же мне нужно подумать, – упрямствовал Цицерон.

По дружелюбному лицу Красса, словно рябь по гладкой воде, пробежала тень.

– А как насчет моего триумфа?

– Лично я полностью уверен в том, что ты заслужил высшие почести. Но, как тебе известно, триумф присуждается полководцу лишь в том случае, если он сумел раздвинуть границы государства. Недостаточно просто вернуть ранее утраченные земли. Принимая решения, сенат всегда рассматривает прошлые случаи. К примеру, когда Фульвий отбил Капую после ее захвата Ганнибалом, он не получил триумфа.

Цицерон объяснял так, будто был искренне огорчен.

– На все это можно закрыть глаза. Если Помпей претендует на консульство, не соответствуя ни одному из условий, почему я не могу получить хотя бы триумф? Я знаю, тебе неизвестно, как трудно начальствовать над войском, более того, – ядовито добавил Красс, – ты вообще не был на военной службе, но ты должен согласиться с тем, что во всем остальном я подхожу. Я убил пять тысяч врагов в сражениях, мне сопутствовали добрые предзнаменования, легионы провозгласили меня императором, я умиротворил много провинций. Если ты используешь свое влияние в сенате в мою пользу, и ты, и другие сенаторы узнаете, что я умею быть очень щедрым.

Последовало долгое молчание. Я не представлял, как Цицерону удастся выкрутиться.

– Вот твой триумф, император, – неожиданно произнес Цицерон, указывая в сторону Аппиевой дороги. – Вот памятник, достойный такого человека, как ты. До тех пор пока у римлян будут языки, чтобы разговаривать, они будут вспоминать Красса, человека, который распял шесть тысяч рабов, расставив кресты на протяжении трехсот пятидесяти миль, через каждые сто семьдесят шагов. Такого не делал ни один из наших прославленных полководцев – ни Сципион Африканский, ни Помпей, ни Лукулл. – Цицерон взмахнул рукой, словно с пренебрежением отодвигал их в сторону. – Ни одному из них это и в голову не пришло бы.

Цицерон откинулся и улыбнулся Крассу. Тот послал ответную улыбку. Время шло. Я сидел затаив дыхание. Это был своеобразный поединок: чья улыбка угаснет первой. Через некоторое время Красс поднялся и протянул руку Цицерону.

– Спасибо, что приехал, мой молодой друг, – сказал он.

Через несколько дней сенат собрался, чтобы определить триумфатора. Большинство сенаторов, включая Цицерона, отклонили притязания Красса на титул. Победитель Спартака удостоился всего лишь оvationis – менее почетной, второстепенной разновидности триумфа. Вместо того чтобы въехать в город на колеснице, запряженной четырьмя конями, он вошел в Рим пешком; вместо положенного триумфатору грома фанфар раздавалось пение флейт; вместо лаврового венка он был увенчан миртовым.

– Если бы он имел хоть какие-нибудь понятия о чести, то отказался бы от всего этого, – заметил Цицерон.

Разгорелся спор о том, какие почести оказать Помпею, и Афраний поступил хитро. Как претор, он взял слово одним из первых и сообщил, что Помпей готов принять от сената любые почести: завтра утром он прибывает с десяти тысячным войском и надеется лично поблагодарить сенаторов.

Десять тысяч воинов? Услышав это, даже аристократы решили не унижать покорителя Испании. Сенаторы единодушно поручили консулам устроить Помпею полноценный триумф.

На следующее утро, одевшись тщательнее обычного, Цицерон стал советоваться с Квинтом и Луцием относительно того, как вести себя на переговорах с Помпеем. Все сошлись на том, что действовать следует напористо и даже самоуверенно. В следующем году Цицерону должно было исполниться тридцать шесть – вполне подходящий возраст, чтобы метить на должность эдила, одного из четырех, которых ежегодно избирали в Риме. У эдила было много возможностей заручиться поддержкой народа и влиятельных людей: он должен был поддерживать общественные здания в надлежащем виде, следить за порядком, устраивать празднества, выдавать разрешения на торговлю. Вот чего попросит Цицерон у Помпея – поддержки на выборах эдила.

– Я уверен, что заслужил это, – сказал Цицерон.

Решение было принято, и мы присоединились к толпе, направлявшейся к Марсову полю, где, по слухам, Помпей собирался выстроить свои легионы. (Между прочим, в те времена лицо, облеченное военным империем, не имело права входить со своим войском в пределы померия – священной городской черты Рима. Если Помпей и Красс хотели и дальше начальствовать над своими легионами, они должны были строить свои козни друг против друга, оставаясь за городскими стенами.) Всем хотелось собственными глазами увидеть великого человека, ведь Римский Александр, как называли Помпея его почитатели, отсутствовал почти семь лет, проводя время в нескончаемых сражениях. Одни хотели узнать, насколько он изменился, другие, как я, вообще ни разу не видели его. Цицерон слышал от Паликана, что Помпей хочет разместить свою штаб-квартиру в Общественном доме, правительственном здании для почетных гостей, расположенном рядом с загонами для голосования<sup>10</sup>. Туда мы и направлялись – Цицерон, Квинт, Луций и я.

Вокруг Общественного дома стояло двойное заграждение из солдат. Пробившись сквозь плотную толпу и добравшись до стены, мы узнали, что внутрь пускают только по приглашениям. Цицерон был глубоко оскорблен тем, что никто из охранников даже не слышал его имени. К счастью, мимо ворот как раз проходил Паликан – он попросил своего зятя Габиния, начальствовавшего над легионом, поручиться за нас. Очутившись внутри, мы с удивлением увидели, что здесь уже собралась чуть ли не половина государственных мужей Рима: они прохаживались в тени колоннад, негромко переговариваясь между собой.

– Ни дать ни взять осы, налетевшие на мед, – заметил Цицерон.

---

<sup>10</sup> При голосовании на Марсовом поле голосующий входил в одно из тридцати пяти (по числу триб) закрытых помещений, которые назывались «загонами» (или «оградами»).

– Помпей Великий прибыл ночью, – сообщил Паликан. – Сейчас он ведет переговоры с консулами.

После этого он пообещал осведомлять нас о происходящем и удалился с чрезвычайно важным видом, отпихнув караульных.

Прошло несколько часов, но от Паликана не было ни слуху ни духу. Мы лишь видели гонцов, вбегавших в дом и выбегавших оттуда, сладострастно обоняли просачивавшиеся наружу запахи еды. Потом консулы ушли, но на смену им прибыли Катул и старый Публий Сервилий Исаврик. Зная, что Цицерон – ярый сторонник Помпея и входит в его ближний круг, сенаторы подходили к моему хозяину, пытались выяснить, что здесь делается.

– Все в свое время, – отвечал им Цицерон, – все в свое время.

Сейчас я понимаю, что у него не было ответа на этот вопрос. Поэтому он попросил принести ему стул, а когда я вернулся, пододвинул стул к колонне, сел на него и закрыл глаза.

В середине дня, проложив себе с помощью солдат путь сквозь толпу зевак, прибыл Гортензий и был незамедлительно принят. Когда вскоре после этого в дом вошли три брата Метелла, стало ясно: Цицерона намеренно унижают.

Цицерон отправил своего двоюродного брата Квинта послушать, что говорят на площади, а сам, поднявшись со стула и беспокойно расхаживая между колоннами, в двадцатый раз потребовал, чтобы я постарался отыскать Паликана, Афрания или Габиния – любого, кто помог бы ему попасть на встречу, проходившую в доме.

Я вертелся в гуще толпы, собравшейся возле входа, поднимаясь на цыпочки, вытягивая шею. Двери открылись, выпуская очередного гонца. Я успел разглядеть людей в белых тогах вокруг тяжелого мраморного стола, заваленного какими-то папирусами. Затем меня отвлек шум, донесшийся с улицы. Толпа загудела, послышались выкрики: «Привет императору!» – а затем ворота открылись, и в них, окруженный телохранителями, торжественно вступил Красс. Сняв шлем с перьями, он передал его одному из своих ликторов, вытер лоб и огляделся. Заметив Цицерона, Красс приветствовал его легким кивком головы и одарил вежливой улыбкой. Должен признаться, это был один из тех редких случаев, когда мой хозяин в буквальном смысле лишился дара речи. Красс запахнул свой красный плащ поистине величественным движением и проследовал внутрь, а Цицерон тяжело опустился на стул.

Я нередко был свидетелем удивительных случаев, когда люди, облеченные властью, с обширными связями, бессильны узнать о том, что творится у них под носом. К примеру, мне часто случалось видеть, как сенатор, обязанный присутствовать в курии, отправляет своих рабов на овощной рынок, чтобы узнать о происходящем в городе и соответствующим образом построить свое выступление. Еще я слышал, что некоторые полководцы, имея многочисленных легатов и гонцов, были вынуждены останавливать проходивших мимо пастухов, чтобы получить известия с поля битвы. В тот день точно в таком же положении оказался Цицерон. Сидя в двадцати шагах от места, где другие делили Рим, словно жареного цыпленка, он был вынужден выслушивать новости о принятых решениях от Квинта. Тот, в свою очередь, узнавал их от магистрата, случайно встреченного на форуме, а магистрат – от сенатского писца.

– Плохо дело, – сказал Цицерон, хотя это было понятно и без слов. – Помпей в шаге от консульства, права трибунов восстановлены, сопротивление знати сломлено. В обмен на это – ты только вслушайся, – в обмен на это Гортензий и Квинт Метелл при поддержке Помпея станут консулами в следующем году, а Луция Метелла сделают наместником Сицилии вместо Верреса. И, наконец, Красс. Красс! Он будет править совместно с Помпеем, как второй консул, и в день, когда они вступят в должность, войско каждого будет распущено. Но я должен быть там! – горячо проговорил Цицерон, с испугом глядя на дом. – Я просто обязан быть там!

– Марк, – заговорил Квинт, положив руку на плечо Цицерона, – все равно ни один из них не стоит тебя.



Цицерон был потрясен творившейся несправедливостью: его враги вознаграждены и возвеличены, а он, так много сделавший для Помпея, остался ни с чем! Сердито стряхнув руку брата со своего плеча, он встал и направился к дверям дома. В эту минуту меч одного из телохранителей Помпея мог положить конец его успехам: находясь в отчаянии, он явно решил силой проложить себе путь во внутренние покои, прорваться к столу переговоров и потребовать своей законной доли. Но было слишком поздно. Облеченные властью мужи, договорившись обо всем, уже выходили наружу. Впереди шли их помощники и телохранители.

Первым появился Красс, следом за ним – Помпей. Его невозможно было не узнать, и не только из-за ореола власти, от которого, казалось, потрескивал самый воздух вокруг него. Все в нем было красноречивым: грубо вытесанное, широкоскулое лицо, излучавшее силу, густая курчавая шевелюра с челкой, широкие плечи, крепкая грудь, торс опытного борца. Увидев Помпея вблизи, я понял, почему в юности он получил за свою жестокость прозвище «Молодой Мясник».

И вот теперь Старая Лысина и Молодой Мясник вышли из дверей Общественного дома, не разговаривая, не глядя друг на друга, и торжественно направились к воротам, которые услужливо распахнулись при их приближении. Следом суетливо заспешили сенаторы, все вокруг пришло в движение. Жаркая и шумная людская волна подхватила нас и потащила прочь от дома. Двадцать тысяч человек, собравшихся в тот день на Марсовом поле, ревели, орали, бушевали и рычали, выражая свою поддержку новоявленным кумирам. Солдаты расчистили узкую улицу и, взявшись за руки, выстроились в две цепи по обе ее стороны, упираясь и скользя подошвами сандалий под напором беснующейся толпы.

Помпей и Красс шествовали рядом, но, поскольку мы находились в хвосте процессии, я не видел их лиц и не мог определить, говорят ли они друг с другом. Оба медленно шли к зданию трибунала. Помпей, в очередной раз встреченный рукоплесканиями, поднялся на его ступени первым, озираясь по сторонам с довольным видом кота, греющегося в теплых лучах солнца. Затем он протянул руку, как бы желая помочь Крассу подняться по ступеням. При виде такого единства между бывшими соперниками толпа издала еще один восторженный вопль, который перешел в настоящий припадок, после того как Помпей и Красс взяли за руки и подняли их над головами.

– Какое омерзительное зрелище! – прокричал Цицерон. Из-за царившего вокруг шума он был вынужден вопить мне в ухо. – Пост консула истребован и получен с помощью меча, и мы с тобой наблюдаем конец республики. Это так, Тирон, запомни мои слова!

Выслушивая эти горькие сетования, я, однако, не мог не думать о том, что, если бы моему хозяину удалось принять участие в разделе власти, он бы назвал это чрезвычайно искусным ходом.

Помпей воздел руку, призывая толпу к молчанию, и, когда воцарилась тишина, заговорил грохочущим голосом опытного полководца:

– Народ Рима! Верховные сенаторы любезно предложили мне триумф, и я с благодарностью принял его. Кроме того, они сообщили, что я могу рассчитывать на консульство, и я с радостью принимаю это предложение. Но есть лишь одно, что радует меня еще больше, – известие о том, что мне предстоит работать рука об руку со старым другом, Марком Лицинием Крассом!

В заключение Помпей пообещал, что на следующий год устроит грандиозный праздник с играми, посвященный Геркулесу и его, Помпея, победам в Испании.

Говорил он красиво, спору нет, но больно уж быстро, забывая останавливаться после каждого предложения. А значит, те, кто слышал Помпея, не успевали запомнить его слова, чтобы потом передать их другим. Думаю, лишь несколько сотен человек разобрали, что он говорил, но безумствовали все. Восторг стал еще неистовее, когда на трибуну взошел Красс.

– Клянусь, – заговорил он так же звучно, – что во время игр в честь Помпея я пожертвую десятую часть своего состояния – всего состояния! – на бесплатную еду для жителей Рима! Для каждого из вас! Целых три месяца, – гремел он, – все вы сможете пить и гулять на улицах Рима! За мой счет! Столы будут расставлены по всем улицам! Это будет праздник, достойный Геркулеса!

Услышав это, толпа пришла в исступление.

– Сволочь! – выругался Цицерон. – Десятая часть его состояния – это взятка в два миллиона! Для него это гроши. Видишь, как он превращает поражение в победу? Уверен, ты не ожидал ничего подобного! – прокричал он Паликану, который пробирался к нам через толпу со стороны трибунала. – Он выставил себя равным Помпею. Ты не должен был ему помогать!

– Пойдем, я провожу тебя к императору, – сказал Паликан. – Он хочет поблагодарить тебя лично.

Я видел, что Цицерон колеблется, но Паликан настойчиво тащил его за рукав, и наконец Цицерон двинулся следом за ним. По всей видимости, он решил, что попытается вытребовать хоть что-нибудь.

– Он собирается произносить речь? – спросил Цицерон, пока мы шли за Паликаном по направлению к трибуналу.

– Он не произносит речей, – бросил тот через плечо. – По крайней мере, до сих пор не произносил.

– Это ошибка. Народ ожидает от него речи.

– Значит, народ будет разочарован.

– Какая жалость! – пробормотал Цицерон, обращаясь ко мне. – Я отдал бы полжизни, чтобы выступить здесь и сейчас! Только подумать: столько избирателей в одном месте!

Но у Помпея не было опыта публичных выступлений, и, кроме того, он привык повелевать людьми, а не лебезить перед ними. Махнув рукой собравшимся, он вошел внутрь, Красс последовал за ним. Рукоплескания постепенно стихли. Люди остались стоять на форуме, не зная, что делать дальше.

– Какая жалость! – повторил Цицерон. – Если бы я мог, то устроил бы им незабываемое представление!

Позади здания трибунала находилось небольшое огороженное пространство, где магистраты после выборов ждали, когда смогут приступить к исполнению своих обязанностей. Именно туда, миновав охрану, провел нас Паликан. Через мгновение-другое появился Помпей. Молодой чернокожий раб протянул ему полотенце, и он вытер пот со лба и шеи. Около дюжины сенаторов выстроились цепочкой, чтобы поприветствовать его, и Паликан заставил Цицерона втиснуться в середину. Сам он отошел назад – туда, где уже стояли Квинт, Луций и я, наблюдая за происходящим.

Помпей шел вдоль строя сенаторов и пожимал каждому из них руку. Позади него двигался Афраний и шептал ему на ухо, кто есть кто.

– Рад встрече, – повторял Помпей. – Рад встрече. Рад встрече.

Когда он подошел ближе, я смог более пристально рассмотреть его. Несомненно, у Помпея был благородный вид, однако на мясистом лице отражалось неприятное тщеславие, а величественная отстраненность еще больше подчеркивала откровенную скуку, которую на него навевали все эти невоенные люди. Вскоре Помпей дошел до Цицерона.

– Это Марк Цицерон, император, – подсказал ему Афраний.

– Рад встрече.

Он уже хотел двинуться дальше, но Афраний взял его за локоть и зашептал:

– Цицерон считается одним из самых выдающихся защитников города и много помог нам в сенате.

– Вот как? Гм, что ж, продолжайте и впредь трудиться так же.

– Непременно, – торопливо заговорил Цицерон, – тем более что я надеюсь в следующем году стать эдилом.

– Эдилом? – Похоже, это заявление позабавило Помпея. – Нет-нет, едва ли. У меня на этот счет другие соображения. Но хороший защитник всегда может понадобиться.

И с этими словами он двинулся дальше.

– Рад встрече. Рад встрече...

Цицерон невидящим взглядом смотрел перед собой и с усилием сглатывал слюну.

## V

В ту ночь – в первый и в последний раз за все годы, которые я прослужил у Цицерона, – он вдребезги напился. Я слышал, как за ужином он поссорился с Теренцией. Это был не обычный обмен колкостями, остроумный и холодный, а настоящая перебранка: крики разносились по всему дому. Теренция упрекала мужа в глупости, вопрошала, как мог он довериться этой шайке, печально известной своей бесчестностью. Ведь они даже не настоящие римляне, а пиценцы!<sup>11</sup>

– Впрочем, что с тебя взять! Ты и сам не настоящий римлянин!

Теренция намекала на то, что Цицерон – выходец из провинции. К сожалению, я не разобрал его ответа, но говорил он тихо и грозно. По-видимому, ответ был уничтожающим: Теренция, нечасто выходившая из равновесия, выскочила из-за стола в слезах и убежала наверх.

Я счел за благо оставить хозяина одного, но часом позже услышал громкий звон и, войдя в триклиний, увидел Цицерона: слегка покачиваясь, он смотрел на осколки разбитой тарелки, туника на груди была залита вином.

– Что-то я не очень хорошо чувствую себя, – проговорил он заплетающимся языком.

Я обнял хозяина за талию, положил его руку на свое плечо и повел по ступеням в спальню. Это оказалось нелегко – Цицерон был намного тяжелее меня. Затем я уложил его в постель и развязал сандалии.

– Развод, – пробормотал он в подушку, – вот выход, Тирон. Развод. И если я покину сенат из-за того, что выйдут деньги, что с того? Никто не будет скучать по мне. Еще один новый человек, у которого ничего не вышло. О, Тирон...

Я подставил ночной горшок, и его вырвало. Затем, обращаясь к собственной блевотине, Цицерон продолжил свой монолог:

– Нам надо уехать в Афины, мой дорогой друг, жить с Аттиком и изучать философию. Здесь мы никому не нужны...

Его речь перешла в невнятное бормотание, я не мог разобрать ни одного слова. Поставив горшок рядом с кроватью, я задул лампу и направился к двери. Не успел я сделать и пяти шагов, как Цицерон захрапел. Признаюсь, в тот вечер я лег спать с тяжелым сердцем.

Однако на следующее утро, в обычный предрассветный час, меня разбудили звуки, доносившиеся сверху. Не отступая от своих привычек, Цицерон делал утренние упражнения, хотя и медленнее, чем обычно. Значит, он спал всего несколько часов. Таким был этот человек. Злоключения становились дровами для костра его честолюбия. Каждый раз, когда он терпел неудачу – и в суде, и после нашего возвращения из Сицилии, и теперь, униженный Помпеем, – огонь в его душе притухал лишь ненадолго, чтобы тут же разгореться с новой силой. Он любил повторять: «Упорство, а не гений возносит человека на вершину. В Риме полным-полно непризнанных гениев, но лишь упорство позволяет двигаться вперед». И теперь, услышав, как он готовится встретить новый день, чтобы продолжить борьбу на форуме, я опять проникся надеждой.

---

<sup>11</sup> *Пицен* – область в Средней Италии на берегу Адриатического моря.

Я оделся. Я зажег лампы. Я велел привратнику открыть входную дверь. Я пересчитал и составил список клиентов, а затем прошел в комнату для занятий и отдал его Цицерону. Ни в тот день, ни впоследствии мы ни разу не упомянули о том, что произошло накануне вечером, и это, я думаю, сблизило нас еще больше.

Цвет его лица был нездоровым, он делал усилия, чтобы сосредоточиться, читая список клиентов, но в остальном выглядел как всегда.

– Опять Стений! – прорычал он, узнав, кто дожидается его в таблинуме<sup>12</sup>. – Неужели боги никогда не пошлют нам прощение!

– Он не один, – предупредил я. – С ним еще два сицилийца.

– Ты хочешь сказать, что он размножается? – Цицерон откашлялся, прочищая горло. – Ладно, примем его первым и избавимся от него раз и навсегда.

Словно в странном сне, который повторяется из ночи в ночь, я снова вел Стения из Ферм на встречу с Цицероном. Он представил своих спутников: Гераклия из Сиракуз и Эпикрата из Бидиса. Оба, уже пожилые, носили, как и Стений, темные траурные одеяния и давно не стригли волос на голове и бороды.

– А теперь послушай меня, Стений, – жестко проговорил Цицерон, пожав руку каждому из этой мрачной троицы. – Пора положить этому конец.

Однако Стений находился в странных, далеких чертогах собственных дум, куда редко проникают посторонние звуки.

– Я безмерно благодарен тебе, сенатор. Теперь, когда мне удалось получить из Сиракуз судебные записи, – он вытащил из своей кожаной сумки свиток и вручил его Цицерону, – ты можешь сам увидеть, что сделало это чудовище. Вот то, что написано до вердикта трибунов. А вот, – он протянул Цицерону второй свиток, – то, что написано после него.

С тяжелым вздохом Цицерон поднес оба папируса к глазам и стал читать.

– Ну и что тут занятного? Это официальная запись твоего судебного разбирательства. Вижу, в ней указано, что ты присутствовал на слушаниях. Но мы-то знаем, что это чушь. А здесь... – Цицерон не договорил и стал вчитываться внимательнее. – Здесь написано, что тебя на суде не было. – Он поднял глаза, и его затуманенный взгляд стал проясняться. – Значит, Веррес подделывает запись собственного суда, а затем подделывает и эту подделку!

– Именно! – вскричал Стений. – Когда он узнал, что ты привел меня к трибунам и, следовательно, всему Риму стало понятно, что я вряд ли мог присутствовать на суде в первый день декабря, ему пришлось уничтожить свидетельство собственной лжи. Но, к счастью, первую запись уже послали мне.

– Ну и ну! – хмыкнул Цицерон, продолжая изучать документы. – Возможно, он встревожился сильнее, чем мы полагали. И еще тут говорится, что в суде у тебя был защитник, некто Гай Клавдий, сын Гая Клавдия из Палатинской трибы. Ты счастливчик – сумел обзавестись собственным защитником из Рима. Кто он такой?

– Управляющий у Верреса.

Цицерон несколько секунд молча смотрел на Стения, а потом спросил:

– Ну что там еще, в этой твоей сумке?

И тут началось. Стений принялся вытаскивать из сумки бесконечные свитки, и вскоре они уже устлали пол комнаты. Здесь были письма, копии судебных записей, пересказы слухов и домыслов – итог кропотливой работы трех отчаявшихся людей на протяжении семи месяцев. Выяснилось, что Эпикрат и Гераклий также были изгнаны Верресом из своих домов, один из которых стоил шестьдесят тысяч, а второй – тридцать. Веррес приказал своим подчиненным выдвинуть против каждого из них лживые обвинения, по которым вынесли несправедливые при-

---

<sup>12</sup> *Таблинум* – помещение, примыкавшее к атриуму и обычно отделявшееся от него ширмой или перегородкой. В таблинуме хранили документы и проводили деловые встречи.

говоры. Того и другого обобрали примерно в то же время, что и Стения. Оба являлись видными гражданами своих общин. Обоим пришлось бежать с острова без гроша в кармане и искать убежища в Риме. Услышав о том, что Стений предстал перед трибунами, они отыскивали его и предложили действовать сообща.

«По отдельности каждый из них был бы слаб, – говорил Цицерон много лет спустя, – но, объединившись, они стали силой. У каждого были связи, и возникла целая сеть, накрывшая весь остров: Фермы – на севере, Бидис – на юге, Сиракузы – на востоке. Все трое – дальновидные и проницательные, хорошо образованные, с большим опытом. Поэтому земляки с готовностью рассказывали им о своих страданиях, делились тем, что никогда не открыли бы заезжему сенатору из Рима».

Рассвело, и я задул лампы. Цицерон продолжал изучать свитки. Он выглядел спокойным, но я ощущал, как в нем нарастает возбуждение. Здесь были данные под присягой показания Диона из Гелесы: Веррес сначала потребовал взятку в десять тысяч сестерциев, чтобы признать его невиновным, а потом отобрал всех его лошадей, ковры, золотую и серебряную посуду. Были письменные свидетельства жрецов, чьи храмы разграбили. Из храма Эскулапа в Агригенте украли бронзовую статую Аполлона, подаренную полтора столетия назад Публием Сципионом, на бедре которой мелкими серебряными буквами было написано имя Мирона. Из святилищ в городах Катина и Энна похитили статуи Цереры. Древний храм Юноны на острове Мелита также подвергся разграблению. Были показания жителей Агирия и Гербиты, которых грозили запереть до смерти, если они откажутся платить отступные подручным Верреса. Была исповедь несчастного Сопатра из Тиндарида, которого ликторы Верреса схватили зимой и, раздев донага, на глазах всех жителей города привязали с разведенными руками и ногами к статуе Меркурия, стоявшей в местном гимнасии. Это прекратилось лишь тогда, когда горожане пообещали отдать изваяние Верресу. Таких историй были десятки.

– Нет, – бормотал Цицерон, читая все это, – Веррес правит не провинцией. Он правит настоящим преступным государством.

С согласия трех сицилийцев я спрятал свитки в окованный железом сундук и запер его на замок.

– Очень важно, друзья мои, – сказал им Цицерон, – чтобы до поры до времени наружу не просочилось ни слова. Продолжайте собирать свидетельства и показания, но делайте это скрытно. Веррес многократно прибегал к устрашению, не брезговал и насилием, и можете быть уверены: чтобы защитить себя, он использует все это снова. Мы должны застать мерзавца врасплох.

– Значит ли это, что ты pomoжешь нам? – дрожащим от волнения голосом осведомился Стений.

Цицерон посмотрел на него, но ничего не ответил.

В тот же день, но несколько позже, вернувшись домой с очередного судебного заседания, сенатор уладил ссору с женой. Он отправил юного Сосифея на цветочный рынок, приказав ему купить роскошный букет, а затем вручил его маленькой Туллии, торжественно велел ей отнести цветы матери и сказать, что это дар от «неотесанного провинциального поклонника». «Запомнила? – переспросил он дочку. – От неотесанного провинциального поклонника!»

Девочка с важным видом скрылась в комнате Теренции. Думаю, прием Цицерона сработал: вечером по настоянию хозяина дома кушетки перенесли на крышу и вся семья ужинала под звездным небом, а в середине стола, на почетном месте, стояла ваза с теми самыми цветами.

Я знаю об этом, поскольку под конец трапезы Цицерон неожиданно послал за мной. Ночь была настолько безветренной, что пламя свечей не колебалось. Со стола доносился сладкий запах цветов, а снизу, из долины – звуки ночного Рима: едва уловимая музыка, обрывки голосов, крики ночного сторожа с Аргилета, далекий лай собак, спущенных с цепи возле Капи-

толийского храма. Луций и Квинт смеялись какой-то шутке Цицерона, и даже Теренция, не удержавшись от смеха, кинула в мужа салфетку и велела ему прекратить это. Помпонии за столом, к счастью, не было: она отправилась в Афины навестить брата.

– А, – проговорил Цицерон, увидев меня, – вот и Тирон, самый одаренный государственный муж из всех нас. Теперь я могу сделать свое заявление. Я посчитал, что Тирон тоже должен услышать его. Итак, слушайте все! Я принял решение избираться в эдилы.

– О, замечательно! – воскликнул Квинт, решив, что это новая шутка Цицерона. Потом он посерьезнел и заявил: – Но это не смешно.

– Будет смешно, если я выиграю.

– Но ты не можешь выиграть. Ты слышал, что сказал Помпей. Он не хочет, чтобы ты участвовал в выборах.

– Не Помпею решать, кому участвовать в них, а кому – нет. Мы свободные граждане и вольны самостоятельно принимать решения. Я решил бороться за должность эдила.

– Но зачем бороться, Марк, если заранее известно, что ты проиграешь? Это бессмысленная отвага, в которую верит только Луций.

– Давайте выпьем за бессмысленную отвагу! – предложил Луций, поднимая кубок.

– Но мы не сможем выиграть, если Помпей и его сторонники будут против нас! – не унимался Квинт. – И зачем бесцельно злить Помпея?

В ответ на это Теренция едко заметила:

– После вчерашнего правильнее было бы спросить: «Зачем бесцельно искать его дружбы?»

– Теренция права, – кивнул Цицерон. – Вчера он преподавал мне хороший урок. Предположим, я буду ждать год или два, ловя каждое слово Помпея и выполняя его поручения в надежде на будущие милости. Мы все видели таких людей в сенате. Они стареют, ожидая, когда будут сдержаны данные им обещания. От них остается одна оболочка, и они сами не замечают, как остаются ни с чем. Я скорее отойду от государственных дел прямо сейчас, чем позволю такому случиться со мной. Если ты хочешь ухватить власть за хвост, это нужно делать в подходящее время. Мой час настал.

– Но как это сделать?

– Выступить обвинителем против Верреса и преследовать его в суде за вымогательство и злоупотребления.

Вот оно! Я с самого утра знал, что это произойдет, и Цицерон тоже, но он не хотел спешить и сообщил о своем решении не сразу. Никогда прежде я не видел его настроенным столь решительно. Он выглядел как человек, который ощущает в себе силы, чтобы вершить историю. Никто не произносил ни слова.

– Что это за вытянутые лица? – с улыбкой осведомился Цицерон. – Ведь я еще не проиграл. И, уверен, не проиграю. Сегодня утром меня посетили сицилийцы, которые собрали убийственные свидетельства относительно злодеяний Верреса. Не так ли, Тирон? Мы поместили их под замок в моей комнате для занятий. И после того как мы выиграем – только подумайте, я в суде, публично, одерживаю верх над Гортенziem! – народ раз и навсегда прекратит нести чушь о «втором из двух лучших защитников в Риме». Если мне удастся осудить такого высокопоставленного человека, я, по существующему обычаю, на следующий день стану претором – и тогда конец прыганью на задней лавке сената в надежде получить слово. Это настолько укрепит мое положение и возвысит меня в глазах римлян, что эдильство будет мне обеспечено. Но главное, это сделаю я сам, Цицерон, не прося о помощи никого, тем более – Помпея Великого.

– Ну а если мы проиграем? – спросил Квинт, к которому только сейчас вернулся дар речи. – Ведь мы же защитники. Мы никогда не на стороне обвинения. Ты же сам говорил: защитник обретает друзей, обвинитель – только врагов. Если ты не сумеешь раздавить Верреса, вполне вероятно, что со временем он станет консулом и не успокоится, пока не раздавит нас.

– Это верно, – согласился Цицерон. – Если хочешь убить опасного зверя, это нужно сделать с первого удара. Но разве ты не понимаешь? Победив Верреса, я получу все: высокое положение, славу, должность, титул, власть, независимость, множество клиентов в Риме и на Сицилии. Отсюда недалеко до того, чтобы стать консулом.

Впервые на моей памяти Цицерон столь откровенно признался в своих непомерных притязаниях и произнес заветное слово: консул. Для любого человека, посвятившего себя государственным делам, это было пределом мечтаний. Год обозначался по именам консулов, которые стояли во всех официальных записях и на всех краеугольных камнях. Консульство, можно сказать, дарило бессмертие. Сколько дней и ночей, с тех времен как он был нескладным юношей, Цицерон грезил этим, холя и лелея свою мечту, как самое драгоценное сокровище? Иногда открывать свои намерения другим раньше времени бывает глупо. Недоверие и насмешки окружающих могут убить надежду в зародыше. Но часто случается наоборот: если рассказать о своей мечте в подходящую минуту, это помогает увериться в ее осуществимости. Так и произошло той ночью. Произнеся слово «консул», Цицерон словно посадил на наших глазах семя, и теперь нам предстояло с восхищением наблюдать, как оно произрастает. В тот миг мы взглянули на блестящую будущность Цицерона его глазами и осознали его правоту: если он победит Верреса, то получит возможность – при удаче – добраться до самого верха.

В течение следующих месяцев нам предстояло сделать много всего, и, как обычно, львиная доля работы досталась мне. Перво-наперво я занялся избирателями. В выборах эдила тогда участвовали все граждане Рима, поделенные на тридцать пять триб. Цицерон принадлежал к Корнелийской, Сервий – к Лимонийской, Помпей – к Кластаминской, Веррес – к Ромилиийской, и так далее. Каждый голосовал на Марсовом поле от имени своей трибы, после чего магистрат сообщал, кому отдала предпочтение та или иная триба. Победителями провозглашались четверо кандидатов, за которых проголосовало наибольшее число триб.

Такой порядок давал Цицерону определенные преимущества. Во-первых, по сравнению с выборами консулов и преторов право голоса имели все граждане, независимо от их благосостояния, а Цицерон мог твердо рассчитывать на поддержку купцов и многочисленной бедноты. Тут аристократам было сложно прижать его. Во-вторых, было значительно проще вербовать сторонников. Каждая триба имела в Риме собственное место для собраний – отдельное здание, достаточно большое, чтобы устраивать многолюдные встречи и пиры.

Я обратился к нашим записям и составил большой список всех, кого защищал и кому помогал Цицерон за последние шесть лет. Затем мы встретились с этими людьми и попросили устроить так, чтобы сенатор непременно выступил на ближайшем собрании трибы. Просто поразительно, скольким людям за шесть лет смог помочь Цицерон, давая советы либо защищая их в суде! Вскоре предвыборное расписание Цицерона заполнилось многочисленными встречами и договоренностями. Его рабочий день стал длиннее обычного. После судебных разбирательств и заседаний сената он спешил домой, чтобы принять ванну, переодеться и тут же отправиться в какое-нибудь другое место, где ему предстояло выступить с очередной зажигательной речью. «Правосудие и преобразования!» – таким был его девиз.

Квинт взял на себя подготовку к выборам, а Луций занялся делом Верреса. Наместник должен был вернуться с Сицилии в конце года. Вступив в пределы Рима, он тут же утрачивал свой империй, а вместе с ним – защиту от судебного преследования. Цицерон был полон решимости нанести удар при первой же возможности и сделать все, чтобы Веррес не смог замести следы или запугать свидетелей. Поэтому, чтобы не вызвать подозрений у наших противников, сицилийцы перестали приходить к нам, а Луций стал кем-то вроде связного между Цицероном и его клиентами с Сицилии, встречаясь с ними в разных укромных местах.

Это позволило мне ближе узнать Луция, и чем чаще я с ним общался, тем больше он мне нравился. Он во многом напоминал Цицерона – умный и занятный, прирожденный философ.

Оба были почти одного возраста, вместе росли в Арпине, учились в римской школе и путешествовали по Востоку. Но была между ними и огромная разница: в отличие от Цицерона, Луций был начисто лишен честолюбия. Он жил один в маленьком домике, забитом книгами, и днями напролет был занят только чтением и размышлениями – самыми опасными для человека занятиями, ведущими, по моему глубокому убеждению, к расстройству пищеварения и меланхолии. Но как ни странно, несмотря на уединенный образ жизни, он вскоре привык ежедневно покидать свой дом. Луций был до того возмущен злодеяниями Верреса, что сильнее самого Цицерона желал посадить на скамью подсудимых.

– Мы сделаем из тебя законника, братец! – восхищенно воскликнул Цицерон, когда Луций раздобыл для него еще одну солидную порцию свидетельств о злодеяниях Верреса.

В конце декабря произошел случай, резко спутавший нити, из которых теперь была соткана жизнь Цицерона. В темный предутренний час я, как обычно, открыл входную дверь, чтобы переписать посетителей, и увидел во главе длинной очереди человека, которого мы не так давно видели в Порциевой базилике. Он тогда витийствовал, выступая в защиту колонны, сооруженной его прапрадедом Марком Порцием Катонем. Катон-младший был один, без сопровождающего раба, и выглядел так, будто всю ночь спал на улице. Я вполне допускаю, что так оно и было, но наверняка сказать не могу, поскольку Катон всегда выглядел растрепанным и был похож то ли на блаженного, то ли на мистика.

Разумеется, Цицерон захотел узнать, что привело столь знатного человека к порогу его дома. Дело в том, что Катон при всем своем сумасбродстве принадлежал к высшему кругу старинной республиканской аристократии, связанной брачными и родственными узами с родами Сервилиев, Лепидов и Эмилиев. Цицерон, польщенный тем, что к нему пожаловал такой высокородный посетитель, лично вышел в таблинум и провел гостя в комнату для занятий. Он давно мечтал залучить в свои сети такого клиента.

Я устроился в уголке, готовый записывать беседу, а молодой Катон, не теряя времени, сразу перешел к делу. Он сообщил, что нуждается в хорошем защитнике и ему понравилось, как Цицерон выступал перед трибунами, – ведь это чудовищно, когда человек вроде Верреса ставит себя выше древних законов. Короче говоря, Катон собирался жениться на своей двоюродной сестре, очаровательной восемнадцатилетней Эмилиии Лепиде, чья короткая жизнь уже была омрачена целой чередой несчастий. Будучи тринадцатилетней, Эмилиия пережила тяжелое оскорбление, ее предательски бросил жених, надменный юный аристократ по имени Сципион Назика. Когда девочке было четырнадцать, умерла ее мать. В пятнадцать она потеряла отца, в шестнадцать – брата и осталась совершенно одна.

– Бедная девочка! – покачал головой Цицерон. – Если она приходится тебе двоюродной сестрой, следовательно, ее отец – консул Эмилий Лепид Ливиан? А он, насколько мне известно, был братом твоей матери, Ливии?

Подобно многим из тех, кто, как считалось, исповедовал крайние взгляды, Цицерон был прекрасно осведомлен о связях между знатными семействами.

– Да, так и есть.

– В таком случае я поздравляю тебя, Катон, с блестящим выбором. В жилах девушки течет кровь трех знатнейших родов, а ее ближайшие родственники умерли. Должно быть, это самая богатая наследница в Риме.

– Верно, – с горечью подтвердил Катон, – и именно в этом загвоздка. Сципион Назика, ее бывший жених, недавно вернулся из Испании, где сражался под началом Помпея – Великого, как его называют. Узнав о том, что Эмилиия сказочно богата, а ее отец и брат ушли из жизни, он объявил, что она принадлежит ему.

– Но это уж решать самой девушке!

– Вот она и решила. Выбрала его.



– Ага, – проговорил Цицерон, откинувшись на спинку кресла и потирая лоб. – В таком случае тебе действительно не позавидуешь. Но если она осиротела в возрасте пятнадцати лет, ей должны были назначить опекуна. Ты можешь встретиться с ним и попросить не давать разрешения на этот брак. Кстати, кто он?

– Я.

– Ты?! Ты – опекун девушки, на которой собираешься жениться?

– Да, поскольку я ее ближайший родственник-мужчина.

Цицерон оперся подбородком о руку и стал изучать взглядом возможного клиента: всклокоченные волосы, грязные босые ноги, туника, которую он не менял уже много недель.

– И чего же ты хочешь от меня?

– Я хочу, чтобы ты подал в суд на Сципиона, а если нужно, то и на Лепиду, и положил бы конец всему этому.

– В каком же качестве на суде будешь выступать ты – отвергнутого ухажера или официального опекуна девушки?

– В качестве того и другого, – передернул плечами Катон.

Цицерон почесал ухо, а затем заговорил, тщательно подбирая слова:

– Мои познания в молодых девушках столь же ограничены, сколь и моя вера в безоговорочное торжество закона. Но даже я, Катон – даже я! – сомневаюсь в том, что лучший способ завоевать сердце девушки – подать на нее в суд.

– Сердце девушки? – переспросил Катон. – При чем тут сердце девушки? Это дело моих убеждений!

«И денег», – мог бы добавить на его месте другой человек. Но у Катона было преимущество, доступное только очень богатым людям, – презрение к деньгам. Он унаследовал большое состояние и раздал его, даже не заметив этого. Нет, Катон и вправду действовал из убеждения – из желания не поступаться своими убеждениями.

– Мы обратимся в суд по имущественным преступлениям, – предложил Цицерон, – и выдвинем обвинение в посягательстве на чужую собственность. Придется доказать, что между тобой и Эмилией Лепидой существовала договоренность и что, нарушив ее, она превратилась в мошенницу и лгунью. Доказать, что Сципион – двуличный тип, плут и хочет прибрать к рукам чужие деньги. Мне придется вызвать обоих на допрос и разорвать в клочья.

– Вот и сделай это, – ответил Катон, чьи глаза заблестели.

– И в итоге мы проиграем, ведь судьи никому не сочувствуют так, как воссоединившимся любовникам и сиротам, а она – и то и другое. Ты же превратишься в посмешище для всего Рима.

– Думаешь, меня волнует, что будут говорить обо мне люди? – насмешливо проговорил Катон.

– Но даже если мы выиграем, только представь, во что это выльется. Ты за волосы потащишь рыдающую и брыкающуюся Лепиду из суда, а затем по городским улицам – в ее новый супружеский дом. Это будет позор года.

– Вот до чего мы докатились! – с горечью воскликнул Катон. – Честный человек должен отступить, чтобы мерзавец восторжествовал? И это римское правосудие? – Он поднялся на ноги. – Мне нужен законник из стали, и если я не найду такого, то, клянусь, сам выступлю обвинителем.

– Сядь, Катон, – мягко сказал Цицерон. Тот даже не пошевелился, и Цицерон повторил: – Сядь, Катон, и я расскажу тебе кое-что о правосудии.

Поколебавшись, Катон опустил на краешек стула, готовясь вскочить при первом же намеке на то, что его убеждения подвергаются унижению.

– Выслушай совет человека, который старше тебя на десять лет. Ты не должен действовать так прямолинейно. Очень часто самые выигрышные и важные дела даже не доходят до

суда. Твое дело, как мне кажется, из их числа. Дай мне время подумать о том, что я мог бы сделать.

– А если у тебя ничего не получится?

– Тогда ты будешь действовать по собственному усмотрению.

После того как юноша ушел, Цицерон сказал мне:

– Этот молодой человек ищет возможности проверить свои убеждения на прочность так же рьяно, как пьяный в кабаке напивается на драку.

Как бы то ни было, Катон разрешил Цицерону вести переговоры со Сципионом от его имени, и мой хозяин радовался как ребенок, получив возможность как следует изучить аристократическое сословие. Ни у кого в Риме не было такой родословной, как у Квинта Цецилия Метелла Пия Корнелия Сципиона Назики.

«Назика» означает «острый нос», и этот парень действительно умел держать нос по ветру, поскольку был не только родным сыном Сципиона, но и приемным сыном Метелла Пия, великого понтифика и главы рода Метеллов. Отец и его приемный сын лишь недавно вернулись из Испании и пребывали в огромном поместье Пия возле Тибура. Они намеревались появиться в городе в двадцать девятый день декабря, сопровождая Помпея на триумфальной церемонии. Цицерон решил встретиться с Назикой на следующий день после этого.

Наконец двадцать девятое декабря настало, и что это был за день! Рим не видывал таких торжеств со времен Суллы. Стоя возле Триумфальных ворот, я наблюдал за происходящим: казалось, что вдоль Священной дороги выстроился весь город.

Первыми через Триумфальную арку с Марсова поля вошли сенаторы, все до единого, включая Цицерона. Во главе их шли консулы и другие магистраты. Затем показались трубачи, бившие в фанфары, а следом за ними – носилки и повозки, на которых лежали захваченные в Испании трофеи: золото и серебро в монетах и слитках, оружие, статуи, картины, вазы, мебель, самоцветы, шпалеры, а еще – деревянные макеты городов, которые покорил и разграбил Помпей. Над каждым из них был плакат с названием города и именами его известных жителей, убитых Помпеем. После этого медленно прошли огромные белые жертвенные быки с позолоченными рогами, украшенные лентами и гирляндами из цветов. Их вели жрецы и юноши. Следом за быками тяжело прошествовали слоны – это животное было символом рода Метеллов. За ними проехали запряженные буйволами повозки с клетками, в которых рычали и бросались на железные прутья дикие звери с гор Испании. Затем настала очередь оружия и знамен разбитых повстанцев, и наконец, закованные в цепи, появились и они сами – поверженные сторонники Сертория и Перперны. Послы, представляющие союзников Рима, пронесли регалии и богатые подношения, а после них через Триумфальную арку прошли двенадцать ликторов императора. Их фасции<sup>13</sup> были увиты лаврами.

И вот под крики толпы под сводами арки появилась бочкообразная, отделанная драгоценными камнями и запряженная четверкой белоснежных коней императорская колесница, в которой стоял сам Помпей. На нем были украшенная цветами туника и тога с золотой вышивкой. В правой руке он держал лавровую ветвь, а в левой – скипетр из слоновой кости с изображением орла. Чело триумфатора покрывал венок из дельфийского лавра, а его мужественное лицо было выкрашено красной краской. В этот день он воистину являлся воплощением Юпитера. Рядом с Помпеем стоял его восьмилетний сын, златовласый Гней, а позади – раб, который через равные промежутки времени шептал ему на ухо: «Помни, ты всего лишь человек!»

Позади колесницы императора на черном боевом коне ехал старый Метелл Пий с повязкой на ноге – память о ране, полученной в битве. Рядом с ним был Сципион, красивый молодой человек двадцати четырех лет. «Неудивительно, что Лепида предпочла его Катону!» – поду-

---

<sup>13</sup> *Фасции* – в Древнем Риме пучки прутьев, перевязанные ремнями, с воткнутыми в них топориками. Атрибут власти царей, затем высших магистратов.

мал я. Следом за этими двумя ехали начальники легионов, включая Авла Габиния, а потом – всадники и конники, доспехи которых матово поблескивали под тусклым декабрьским солнцем. И наконец наступил черед пехоты – легионов Помпея, маршировавших в полном боевом облачении. От поступи тысяч опаленных солнцем ветеранов, казалось, дрожала земля. Они во всю глотку орали: «Io Triumphe!» – возглас, которым приветствуют триумфатора, – распевали гимны богам и малопрстойные песни, в которых грубо высмеивался их главноначальствующий. В такой день все это разрешалось, чтобы умерить гордость триумфатора и не раздражать богов.

Грандиозное шествие продолжалось несколько часов. От Марсова поля процессия прошла через Триумфальную арку, Фламиниев цирк и Большой цирк, вокруг Палатина и по Священной улице – на Капитолий, к храму Юпитера Сильнейшего и Величайшего. Поднявшись по его ступеням, Помпей заколол жертвенных животных. Самых знатных пленников тем временем отвели в Карцер и задушили. Для этого дня нельзя было придумать ничего лучше: закончился военный империй победителя, а вместе с ним – жизни побежденных.

Я слышал рев толпы со стороны храма Юпитера, но не пошел туда и остался у Триумфальных ворот, желая посмотреть, как Красс пожалует за полагающимися ему овациями. Он постарался извлечь из своей части торжества все возможное, величаво шествуя рядом со своим сыном. Но, несмотря на все усилия его доверенных лиц, которые отчаянно пытались подогреть толпу, это было довольно жалкое зрелище по сравнению с пышной процессией Помпея. В душе Красс наверняка негодовал, пробираясь между кучами лошадиного и слоновьего дерьма, которые остались после шествия его коллеги-консула. У него и пленников-то было совсем мало – большую их часть он, поторопившись, неосмотрительно распял на Аппиевой дороге.

На следующий день мы отправились в дом Сципиона. Цицерон велел мне захватить коробку для документов. Это был его излюбленный прием, с помощью которого нередко удавалось запугать противника. Никаких улик, свидетельств и документов против Сципиона у нас не было, поэтому я без разбора накидал в коробку старые, никчемные свитки.

Дом Сципиона находился на Священной дороге, где располагалось также множество лавок. Однако это не были обычные лавки: здесь продавались редчайшие драгоценности, разложенные на прилавках под толстыми решетками. Нашего прихода ожидали – Цицерон загодя отправил Сципиону уведомление, – и слуга незамедлительно провел нас в атриум. Дом называли одним из чудес Рима, и он действительно был им – даже в те времена. Сципион мог проследить своих предков до одиннадцатого колена, причем девять поколений его рода произвели на свет консулов. На стенах рядами висели восковые маски<sup>14</sup> Сципионов, причем некоторым, потемневшим от дыма и сажи, было по несколько сотен лет, и от них исходил слабый, сухой аромат пыли и благовоний – запах самой древности. Впоследствии, когда Пий усыновил Сципиона, в атриуме появилось еще шесть консульских масок.

Цицерон ходил вдоль стен, читая надписи под каждой из них. Самой старой исполнилось триста двадцать пять лет. Естественно, это была маска победителя Ганнибала, Сципиона Африканского, перед которым Цицерон благоговел, поэтому он долго рассматривал ее. То было благородное, чуткое лицо – гладкое, без морщин, какое-то неземное. Маска выглядела образом души, а не существа из плоти и крови.

– И этого человека, конечно же, погубил прапрадед нашего нынешнего клиента, – сказал Цицерон. – В жилах Катона течет не кровь, а упрямство, причем упрямство, растянувшееся на века.

Вернулся слуга, и мы проследовали за ним в таблинум. Молодой Сципион возлежал на ложе в окружении десятков ценнейших предметов: статуй, бюстов, свернутых ковров и других вещей. Помещение напоминало погребальную камеру восточного монарха. Когда вошел

<sup>14</sup> Имеются в виду восковые маски умерших предков, выставленные в древнеримском жилище.

Цицерон, он не потрудился встать, одним этим нанеся оскорбление сенатору, и даже не предложил гостю сесть. Тягучим голосом, не меняя позы, юный Сципион осведомился о цели его посещения.

Цицерон не замедлил удовлетворить его любопытство, вежливо, но твердо сообщив, что дело Катона кажется ему беспронизышным, ведь тот не только обручен с юной дамой, но и является ее опекуном. Он указал на коробку для свитков, которую я, словно мальчик на побегушках, держал перед собой, и стал перечислять похожие случаи из прошлого. В заключение он сказал, что Катон намерен вынести это дело на рассмотрение суда по имущественным преступлениям, а заодно потребовать, чтобы юной даме запретили поддерживать любые отношения с лицами, имеющими хоть какое-то отношение ко всему этому. По словам Цицерона, Сципион мог избежать всенародного позора, только отказавшись от своих притязаний на девуцу.

– Он, видно, тронутый? – апатично спросил Сципион и откинулся на своем ложе, заложив руки под голову и улыбаясь расписному потолку.

– Это твой единственный ответ?

– Нет, – ответил Сципион. – Вот мой единственный ответ. Лепида!

Из-за переносной ширмы появилась застенчивая девушка – видимо, она была там все это время, – легко прошла через комнату, остановилась у ложа Сципиона и взяла его за руку.

– Это моя жена. Мы поженились вчера вечером. Ты видишь здесь свадебные подарки от наших друзей. Помпей Великий пришел на нашу свадьбу после жертвоприношений и стал свидетелем.

– Даже если бы свидетелем на вашей свадьбе был сам Юпитер, – едко возразил Цицерон, – это не сделало бы церемонию законной. – Плечи его слегка опустились, и стало ясно, что боевой дух покидает его. Как говорят законники, богатство – это девять десятых успеха в любом судебном деле. У Сципиона было не только богатство, но и, по-видимому, горячая поддержка со стороны молодой супруги. – Что ж, – проговорил Цицерон, рассматривая свадебные подарки, – в таком случае позвольте мне поздравить вас обоих. Если не от имени моего клиента, то хотя бы от своего. Постараюсь тоже сделать вам подарок – убедить Катона примириться с действительностью.

– Это стало бы самым дорогим подарком из всех, которые я когда-либо получал, – ответил Сципион.

– Мой двоюродный брат, в сущности, очень добрый человек, – сказала Лепида. – Передайте ему от меня самые лучшие пожелания. Я уверена, что однажды мы с ним помиримся.

– Непременно, – пообещал Цицерон с вежливым поклоном, повернулся и уже собрался было уходить, как вдруг резко остановился, словно наткнувшись на невидимую преграду. – Дивная вещь! – воскликнул он. – Настоящее чудо!

Взгляд его был устремлен на бронзовую статую обнаженного Аполлона размером примерно в половину человеческого роста. Греческий бог играл на лире, воплощая в себе утонченность и красоту. Казалось, он только что танцевал и вдруг застыл, не успев закончить какое-то изящное движение. Создатель статуи работал с изумительной, поистине ювелирной точностью; можно было рассмотреть каждый волосок на его голове. На бедре маленькими серебряными буквами было выложено имя ваятеля: Мирон.

– Ах это? – безразличным тоном откликнулся Сципион. – Эта статуя была подарена какому-то храму одним из моих прославленных предков, Сципионом Африканским. А что, она тебе известна?

– Если я не ошибаюсь, это статуя из храма Эскулапа в Агригенте.

– Точно, теперь я вспомнил, – подтвердил Сципион. – Это в Сицилии. Веррес отобрал ее у жрецов и подарил мне вчера вечером.

Так Цицерон узнал о том, что Веррес вернулся в Рим и уже раскидывает по городу свои щупальца, подкупая всех подряд.

– Тварь! – сжимая и разжимая кулаки, восклицал Цицерон, когда мы вышли на улицу. – Тварь! Тварь! Тварь!

У него были все основания беспокоиться. Если Веррес подарил юному Сципиону статую работы Мирона, можно было только догадываться, какие взятки он всучил Гортензию, братьям Метеллам и другим своим влиятельным союзникам в сенате. А ведь как раз им предстояло заседать в суде, если бы суд вообще состоялся.

Вторым ударом для Цицерона стало известие о том, что помимо Верреса и виднейших представителей знати на свадьбе Сципиона присутствовал сам Помпей. Он всегда был тесно связан с Сицилией. Еще будучи молодым полководцем, он наводил на острове порядок и даже провел одну ночь в доме Стения. Не то чтобы Цицерон надеялся на поддержку императора – нет, он уже получил наглядный урок, – но он рассчитывал на его благожелательное невмешательство. Теперь же вырисовывалась пугающая картина: если Цицерон не оставит своего намерения привлечь Верреса к суду, он столкнется с сопротивлением почти всех влиятельных сообществ Рима.

Однако у нас не было времени взвешивать все это. Катон настаивал на том, чтобы Цицерон немедленно сообщил ему об итогах переговоров. Он ожидал нас в доме своей двоюродной сестры Сервилиии, который стоял там же, на Священной дороге, недалеко от жилища Сципиона.

Когда мы вошли, навстречу нам из атриума выбежали три девочки, самой старшей из которых было не больше пяти лет, а следом за ними вышла их мать. Полагаю, в тот день Цицерон впервые встретился с Сервилией, которой впоследствии предстояло стать самой влиятельной из римских матрон. Пятью годами старше Катона, почти тридцатилетняя, она была весьма привлекательной, хотя и не красавицей. От первого мужа, Марка Брута, она родила сына еще в пятнадцатилетнем возрасте, а от второго, слабого и ничтожного Юния Силана, произвела на свет этих трех девочек, одну за другой.

Цицерон приветствовал их, ничем не выдав своих тяжелых забот, и под пристальным взглядом матери заговорил с девочками как с равными. Сервилиия требовала от дочерей встречать каждого гостя, чтобы с юных лет перенимать привычки взрослых и учиться у них. Она возлагала на них большие надежды и хотела, чтобы девочки росли умными и раскрепощенными.

Вскоре появилась нянька и увела малышей, а Сервилиия пригласила нас в таблинум. Там мы нашли Катона в обществе Антипатра Тирского, известного стойка, который чуть ли не постоянно находился при нем. При известии о замужестве Лепиды Катон повел себя именно так, как мы ожидали: принялся метаться и изрыгать проклятия. Я вспомнил еще одно едкое замечание Цицерона: Катон – образцовый стойк, пока все в порядке.

– Угомонись, Катон, – попыталась вразумить брата Сервилиия, переждав первую волну брани. – Здесь все кончено, надо смириться. Ты не любил ее, ты вообще не знаешь, что такое любовь. Ее деньги тебе не нужны – у тебя хватает своих. Она просто чувствительная дурочка. Ты найдешь себе сотню таких.

– Она просила передать тебе наилучшие пожелания, – проговорил Цицерон, вызвав новый поток ругани.

– Я этого так не оставлю! – вопил Катон.

– Еще как оставишь! – отрезала Сервилиия и повернулась к Антипатру, который явно перетрусил. – Объясни ему, философ. Мой брат считает, что великие убеждения, которых он придерживается, измыслены его разумом. На самом же деле это не более чем движения чувств, порожденных разглагольствованиями лжефилософов. – Затем она вновь обратилась к Цицерону: – Видите ли, сенатор, если бы он знал, как обходиться с женщинами, то понял бы, как глупо выглядит. Но ты ведь еще не возлежал ни с одной, не так ли, Катон?

Цицерон выглядел смущенным. Благопристойные всадники обычно не обсуждали то, что связано с плотскими отношениями, и они не привыкли к развязности аристократов.

– Я считаю, что это ослабляет мужскую сущность и мыслительные способности, – надувшись, пробормотал Катон, чем вызвал у сестры взрыв неудержимого хохота. Лицо Катона покраснело еще сильнее, чем у Помпея в день триумфа. Он выскочил из комнаты, таща за собой стойку.

– Приношу извинения, – сказала Сервилия, поворачиваясь к Цицерону. – Иногда мне начинает казаться, что он – умственно отсталый. Зато если он что-нибудь решил, то будет стоять на своем. Согласитесь, это достойно уважения. Он высоко оценил вашу речь о Верресе, произнесенную перед трибунами. По его мнению, вы можете быть очень опасным человеком. Нам нужно будет встретиться снова. – На прощание Сервилия протянула Цицерону руку, которую тот взял и, на мой взгляд, не выпускал дольше, чем того требовали приличия. – Вы примете совет от женщины?

– От вас? – спросил Цицерон, отпуская ее руку. – С радостью.

– Мой брат Ципион – родной брат – помолвлен с дочерью Гортензия. По его словам, Гортензий на днях говорил о вас. Он думает, что вы намерены выдвинуть обвинения против Верреса, и знает, как сорвать ваши замыслы. Больше мне ничего не известно.

– А если предположить, что это правда и я действительно вынашиваю такие замыслы, – с улыбкой спросил Цицерон, – что вы посоветуете?

– Очень просто, – более чем серьезно ответила Сервилия. – Откажитесь от них.

## VI

После посещения Сципиона и разговора с Сервилией Цицерон не опустил руки: он понял, что нужно действовать быстрее. В первый день января 684 года с основания Рима Помпей и Красс вступили в должности консулов. Я проводил Цицерона на Капитолий, где проходила церемония. Сам я, вместе с остальными зрителями, стоял в дальней части портика. Перестройка храма Юпитера, проводимая под надзором Катуты, уже близилась к завершению. В свете холодного январского солнца тускло отсвечивали новые мраморные колонны, привезенные с горы Олимп, и кровля, покрытая позолоченными медными листами. Как водится, на жертвенных кострах жгли шафран. Желтые языки и треск пламени, в котором горела благовонная трава, ее запах, благословенная прозрачность зимнего воздуха, золотые алтари, белые, с пурпурной полосой, тоги сенаторов – все это произвело на меня незабываемое впечатление. Там был и Веррес, хотя я не разглядел его в толпе. Позже Цицерон сказал, что негодяй стоял рядом с Гортензием: оба поглядывали на него и над чем-то смеялись.

После этого мы несколько дней не могли ничего предпринять. Сенаторы выслушали неуклюжую речь Помпея, нога которого никогда прежде не переступала порог курии. Рассказывают, что он выглядел довольно нелепо, поскольку, не зная правил, постоянно сверялся со шпаргалкой, написанной для него знаменитым ученым Варроном, который служил под его началом в Испании.

Первым, как водится, слово получил Катут, и его речь сразу же стали называть исторической. Хитрый лис признал что, хотя лично он – против, следует возвернуть власть трибунам, и если аристократами недовольны, в этом виноваты они сами. «Видел бы ты, как вытянулись рожи Гортензия и Верреса при этих словах!» – рассказывал мне впоследствии Цицерон.

Затем, по древнему обычаю, новоиспеченные консулы поднялись на Альбанскую гору, чтобы председательствовать на латинском празднестве, которое продолжалось четыре дня. Еще два дня шли разные обряды, и суды были закрыты. Лишь через две недели Цицерон сумел наконец предпринять атаку на противника.

В то утро, когда Цицерон собирался принародно сделать свое главное заявление, три сицилийца – Стений, Гераклий и Эпикрат – впервые за последние полгода пришли в наш дом открыто. Все трое, а также Квинт и Луций, стали вместе с Цицероном спускаться по склону холма, направляясь к форуму. В свите Цицерона были и представители триб, в основном Корнельской и Эсквилинской, которые оказывали ему особенно горячую поддержку. Многие зеваки окликали Цицерона, когда мы проходили мимо, спрашивая, куда он идет с тремя друзьями странного вида, и Цицерон весело предлагал им отправиться с нами и выяснить все это самим, обещая, что они не пожалеют. Мой хозяин всегда любил большие скопления народа и на сей раз сделал все, чтобы прийти в сопровождении целой толпы.

В те дни суд по имущественным преступлениям располагался перед храмом Кастора и Поллукса, на стороне форума, противоположной той, где стояло здание сената. Его новым претором был Ацилий Глабрион, о котором знали только то, что, как ни странно, он был чрезвычайно близок к Помпею. Я неспроста говорю «как ни странно». Еще в молодости он по настоянию Суллы развелся с женой, хотя та была на сносях, и дал согласие на ее брак с Помпеем. Вскоре несчастная Эмилия, уже перебравшись к Помпею, подарила жизнь мальчику, но сама умерла при родах. После этого Помпей вернул малыша его родному отцу. Сейчас сыну Глабриона было двенадцать, он стал главной отрадой в жизни отца. Этот странный случай, к удивлению многих, сделал двух мужчин не врагами, а друзьями. Цицерон долго размышлял, пойдет ли это обстоятельство на пользу нашему делу, но так ничего и не решил.

Курульное кресло Глабриона уже ожидало его – знак того, что суд готов приступить к работе. День выдался очень холодным: я хорошо помню, что на руках Глабриона были рукавицы, а возле него стояла жаровня с пылающими угольями. Он сидел на деревянном возвышении – трибунале, установленном перед храмом, примерно на середине широкой лестницы. Вокруг располагались скамьи для судей, обвинителей, защитников, заступников и обвиняемого. Ликторы Глабриона с фасциями на плече переминались с ноги на ногу позади претора, пытаясь согреться. Это было очень людное место, – помимо суда, храм приютил также пробирную палату, где торговцы проверяли точность своих весов и гирь.

Глабрион удивился при виде Цицерона, окруженного толпой. Многие прохожие также останавливались и присоединялись к этому сборищу, желая выяснить, что будет дальше. Претор махнул ликторам, веля пропустить сенатора к возвышению, на котором располагался суд. Открыв коробку с документами и протянув своему хозяину *postulatio*, как называлась тогда подаваемая в суд жалоба, я увидел в его глазах тревогу, смешанную с облегчением оттого, что долгому ожиданию подошел конец. Цицерон поднялся по ступеням и обратился к собравшимся.

– Граждане! – заговорил он. – Сегодня я пришел сюда, чтобы послужить римскому народу! Я хочу заявить, что намерен искать должности римского эдила. Принять это решение меня побудило не стремление к личной славе, а правила нашей республики, которые требуют от честных людей вставать на защиту справедливости. Вы все знаете меня. Вам известны мои убеждения. Вы знаете, что я долгое время присматривался кое к кому из аристократов, заседающих в сенате. – (По толпе пробежал одобрителный гул.) – Именно поэтому я подаю в суд жалобу – *postulatio*, как называем ее мы, законники. Я намерен привлечь к суду Гая Верреса за злодеяния и злоупотребления, совершенные им в то время, когда он выполнял обязанности наместника в Сицилии. – Цицерон помахал папирусом над головой, чем заслужил одобрителные выкрики. – Если этого человека признают виновным, он возвращает украденное, утрачивает все гражданские права и оказывается перед выбором между смертью и изгнанием. Я знаю, что он будет сражаться. Я знаю, что схватка будет долгой и тяжелой и что, вступая в нее, я рискую всем – должностью, которую рассчитываю занять, надеждами на будущее, добрым именем, которое приобрел еще в молодости и охранял как зеницу ока. Но я готов пойти на это, поскольку уверен, что правое дело должно восторжествовать.

Закончив говорить, Цицерон развернулся, поднялся еще на несколько ступеней, отделявших его от ошеломленного Глабриона, и вручил претору жалобу. Тот пробежал бумагу глазами, передал ее одному из своих письмоводителей. Затем он пожал Цицерону руку, и на этом все закончилось. Толпа начала расходиться, и нам оставалось лишь вернуться домой.

Если Цицерон думал, что его речь произведет ошеломляющее впечатление, то он просчитался. В то время в Риме ежегодно избиралось около пяти десятков магистратов, и все время кто-нибудь публично объявлял о своем намерении занять ту или иную должность. Сообщение Цицерона почти никого не впечатлило. Что касается его жалобы, то прошел почти год с того дня, когда, выступая в сенате, он впервые обрушился на Верреса, а у народа, как часто говорил сам Цицерон, короткая память, и все уже успели позабыть о мерзавце, правившем Сицилией. По дороге домой я видел, что Цицерон испытывает сильнейшее разочарование, и даже Луций, всегда умевший развеселить моего хозяина, в тот день не смог развеять его мрачное настроение.

Когда мы пришли домой, Квинт и Луций попытались отвлечь его от тяжелых мыслей, со смехом рассказывая, как поведут себя Веррес и Гортензий, узнав об обвинениях Цицерона. Вот с форума, запыхавшись, возвращается раб и сообщает хозяину о случившемся. Веррес становится бледным как полотно, и они срочно собираются на совещание. Однако Цицерон не принимал участия в разговоре, оставаясь мрачным и задумчивым. Видимо, он размышлял о совете Сервилии и вспоминал, как пересмеивались, глядя на него, Гортензий и Веррес в день вступления в должность.

– Они знали о том, что готовится, – мрачно обронил он, – и у них есть какой-то замысел. Вот только какой? В чем дело? Может, они полагают, что имеющиеся у нас улики недостаточно сильны? Или Глабрион уже за них? Что у них на уме?

Ответом на все эти вопросы стало предписание суда, доставленного Цицерону наутро одним из ликторов Глабриона. Цицерон сломал печать, развернул свиток и, пробежав его глазами, тихо ахнул.

– Что там? – полюбопытствовал Луций.

– В суд поступила вторая жалоба на Верреса.

– Это невозможно! – воскликнул Квинт. – Кому еще такое придет в голову?

– Сенатору, – ответил Цицерон, вчитываясь в текст. – Цецилию Нигеру.

– Я знаю его, – проговорил Стений. – Он был квестором Верреса за год до того, как мне пришлось бежать с острова. Поговаривали, что они с наместником не поделили деньги.

– Гортензий сообщил суду, что Веррес не возражает против иска со стороны Цецилия, ибо тот требует «справедливого возмещения убытков», в то время как я стремлюсь к «славе дурного рода».

Мы уныло переглянулись. Похоже, месяцы кропотливой работы пошли насмарку.

– Умно, – с мрачным выражением проговорил Цицерон. – Наверняка это придумал Гортензий. Хитрец! Думаю, он постарается развалить дело, чтобы оно не дошло до суда. Я и предположить не мог, что он попытается ответить на одно обвинение другим.

– Но это невозможно! – взорвался Квинт. – Римское правосудие – самое честное в мире!

– Мой дорогой Квинт, – заговорил Цицерон с таким убийственным сарказмом, что я невольно моргнул, – где ты наслушался подобных глупостей? Неужели ты думаешь, что Гортензий сумел бы стать первым римским защитником, если бы в последние двадцать лет был честен? Взгляни на эту повестку. Меня вызывают завтра утром в суд, где мне придется убедительно объяснить, почему обвинения против Верреса должен выдвигать именно я, а не Цецилий. Я буду доказывать Глабриону и другим членам суда законность и обоснованность своего иска. А в суде, напомню, заседают тридцать два сенатора, многие из которых – уж будь уверен! – совсем недавно получили от Верреса ценные подарки из бронзы или мрамора.



– Но ведь жертвы – мы, сицилийцы! – возмутился Стений. – Значит, нам и решать, кого выбрать защитником!

– Совсем не обязательно. Обвинителя назначает суд. Ваше мнение ценно для него, но не является решающим.

– Значит, мы проиграли? – с отчаянием в голосе спросил Квинт.

– Нет, мы еще не проиграли, – твердо ответил Цицерон, и я увидел в его взгляде прежнюю решимость: ничто так не поднимало в нем боевой дух так, как мысль о том, что он может проиграть Гортензию. – И даже если нам суждено проиграть, мы не сдадимся без боя. Я сейчас же начну готовить речь, а ты, Квинт, собирай народ, побольше народа. Посети всех, кому мы хотя бы однажды помогли. Повторяй, что римское правосудие – самое честное в мире. Может, кто-нибудь в это поверит, и ты убедишь пару сенаторов сопровождать меня завтра на форум. Когда я завтра выступлю в суде, у Глабриона должно возникнуть ощущение, что на него смотрит весь Рим.

Никто не вправе заявить, что сведущ в государственных делах, если не работал целую ночь над речью, с которой должен выступать на следующий день. Весь мир уже спит, а оратор меряет шагами освещенную единственной лампой комнату, придумывает и тут же – один за другим – отбрасывает доводы. На полу валяются папирусы с черновиками вступления, основной части и заключения. Наконец измученный ум отказывается работать, голова превращается в жестяное ведро, наполненное бессвязными нелепицами. Обычно это случается через час или два после полуночи, и тогда хочется лишь одного: плюнуть на все, задуть лампу, забраться под одеяло и не выходить из дома. Немного позже при мысли об унижении, которым чревато подобное малодушие, мозг вновь принимается за работу, разрозненные части чудесным образом соединяются друг с другом, и речь готова. Второразрядный оратор сразу же ложится спать, Цицерон бодрствует и заучивает речь наизусть.

Подкрепившись фруктами, сыром и толикой разбавленного вина, Цицерон отпустил меня, но сам – я уверен – не прилег ни на минуту. На рассвете он ополоснулся ледяной водой, чтобы привести себя в чувство, и оделся с большим тщанием. Когда за несколько минут до выхода из дома я поднялся к нему, он напомнил мне атлета, который перед поединком за главную награду разминается, поводя плечами и перекатываясь с пяток на носки.

Квинт выполнил поручение Цицерона на славу, и, когда мы вышли, нас приветствовала шумная, заполнившая всю улицу толпа людей, пришедших поддержать его. Помимо рядовых римлян, пришли даже три или четыре сенатора, имевшие на Сицилии свои интересы. Помнится, среди них были неразговорчивый Гней Марцеллин, добродетельный Кальпурний Пизон Фруги, который был претором в тот же год, что и Веррес, и считал его презренным негодяем, а также по крайней мере один из представителей рода Марцеллов, исконных патронов острова.

Цицерон помахал собравшимся с порога, поднял на руки Туллию, запечатлел на ее щеке звучный поцелуй, показал девочку своим приверженцам и отдал ее матери. Что касается жены, то он предпочитал не выказывать свои чувства к ней на людях. Затем Квинт, Луций и я проложили для него проход, и он торжественно отправился в путь, окруженный десятками людей.

Я хотел пожелать ему удачи, но Цицерон, как всегда случалось перед важной речью, был недоступен. Он смотрел на людей и не видел их. Он был сосредоточен на предстоящем выступлении и весь ушел в свои переживания, примеривая на себя роль одинокого борца за справедливость, готового встать на борьбу с беззаконием и мздоимством с помощью своего единственного оружия – слова.

Шествие получилось пышным, толпа неудержимо разрасталась, и, когда мы подошли к храму Кастора и Поллукса, «свита» Цицерона уже составляла две, а то и три сотни человек. Глабрион уже восседал на своем месте, между огромными колоннами храма, там же были и другие члены суда, среди которых я зловеще маячил сам Катул. Гортензий, сидя на скамье

для почетных гостей, с беспечным видом разглядывал свои идеально ухоженные ногти и был безмятежен, как летнее утро. Рядом с ним, чувствуя себя так же непринужденно, расположился мужчина сорока с небольшим лет, с рыжими щетинистыми волосами и веснушчатым лицом. Гай Веррес. Я с любопытством рассматривал чудовище, занимавшее наши мысли в течение столь долгого времени. Он выглядел совершенно обычным человеком и напоминал скорее лиса, нежели борова.

Для двух обвинителей-соперников были приготовлены стулья, и Цецилий уже сидел на одном из них. Когда подошел Цицерон, он опустил голову и стал беспокойно рыться в записях, лежавших у него на коленях. Суд призвал присутствующих к молчанию, и Глабрион объявил, что, поскольку Цицерон первым подал жалобу, выступать он тоже будет первым. Для нас это было невыгодно, но возражать не приходилось. Равнодушно пожав плечами, Цицерон встал, дождался, пока не настанет полная тишина, и заговорил – медленно, как всегда.

Люди, сказал он, вероятно, будут удивлены, увидев его в столь непривычной роли: он еще никогда не выступал как обвинитель. Ему и самому претит это занятие, и в частных беседах он советовал сицилийцам передать дело Цецилию. (Услышав это, я едва не поперхнулся.) Но если говорить откровенно, продолжал Цицерон, он взялся за это не только из-за сицилийцев.

– То, что я делаю, я делаю лишь во имя блага своей страны.

Затем он неспешно подошел к тому месту, где сидел Веррес, и, торжественно подняв руку, указал на него:

– Вот сидит чудовище в человеческом обличье, воплощение жадности, бесстыдства и злобы. Если я привлеку его к суду, кто обвинит меня? Скажите мне, во имя всего святого, могу ли я оказать своей стране лучшую услугу?

Веррес не только не испугался, а, наоборот, поглядел на Цицерона, вызывающе ухмыльнулся и покачал головой. Цицерон осуждающе смотрел на него в течение нескольких секунд, а затем повернулся лицом к суду:

– Я обвиняю Гая Верреса в том, что за три года он опустошил провинцию Сицилия: обворовал дома ее жителей, разграбил ее храмы. Если бы Сицилия могла говорить единым голосом, она сказала бы: «Ты, Гай Веррес, украл все золото, серебро, все прекрасные творения, которые находились в моих городах, домах и храмах, и поэтому я предъявляю тебе иск на миллион сестерциев!» Вот какие слова произнесла бы Сицилия. Но она не умеет говорить и выбрала меня, чтобы я отстоял справедливость от ее имени. Как дерзко ты поступил, – он наконец повернулся к Цецилию, – решив, будто можешь взять это дело, хотя они, – Цицерон широким жестом указал на трех сицилийцев, – ясно дали понять, что хотят видеть обвинителем именно меня!

Цицерон подошел к Цецилию, встал позади него и издал вздох, исполненный глубокой печали.

– Я обращаюсь к тебе по-дружески. – Он похлопал Цецилия по плечу, отчего тот дернулся и обернулся, чтобы видеть своего противника. Вышло так неуклюже, что из толпы зрителей послышался громкий смех. – Я искренне советую тебе прислушаться к самому себе. Соberись. Задумайся о том, кто ты такой и на что ты способен. Этот суд обещает стать очень суровым и болезненным испытанием. Готов ли ты пройти его? Достанет ли тебе ума и сил, чтобы вынести это бремя? Даже если бы ты был одарен от рождения и получил достойное образование, мог бы ты надеяться на то, что выдержишь такое нечеловеческое напряжение? Мы выясним это нынче утром. Если ты сможешь дать ответ на эти мои слова, если ты отыщешь хотя бы одно выражение, которого нет в сборнике отрывков из чужих речей, полученном тобой от школьного учителя, ты можешь надеяться на успех.

Цицерон вышел на середину и теперь обращался не только к судьям, но и ко всем собравшимся на форуме:

– Вы имеете право спросить меня: «А сам-то ты обладаешь качествами, которые только что перечислил?» – и будете правы. Чтобы приобрести их, я трудился не покладая рук с самого детства. Каждый знает, что вся моя жизнь связана с форумом и здешними судами, что почти никто в моем возрасте, а может и никто, не участвовал в стольких судах, что, когда я не защищал своих друзей, я приобретал знания, совершенствуясь в своем ремесле. Но даже я в ожидании дня, когда обвиняемый предстанет перед судом и мне предстоит произнести речь, испытываю не просто волнение, а трепет, который охватывает меня с головы до пят. Ты, Цецилий, не испытываешь подобного страха и волнения. Ты полагаешь, что стоит зазубрить пару избитых выражений вроде: «Молю всемогущих и всемилостивейших богов...» или «Прошу вас, многоуважаемые судьи, если вы сочтете это возможным...», и успех обеспечен.

Помолчав, Цицерон продолжил:

– Цецилий, ты – ничто, и тебе не на что рассчитывать! Гортензий уничтожит тебя! Но он, при всем своем уме, бессилен против меня. Ему никогда не удастся сбить меня с толку, запутать и ослабить мои позиции, на какие бы уловки он ни пустился.

Цицерон посмотрел на Гортензия и отвесил ему шутовской поклон. Тот встал и ответил таким же поклоном. Снова послышался смех.

– Мне хорошо известны все ухищрения и ораторские приемы этого досточтимого мужа, – продолжал Цицерон. – При всей его изворотливости, когда он вступит в поединок со мной, суд превратится в проверку его способностей. И я хочу заранее предупредить его: если вы решите передать это дело мне, ему придется пересмотреть все свои взгляды на защиту. Если обвинителем выберут меня, он не сможет думать, что суд можно подкупить без вреда для множества людей.

При упоминании о подкупе толпа тревожно загудела, а Гортензий вскочил со своего места. Цицерон махнул на него рукой, веля сесть, и продолжал говорить. Его обвинения обрушивались на головы противников, подобно ударам кузнечного молота. Не стану приводить здесь его речь, которая длилась около часа: каждый, кто любопытствует, сможет прочесть ее в моей записи.

Цицерон обрушился на Верреса, обвиняя его в мздоимстве и подкупе, на Цецилия – за его прежние связи с Верресом, на Гортензия, который трусливо предпочитает иметь дело со слабым соперником. Закончил он обращением к сенаторам, подойдя к ним и заглянув каждому в глаза:

– Друзья мои, вам решать, кто из нас заслуживает большего доверия, обладает большим трудолюбием, здравым умом и силой воли, чтобы вынести это поистине примечательное дело на рассмотрение достойнейших судей. Если вы отдадите предпочтение Квинту Цецилию, это не заставит меня думать, что я уступил более достойному противнику. Зато Рим может решить, что вас лично и остальных сенаторов не устроил честный, строгий и деятельный обвинитель, то есть я. – Цицерон помолчал и перевел взгляд на Катула, который не мигая смотрел на него. – Этого не должно произойти.

Раздались громкие аплодисменты. Настала очередь Цецилия.

То был человек низкого происхождения, даже более низкого, чем Цицерон, но вовсе не бесталанный. У многих могло создаться впечатление, что он имеет больше прав стать обвинителем в этом деле – особенно после того, как он поведал, что является сыном сицилийского вольноотпущенника, родился на этом острове и любит его больше жизни. Однако он принялся сыпать цифрами, рассказывая об упадке земледелия и о введенном Верресом способе составления денежной отчетности. Речь его была не пылкой, как у Цицерона, а брюзгливой. Хуже того, Цецилий зачитывал ее скучным голосом, и когда примерно через час он дошел до заключительной части, Цицерон склонил голову на плечо и притворился спящим. Цецилий в этот миг смотрел на судей, не видел, что происходит позади него, и не понял, над чем так громко

потешается толпа. Это основательно сбило его с толку. Запинаясь, он кое-как дочитал речь до конца и сел на свое место, красный от стыда и злости.

Согласно всем канонам риторики, Цицерон одержал блистательную победу, но, когда сенаторам раздали таблички для голосования и судейский чиновник встал, держа в руках урну, в которую их следовало опускать, Цицерон, как он позже рассказывал мне, решил, что проиграл. Из тридцати двух сенаторов по крайней мере двенадцать были непримиримыми врагами Цицерона, и лишь с полдюжины поддерживали его. Решение, как обычно, зависело от колеблющихся, и многие из них, вытянув шею, смотрели на Катула, ожидая от него сигнала. Катул сделал на своей табличке пометку, показал ее тем, кто сидел по обе стороны от него, и опустил в урну. Когда голосование завершилось, чиновник поставил урну на пустую скамью, вытряхнул из нее таблички – на виду у всех – и принялся подсчитывать голоса. Гортензий и Веррес, сбросив маску равнодушия, вскочили с мест и стали наблюдать. Цицерон сидел неподвижно как статуя. Зрители, часто посещавшие судебные заседания и знавшие все правила не хуже самих судей, перешептывались: мол, сейчас идет повторный подсчет голосов и итоги голосования вот-вот объявят.

И действительно, вскоре чиновник передал табличку со своими записями Глабриону. Тот встал и потребовал тишины.

– Голоса, – сообщил он, – распределились так. Четырнадцать – за Цицерона... – (Сердце мое упало.) – И тринадцать – за Цецилия. Пятеро воздержались. Итак, Марк Туллий Цицерон назначается главным обвинителем по делу Гая Верреса.

Публика принялась рукоплескать, а Гортензий и Веррес сели с подавленным видом. Глабрион попросил Цицерона встать и поднять правую руку, а затем взял с него обычную клятву: вести обвинение честно и добросовестно.

Когда с этим было покончено, Цицерон выдвинул ходатайство об отсрочке суда. Гортензий резво вскочил со скамьи и стал протестующе вопрошать, для чего нужна отсрочка. Чтобы побывать на Сицилии и собрать дополнительные свидетельства и улики, пояснил Цицерон. Гортензий заявил, что это возмутительно: добиться избрания обвинителем и тут же заявить, что имеющихся улик недостаточно. Возражение было веским, и, думаю, Цицерон почувствовал себя неуютно, тем более что довод Гортензия, похоже, подействовал на Глабриона. Однако Цицерону удалось достойно выйти из этого положения. Он заявил, что пострадавшие не дали всех возможных показаний, опасаясь мести со стороны Верреса, и только теперь, когда наместник покинул Сицилию, они чувствуют себя в безопасности и готовы говорить откровенно. Это прозвучало вполне убедительно, и претор, сверившись с календарем, неохотно объявил, что суд откладывается на сто десять дней.

– Но позаботьтесь о том, чтобы по истечении этого срока вы были полностью готовы к началу слушаний, – предупредил он Цицерона.

На этом заседание суда закрылось.

К своему удивлению, Цицерон скоро выяснил, что обязан своей победой Катулу. Старый сенатор, жесткий и высокомерный, был тем не менее всецело предан отечеству, поэтому остальные высоко ценили его мнение. Он был другом Верреса, но решил, что, согласно древним законам, народ имеет право провести самое строгое и беспристрастное расследование в отношении наместника. Родственные узы (Гортензий приходился ему зятем) не позволили Катулу отдать свой голос Цицерону, но он, по крайней мере, воздержался, и следом за ним воздержались еще четверо колебавшихся.

Счастливый оттого, что «охота на борова», как он называл все это, продолжается, радостный после победы над Гортензием, Цицерон с головой окунулся в приготовления к отъезду на Сицилию. Все официальные документы, имевшие отношение к Верресу, по решению суда были изъяты и опечатаны. Цицерон направил в сенат запрос о предоставлении Верресом отче-

тов (которые тот не посылал в Рим) за последние три года. Во все крупные города Сицилии были разосланы письма с требованием предоставить свидетельства злоупотреблений Верреса. Я порылся в старых свитках и выписал имена всех видных граждан острова, гостеприимством которых Цицерон пользовался, будучи квестором, в надежде на то, что они снова предоставят ему кров.

Цицерон, кроме того, отправил вежливое послание тогдашнему наместнику Сицилии, Луцию Метеллу, в котором уведомил его о своем скором прибытии и попросил оказать содействие. Не то чтобы Цицерон ожидал натолкнуться на сопротивление со стороны властей острова, но он считал разумным подкрепить свою просьбу в письменном виде.

С собой он решил взять двоюродного брата – Луций работал над делом Верреса уже полгода и знал все его тонкости. Квинт оставался в Риме, чтобы заниматься подготовкой к выборам. Я должен был ехать с хозяином, как и мои молодые помощники Сосифей и Лаврея: предстояло изрядно потрудиться, делая записи и снимая копии. Бывший претор Сицилии Кальпурний Пизон Фруги предложил отдать в помощь Цицерону своего восемнадцатилетнего сына Гая – юношу редкостного ума и обаяния, которого все мы вскоре искренне полюбили.

По настоянию Квинта мы должны были взять с собой четверых сильных и надежных рабов, чтобы использовать их как носильщиков, возниц, а заодно и телохранителей. В те времена на юге страны царило беззаконие. В холмах прятались уцелевшие после разгрома Спартака мятежники из его войска, бесчинствовали пираты, и, кроме того, никто не знал, какие пакости может сделать Веррес.

Все это требовало немалых средств; и хотя Цицерон снова стал получать доход как защитник (не в виде прямых выплат, конечно: это было запрещено, а в виде ценных подарков от клиентов), он не располагал средствами, чтобы должным образом провести расследование и суд над Верресом. Многие честолюбивые молодые законники на его месте отправились бы прямо к Крассу, который предоставлял подававшим надежды государственным деятелям ссуды на самых выгодных условиях. Однако Красс любил показывать не только то, как щедро он благодарит за поддержку, но и то, как он карает своих противников. С того дня, как Цицерон отказался стать его сторонником, Красс постоянно обнаруживал свою враждебность: публично отпускал в его адрес едкие замечания, злословил за его спиной. Возможно, если бы Цицерон повел себя как многие подхалимы, Красс сменил бы гнев на милость. Но, как я уже говорил, эти двое испытывали такую взаимную неприязнь, что не могли находиться ближе чем в пяти шагах друг от друга.

Оставалось одно: обратиться за деньгами к Теренции. Последовала тягостная сцена. Я оказался замешан в это потому, что Цицерон поначалу проявил трусость и послал меня к Филотиму, управляющему Теренции, велел выяснить, насколько трудно вытянуть из нее сто тысяч сестерциев. Подлый Филотим немедленно известил хозяйку. Теренция, подобно буре, ворвалась в комнату для занятий, где сидел я, и обрушилась на меня с гневными упреками: как я смею совать нос в ее дела? Во время этого разноса вошел Цицерон и объяснил жене, для чего нужны деньги.

– И как же ты собираешься возместить их? – спросила мужа Теренция.

– Очень просто. Из штрафа, который выплатит Веррес после того, как его признают виновным.

– А ты уверен, что его признают виновным?

– Разумеется.

– Почему? Что заставляет тебя так думать? Я хочу послушать.

Теренция села и решительно скрестила руки на груди. Цицерон некоторое время колебался, но потом, зная, что она не уступит, велел мне открыть сундук с документами и достать свидетельства, полученные от сицилийцев. Он стал показывать их жене, одно за другим. Когда он закончил, Теренция смотрела на мужа с неподдельным испугом.

– Но этого недостаточно, Цицерон! Ты поставил все на это? Неужели ты веришь, что сенаторы осудят одного из своих лишь за то, что он забрал несколько ценных статуй из деревенской глуши и привез в Рим, где им и положено находиться?

– Возможно, ты права, дорогая, – мягко ответил Цицерон, – но именно поэтому я отправляюсь на Сицилию.

Теренция вперилась в мужа, выдающегося оратора и умнейшего из сенаторов Рима, как матрона – в ребенка, сделавшего кучу на мраморном полу. Видимо, она хотела что-то сказать, но затем вспомнила о моем присутствии, передумала, поднялась и молча вышла.

На следующий день меня разыскал Филотим и вручил ларец, где лежали десять тысяч сестерциев и письменное разрешение истратить еще сорок тысяч в случае необходимости.

– Ровно половина того, что я просил, – грустно сказал Цицерон, когда я передал ему ларец. – Вот так деловая женщина оценивает вероятность моего успеха. И разве можно ее за это упрекнуть?

## VII

Мы выехали из Рима на январские иды<sup>15</sup>, в последний день праздника нимф. Цицерон отправился в путь в крытой повозке, чтобы работать в пути, хотя я не считал возможным писать и даже читать в скрипучей, раскачивающейся, подпрыгивающей на каждом ухабе колымаге. Путешествие оказалось поистине ужасным. Было невыносимо холодно, пронизывающий ветер швырял нам в лицо пригоршни снега и гнал поземку по застывшим холмам. К этому времени крестов с распятыми мятежными рабами на Аппиевой дороге почти не осталось, но кое-где они еще встречались – зловещие черные очертания на фоне заснеженной местности, с останками истлевших тел. Когда я смотрел на них, издалека ко мне будто потянулась невидимая рука Красса и вновь потрепала меня по щеке.

Поскольку мы выехали в спешке, заблаговременно договориться о всех ночевках не удалось, и несколько раз нам пришлось располагаться под открытым небом, прямо на обочине дороги. Я вместе с другими рабами устраивался у костра, а Цицерон, Луций и юный Фруги спали в повозке. Однажды нам пришлось заночевать в горах, и, проснувшись на рассвете, я обнаружил, что моя одежда покрыта толстым слоем инея. В Веллии Цицерон решил, что мы доберемся быстрее, если возьмем лодку и поплывем вдоль побережья. И это – несмотря на зимние штормы, бесчинства пиратов и нелюбовь к морским путешествиям (сивилла предсказала, что его смерть будет каким-то образом связана с водой).

Велия славилась как здравница, здесь находился широко известный храм Аполлона, считавшегося богом-целителем. Но по случаю зимы все было закрыто, и, когда мы двигались к гавани, где серые волны разбивались о причал, Цицерон заметил, что еще никогда не видел менее привлекательного места для отдыха.

Помимо обычного скопления рыбацких лодок, в гавани стояло огромное судно – грузовой корабль размером с трирему. Пока мы договаривались с местными моряками, Цицерон спросил, кому принадлежит корабль. Выяснилось, что это подарок благодарных жителей сицилийского портового города Мессанье бывшему наместнику Гаю Верресу и он стоит здесь уже около месяца.

Было что-то зловещее в этом гигантском судне, низко сидевшем в воде, с полным экипажем, готовом в любой миг сняться с якоря. Наше появление на пустынном берегу было, конечно же, замечено и вызвало нечто вроде смутения. Когда Цицерон осторожно повел нас к берегу, на корабле затрубили – коротко, три раза. Весла тут же опустили в воду, и корабль,

---

<sup>15</sup> Иды – в римском календаре день в середине месяца. В марте, мае, июле и октябре иды приходились на 15-е число, в остальных восьми месяцах – на 13-е.

ставший похожим на огромного водяного жука, отвалил от пристани. Отплыв на изрядное расстояние, он остановился и бросил якорь. На носу и корме судна маленькими желтыми светлячками плясали фонари, и, когда ветер развернул его боком к берегу, вдоль танцевавшей на волнах палубы выстроились матросы. Цицерон разговаривал с Луцием и юным Фруги: надо было понять, что делать дальше. Он имел право подняться на борт любого судна, которое, по его мнению, могло иметь отношение к делу Верреса, и провести обыск, но понимал, что корабль не будет дожидаться и при его приближении немедленно уйдет в открытое море. Следовательно, преступления Верреса превосходили все, что мог вообразить Цицерон. Нужно было торопиться.

Велию и Вибон, находившийся на носке италийского «сапога», разделяло около ста двадцати миль, но благодаря попутному ветру и сильным гребцам мы преодолели это расстояние всего за два дня. Мы постоянно держали берег в поле зрения и одну ночь провели на песке. Нарубив миртовых кустов, мы разожгли костер и соорудили шалаш: шестами послужили весла, навесом – парус.

Из Вибона мы добрались до Регия по прибрежной дороге, а там снова погрузились на лодку, чтобы пересечь узкий пролив, отделяющий Сицилию от материка. Когда мы отчалили, занималось пасмурное, туманное утро. Со свинцового неба сыпалась противная морось. Далекий остров вырастал на горизонте уродливым черным горбом. К сожалению, в это время, посередине зимы, мы могли направляться только в одно место, и местом этим был город Мессана – оплот Верреса. Негодяй купил преданность его жителей, освободив их от налогов на все три года, в течение которых он являлся наместником, и поэтому Мессана стала единственным городом, чьи обитатели отказались помочь Цицерону в сборе свидетельств против Верреса.

Мы плыли в сторону маяка. Впереди виднелось что-то вроде мачты корабля, стоявшего в гавани. Однако, когда мы подплыли ближе, оказалось, что это крест. Повернутый к морю, он возвышался на берегу, словно зловещий скелет.

– Что-то новенькое! – пробормотал Цицерон, хмурясь и протирая глаза, чтобы лучше видеть. – Раньше здесь никогда не казнили.

Наша лодка проплыла мимо креста с человеческими останками. И без того приунывшие от дождя, мы совсем упали духом.

Несмотря на враждебность жителей Мессаны к Цицерону, в городе все же нашлись два человека, которые мужественно согласились предоставить ему кров, – Базилиск и Перценний. Теперь они стояли на причале, встречая нас.

Как только мы сошли на берег, Цицерон сразу же спросил их, кто и за что распят на кресте. Однако сицилийцы наотрез отказывались отвечать на этот вопрос, пока мы не покинули гавань и не оказались в доме Базилиска. Только тогда, ощутив себя в безопасности, они поведали страшную историю. В последние дни своего наместничества Веррес неотлучно находился в Мессане, следя за погрузкой награбленного добра на корабль, который построили для него горожане. Примерно с месяц назад в его честь устроили праздник, во время которого – это подавалось как развлечение – казнили римлянина. Его вытащили из застенков, куда бросили по приказу Верреса, раздели донага на форуме, принародно выпороли, пытали, а затем распяли на кресте.

– Римлянина? – не веря собственным ушам, переспросил Цицерон и подал мне знак, веля записывать каждое слово. – Но ведь это противозаконно – казнить римского гражданина без приговора суда! Ты уверен, что так все и было?

– Несчастный кричал, что он – римский гражданин, торговал в Испании, служил в войске. С каждым ударом хлыста он выкрикивал: «Я – римский гражданин!<sup>16</sup> Я – римский гражданин!»

---

<sup>16</sup> «Я – римский гражданин» – юридическая формула, согласно которой ни один гражданин Рима не мог быть наказан без решения народного собрания.

– «Я – римский гражданин!» – повторил Цицерон, смакуя каждое слово. – «Я – римский гражданин!» В чем же его обвинили?

– В том, что он соглядатай, посланный в Сицилию предводителем шайки беглых рабов, – ответил хозяин дома. – Этот человек, чье имя – Гавий, совершил роковую ошибку: рассказывал каждому встречному о том, что чудом спасся из сиракузских каменоломен и теперь отправляется прямиком в Рим, собираясь разоблачить преступления Верреса. Власти Мессаны схватили его и держали в заточении до приезда Верреса, который приказал сечь несчастного, пытать раскаленным железом и после всего этого распять на берегу пролива, чтобы бедняга, корчась в предсмертных муках, смотрел в сторону материка, куда так стремился. Это было сделано в назидание всем, кто станет распускать язык.

– Есть свидетели казни?

– Конечно! Сотни!

– В том числе римские граждане?

– Да.

– Можешь назвать их имена?

Базилиск заколебался, но затем все же сказал:

– Гай Нумиторий, римский всадник из Путеол. Братья Марк и Публий Коттии из Тавромения. Квинт Лукцей из Регия. Должно быть, есть и другие.

Я тщательно записал каждое имя. Потом, когда Цицерон принимал ванну, мы стали рассуждать о том, как быть дальше.

– Может, Гавий и впрямь был лазутчиком? – предположил Луций.

– Возможно, я и поверил бы в это, – ответил Цицерон, – если бы Веррес не обвинил в том же самом Стения. А Стений – такой же лазутчик, как ты или я. Нет, это особый прием мерзавца: он выдвигает против неудобного ложные обвинения, а потом, пользуясь своим высоким положением, устраивает судилище, исход которого предопределен. Вопрос в другом: почему для расправы он выбрал именно Гавия?

Ответа у нас не было, не было и времени на то, чтобы задержаться в Мессане и найти Гавия. На следующий день, рано утром мы отправились на север, в прибрежный город Тиндарида. Именно там мы одержали первую победу над Верресом, за которой последовали другие. Встречать Цицерона вышел весь городской совет, и его с почестями проводили на городскую площадь. Ему показали статую Верреса, которая в свое время была воздвигнута за счет горожан, а теперь свергнута с пьедестала и вдребезги разбита. Цицерон произнес краткую речь о римском правосудии, сел в принесенное для него кресло, выслушал жалобы местных жителей и выбрал несколько случаев, самых вопиющих или легко доказываемых. Самым ужасающим был рассказ о том, как по повелению Верреса уважаемого жителя города Сопатра раздели донага и привязали к бронзовой статуе Меркурия. Отпустили его лишь тогда, когда горожане, исполнившись сострадания, согласились отдать эту статую Верресу. Я и мои помощники должны были подробно записать эти истории, а свидетели – поставить свои подписи.

Из Тиндарида мы отправились в Фермы, родной город Стения. Цицерон встретился с женой страдальца в его разоренном доме. Несчастливая женщина рыдала, читая письмо своего мужа-изгнанника. До конца недели мы оставались в прибрежной крепости Лилибее, расположенной в самой западной точке острова. Это место было хорошо знакомо Цицерону – он не раз посещал его в свою бытность младшим магистратом. Мы остановились в доме его старого друга Памфилия, как делали много раз в прошлом.

В первый же вечер за ужином Цицерон обратил внимание на отсутствие кое-каких предметов, обычно украшавших стол, – изумительной красоты кувшина и кубков, переходивших по наследству, из поколения в поколение. В ответ на его вопрос Памфилий пояснил, что их забрал Веррес, и тут же оказалось, что похожее случилось с каждым из сидевших за столом. У молодого Гая Какурия отняли всю мебель и утварь, у Квинта Лутация – огромный велико-



лепный стол цитрового дерева, за которым не раз трапезничал сам Цицерон, у Лисона – бесценную статую Аполлона, у Диодора – прекрасные вещи чеканной работы, и в их числе – так называемые ферикловы кубки работы Ментора.

Список казался бесконечным, но кому, как не мне, было знать об этом: именно я составлял скорбный перечень утрат. Записав показания всех присутствовавших, а затем и их друзей, я начал думать, что у Цицерона помутился разум. Неужто он вознамерился включить в опись похищенного Верресом на острове каждую ложку и молочник? Однако он был куда умнее меня, и очень скоро я в этом убедился.

Через несколько дней мы вновь отправились в путь – по разбитой дороге, что вела из Лилибея в храмовый город Агригент и дальше, в каменистое сердце острова. Зима была непривычно суровой, земля и небо сделались тускло-серыми. Цицерон подхватил простуду и, закутавшись в плащ, сидел в задней части повозки. В Катине – городе, построенном на уступах скал и окруженном лесами и озерами, – нас встретили приветственными возгласами местные жрецы, в причудливых одеяниях, со священными посохами в руках. Они повели нас в святилище Цереры, из которого по приказу Верреса вынесли статую богини, и тут – впервые за все путешествие – нам пришлось лицом к лицу столкнуться с ликторами Луция Метелла, нового наместника Сицилии. Вооруженные фасциями, эти громы стояли на базарной площади и выкрикивали угрозы в адрес всякого, кто осмелится свидетельствовать против Верреса. Тем не менее Цицерону удалось уговорить трех видных горожан – Феодора, Нумения и Никасиона – приехать в Рим и дать показания в суде.

Наконец мы повернули на юго-восток и снова двинулись к морю, в сторону плодородных долин, раскинувшихся у подножия Этны. Эти земли принадлежали государству и по доверенности от римской казны управлялись компанией откупщиков, которая собирала подати и, в свою очередь, предоставляла займы земледельцам. Когда Цицерон впервые оказался на острове, окрестности города Леонтин считались плодороднейшей местностью Сицилии и были житницей Рима, теперь же здесь царил запустение. Мы проезжали мимо заброшенных наделов и серых, необработанных полей, над которыми поднимались струйки дыма. Бывшие арендаторы земель, лишившись домов, жили под открытым небом. Веррес и его холоуи – сборщики податей – прошились по этим землям, подобно войску варваров, скупая урожай и домашний скот за десятую часть их настоящей стоимости и задирая арендную плату выше любых разумных пределов. Один земледelec, Нимфодор из Центурип, осмелился пожаловаться, и сразу же после этого Квинт Апроний, один из сборщиков на службе у Верреса, схватил его и повесил на оливковом дереве, росшем посреди рыночной площади.

Подобные истории доводили Цицерона до белого каления, и он принимался за дело с еще большим рвением. Из моей памяти никогда не изгладится картина: этот всецело городской человек, задрав тогу выше коленей, держа в одной руке красные сандалии из дорогой кожи, а в другой – предписание произвести допрос, бредет под проливным дождем по пашне, погружаясь по щиколотки в мокрую землю, чтобы взять показания у очередного земледельца. Исколесив всю провинцию и потратив на это более месяца, мы наконец оказались в Сиракузах. К этому времени у нас имелись показания почти двух сотен свидетелей.

Сиракузы – самый большой и красивый город Сицилии. В сущности, это четыре города, слившиеся воедино и ставшие составными частями Сиракуз. Три из них – Ахрадина, Тиха и Неаполь – раскинулись вдоль залива, а в середине этой огромной естественной гавани располагается четвертый, отделенный от них узким проливом и известный под названием Остров. Этот город в городе, куда ведет мост, окружен высокими стенами и в ночное время закрыт для местных жителей. Здесь стоит дворец, в котором живет римский наместник, а неподалеку от него – два знаменитых храма, посвященные Диане и Минерве.

Мы опасались встретить враждебный прием: считалось, что Сиракузы почти так же, как Мессана, хранят верность Верресу, а в здешнем сенате недавно звучали хвалебные речи в

его адрес. Однако все обернулось иначе. Известие о том, что Цицерон неподкупен и честен, пришло раньше нас, и у Агригентских ворот собралась толпа восторженных горожан. Назову еще одну причину благорасположения сиракузцев к Цицерону. Еще в те времена, когда мой хозяин был младшим магистратом, он нашел на местном кладбище потерянную сто тридцать лет назад могилу математика Архимеда – величайшего человека в истории Сиракуз. Цицерон где-то вычитал, что на камне высечены шар и цилиндр, и, обнаружив надгробие, заплатил из собственных средств за то, чтобы его привели в приличный вид. Впоследствии он проводил возле этой могилы долгие часы, размышляя о скоротечности земной славы. Подобная щедрость и уважительное отношение к прошлому города снискали ему любовь местных жителей.

Однако вернемся к событиям, о которых я веду рассказ. Нас поселили в доме римского всадника Луция Флавия, старинного друга Цицерона, знавшего множество историй о жестокости и продажности Верреса. Так, он поведал нам о предводителе морских разбойников Гераклеоне, который преспокойно вошел в гавань Сиракуз с четырьмя небольшими кораблями, разграбил портовые склады и уплыл восвояси. Правда, через несколько недель Гераклеон и его люди были схвачены у побережья Мегары, но разбойников не провели по городским улицам, как всегда делали с пленниками. Поговаривали, что Веррес отпустил их за большой выкуп. А ужасная судьба Луция Геренния, римлянина из Испании, крупного ростовщика и менялы, которого однажды утром притащили на сиракузский форум, объявили лазутчиком и обезглавили по приказу Верреса! И это – вопреки мольбам его родственников и друзей, которые, услышав о происходящем, немедленно бросились на форум. Ровно то же, что случилось с Гавием в Мессане! Оба – римляне, оба были в Испании, оба – торговцы, оба объявлены лазутчиками, оба казнены без суда и следствия!

В ту ночь, после ужина, Цицерон получил весточку из Рима. Он немедленно прочитал письмо, а затем, извинившись перед хозяином, отозвал в сторону Луция, молодого Фруги и меня. Оказалось, что это письмо от Квинта и оно содержит весьма неприятные новости. Похоже, Гортензий взялся за старое. Суд по имущественным делам неожиданно разрешил привлечь к ответственности бывшего наместника провинции Ахайя, причем обвинитель, некто Дазидан, союзник Верреса, съездил в Грецию и собрал свидетельские показания, так что разбирательство должно было начаться за два дня до суда на Верресом. Так сделали для того, чтобы суд, такой важный для Цицерона, отложили на неопределенное время. Квинт призывал брата как можно скорее вернуться в Рим и исправить положение.

– Это западня! – немедленно заявил Луций. – Они хотят, чтобы ты, испугавшись, поспешил в Рим и не сумел собрать все нужные улики.

– Может, и так, – согласился Цицерон, – но я все же рискну. Если эта жалоба будет рассматриваться судом раньше нашей и Гортензий затянет разбирательство, как он любит делать, дело Верреса окажется в суде только после выборов. К тому времени Гортензий и Квинт Метелл станут консулами, Метелл-младший наверняка будет избран претором, а средний по-прежнему останется наместником Сицилии. Вот и прикиньте, какой тогда окажется вероятность нашей победы.

– И что же нам делать?

– Мы потратили слишком много времени на ловлю мелкой рыбешки, – заговорил Цицерон. – Теперь мы должны атаковать врага в его логове и развязать языки тем, кто знает, что произошло на самом деле, – самим римлянам.

– Согласен, но как?

Цицерон огляделся и, перед тем как отвечать, понизил голос.

– Мы должны совершить набег, – сказал он. – Набег на дом, где помещается компания откупщиков.

Луций буквально позеленел. Он был бы ошеломлен меньше, если бы Цицерон предложил отправиться во дворец наместника и взять его под стражу. Откупщики – сборщики податей

– представляли собой сплоченное сообщество, закрытое для посторонних. Приравненные к всадникам, они пользовались покровительством государства и наиболее состоятельных сенаторов. Сам Цицерон, участвуя в судах по различным сделкам, приобрел многочисленных сторонников среди именно этой публики. Предприятие выглядело крайне рискованным, но отговаривать Цицерона не было никакой возможности: он твердо решил докопаться до правды. В ту же ночь Цицерон отправил в Рим гонца с письмом для Квинта, сообщая, что должен закончить кое-какие дела и отправится в обратный путь через несколько дней.

Теперь Цицерону предстояло действовать предельно быстро и скрытно. Согласно его замыслу, набег должен был произойти через два дня, причем в час, когда никто не ожидал ничего подобного: на рассвете, в день большого праздника – терминалиев. Он был посвящен Термину, богу границ и добрососедства, и это, по мнению Цицерона, придавало нашей вылазке глубинный смысл. Приютивший нас Флавий вызвался показать, где находится контора откупщиков.

Когда у меня выдалось свободное время, я спустился в гавань и отыскал верного корабельщика, услугами которого мы пользовались во время необдуманного возвращения Цицерона из Сицилии. Я нанял его вместе с кораблем и матросами и велел ему быть готовым к отплытию до конца недели. Все записи показаний и свидетельств, которые мы успели собрать, были уложены в сундуки и погружены на борт корабля, возле которого выставили охрану.

В ночь накануне набега мы почти не спали. В предрассветной темноте улица, где стоял дом откупщиков, была перегорожена повозками, запряженными волами, и по знаку Цицерона мы выскочили из них с горящими факелами. Сенатор забарабанил в дверь и, не дожидаясь ответа, встал сбоку, а двое самых сильных рабов принялись крушить ее топорами. Как только дверь слетела с петель, мы ринулись внутрь, сшибли с ног старого ночного сторожа и захватили все документы. Образовав живую цепь, в которой стоял и сам Цицерон, мы передавали от одного к другому коробки с восковыми табличками и папирусными свитками.

В тот день я усвоил очень важный урок: если ты хочешь завоевать популярность, лучший способ добиться этого – устроить налет на дом сборщиков податей. После того как вошло солнце и известие о нашей вылазке разлетелось по окрестностям, вокруг нас образовалось кольцо добровольных охранников из числа горожан – достаточно плотное, так что Луций Карпинаций, глава откупщиков, прибывший к дому в сопровождении ликторов, которых ему одолжил Луций Метелл, не решился на враждебные действия. Они с Цицероном вступили в ожесточенный спор посередине дороги. Карпинаций с пеной у рта доказывал, что записи откупщиков по закону не подлежат изъятию. В ответ на это Цицерон, размахивая своим предписанием, орал, что полномочия, предоставленные судом по имущественным делам, перевешивают все остальное. На самом деле, как признался позже Цицерон, прав был именно Карпинаций. «Но, – добавил он, – на чьей стороне люди, тот и прав». А в тот день люди были на стороне Цицерона.

В итоге нам пришлось перевезти в дом Флавия четыре воза коробок с записями. Мы заперли ворота, выставили стражу и принялись разбирать захваченные свитки и таблички. Даже сейчас, спустя много лет, я вспоминаю, как меня прошиб холодный пот. Записи, которые велись на протяжении многих лет, содержали все: данные о всех землевладениях на Сицилии, о количестве и статях домашнего скота у каждого из крестьян, о размере собранного урожая и выплаченных податях. Скоро стало ясно, что в этом успели покопаться чьи-то руки, уничтожившие все упоминания о Верресе.

Из дворца наместника доставили грозное послание: Цицерону предписывалось явиться к Метеллу наутро, когда откроются суды. Тем временем перед домом стала собираться новая толпа. Люди громко выкрикивали имя Цицерона, приветствуя его. Мне вспомнилось предсказание Теренции: ее мужа рано или поздно выгонят из Рима и он закончит свои дни консулом в Фермах, а сама она станет первой дамой в этом захолустье. Сейчас это пророчество, казалось,

было как никогда близко к исполнению. Сохранять хладнокровие удавалось только Цицерону. Ему часто приходилось представлять в суде нечистых на руку сборщиков податей, и он прекрасно знал все их сомнительные уловки. Когда стало очевидно, что все свитки и таблички, связанные с Верресом, изъяты, он стал внимательно изучать список управляющих и листал его до тех пор, пока не наткнулся на имя человека, занимавшегося расчетами компании откупщиков при Верресе.

– Вот что я тебе скажу, Тирон, – заявил он мне, – мне еще никогда не приходилось видеть главного учетчика, который не снял бы для себя копию записей после того, как передал дела своему преемнику. Так, на всякий случай.

Тем же утром мы предприняли второй набег.

Нам был нужен некий Вибий, который вместе с соседями праздновал терминалии. Когда мы приехали к его дому, то увидели, что в саду установлен жертвенник, на котором лежат кукуруза и пчелиные соты с янтарным медом. Вибий только что заколол жертвенного поросенка.

– Эти продажные счетоводы всегда так набожны! – пробормотал Цицерон.

Когда хозяин дома обернулся и увидел нависшего над ним сенатора, он сам стал похож на поросенка, а увидев предписание с преторской печатью Глабриона, предоставлявшее Цицерону самые широкие полномочия, понял, что у него нет выхода, кроме как сотрудничать с нами. Извинившись перед изумленными гостями, он провел нас в таблинум и отпер обитый железом сундук. Среди счетных книг, долговых расписок и даже драгоценностей в нем хранилась перевязанная пачка писем с пометкой «Веррес», и, когда Цицерон принялся просматривать их, на лице Вибия отразился неподдельный ужас. Полагаю, ему приказали уничтожить письма, но он либо позабыл, либо приберег их, чтобы использовать для собственного обогащения.

На первый взгляд, в них не было ничего особенного – просто письма от Луция Канулея, который взимал таможенные сборы за все товары, проходившие через гавань Сиракуз. В них упоминалось об отправке – за два года до этого – судна с грузом, за который Веррес не уплатил никакой пошлины. Оно везло четыреста бочонков с медом, пятьдесят обеденных лежанок, двести дорогих потолочных светильников и девяносто кип мальтийских тканей. Возможно, другой не усмотрел бы в этом ничего особенного, но не таков был Цицерон.

– Взгляни на это, – сказал он, протягивая мне письмо. – Товары явно не были отобраны у частных лиц. Четыреста бочонков меда! Девяносто кип заморской ткани! – Он обратил яростный взгляд на перепуганного Вибия. – Это ведь груз для отправки за границу! Получается, твой наместник Веррес украл этот корабль?

Бедный Вибий не выдержал такого напора и, боязливо оглядываясь на гостей, которые с открытыми ртами смотрели на нас, признался: да, это груз для отправки за границу, и Канулею было строго-настроено приказано никогда больше не требовать уплаты пошлин с того, что вывозит наместник.

– Сколько еще таких кораблей отправил Веррес? – спросил Цицерон.

– Точно не знаю.

– Хотя бы приблизительно.

– Десять, – с тревогой ответил Вибий, – а может, двадцать.

– И пошлина ни разу не платилась? Сохранились какие-нибудь записи?

– Нет.

– Откуда Веррес брал эти товары? – продолжил допрос Цицерон.

Вибий позеленел от страха:

– Сенатор, умоляю...

– Мне надо бы задержать тебя, привезти в Рим в цепях и поставить на свидетельское место посреди форума, перед тысячами глаз, а потом скормить то, что от тебя останется, собакам у Капитолийского храма.

– С других кораблей, сенатор, – еле слышно пропищал Вибий. – Он брал грузы с кораблей.

– С каких кораблей? Откуда они прибывали?

– Из разных мест, сенатор. Из Азии, Сирии, Тира, Александрии.

– Что же происходило с этими кораблями? Веррес изъясил их?

– Да, сенатор.

– На каком основании?

– Сказал, что на них плыли лазутчики.

– Ах, ну да, конечно! Никто на свете не изловил столько лазутчиков, сколько наш бдительный наместник, – добавил Цицерон, обращаясь ко мне. – А скажи мне, – снова повернулся он к Вибию, – какая участь постигла матросов?

– Брошены в каменоломни, сенатор.

– А что произошло с ними там?

Ответа не последовало.

Каменоломнями называлась самая ужасная тюрьма в Сицилии, а может, и во всем свете. По крайней мере, лично я не слышал о более страшном месте. Это подземелье длиной в шестьсот и шириной в двести шагов, вырытое глубоко в склоне горного плато под названием Эпиполы, которое возвышается над Сиракузами с севера. Здесь, в этой адской норе, откуда не доносился ни один крик, задыхаясь от жары летом и замерзая зимой, измученные жестокостью своих тюремщиков, унижаемые другими заключенными, страдали и умирали жертвы Верреса.

За стойкое отвращение ко всему, что связано с военным делом, враги Цицерона нередко упрекали его в трусости, и временами он действительно выказывал брезгливость и малодушие. Но в тот день, я готов в этом поклясться, он проявил мужество и бесстрашие.

Вернувшись в дом, где мы остановились, Цицерон взял с собой Луция, а молодому Фруги велел продолжать разбираться в свитках, захваченных нами у откупщиков. Затем, вооруженные лишь тростями и предписанием Глабриона, в окружении уже привычной толпы сторонников Цицерона, мы стали подниматься по крутой тропе, ведущей на Эпиполы. Как обычно, весть о приходе Цицерона и о данном ему поручении опередила его: начальник стражи преградил нам путь. Цицерон произнес гневную речь, пригрозил главному стражнику самыми ужасными карами, если он будет чинить нам препятствия, и тот пропустил нас за внешнюю стену. Оказавшись внутри и не обращая внимания на предупреждения о том, что это слишком опасно, Цицерон настоял на том, чтобы самолично осмотреть каменоломни.

Огромной темнице, выдолбленной в скале по приказу сиракузского тирана Дионисия Старшего, уже перевалило за триста лет. Отперли старую железную дверь, и стражники с горящими факелами в руках ввели нас в длинный темный проход. Блестящие от слизи, изъеденные грибом и заросшие мхом стены, крысиная возня в темных углах, запах смерти и разложения, крики и стоны отчаявшихся душ – все это производило жуткое впечатление. Мне казалось, что мы спускаемся в Аид.

Вскоре мы подошли к еще одной массивной двери. После того как замок был отперт, а тяжелый засов отодвинут, мы оказались в тюрьме как таковой. Что за зрелище предстало нашим взорам! Будто некий великан наполнил мешок сотнями закованных в кандалы людей, а потом ссыпал их в свое мрачное логово. Здесь почти не было света, и казалось, что мы очутились глубоко под водой. Одни узники стояли, переминаясь с ноги на ногу, другие сбились в кучки, но большинство их лежали на полу, в стороне от остальных, похожие на пожелтевший мешок с костями. Тела умерших в этот день еще не успели убрать, но отличить мертвых от живых было почти невозможно.

Мы медленно шли между тел – между покойниками и теми, кто ожидал своего конца, хотя, как я сказал, большой разницы между ними не было. Внезапно Цицерон остановился и

спросил у одного из узников его имя. Чтобы расслышать ответ, ему пришлось наклониться. Римлян мы не обнаружили, только сицилийцев.

– Есть здесь римские граждане? – громко спросил Цицерон. – Есть кто-нибудь с торговых судов? – задал он еще один вопрос. Ответом ему было молчание. Цицерон обернулся и, подзвав начальника охраны, потребовал показать тюремные записи. Стражник, как и Вибий, испытывал страх перед Верресом, с одной стороны, и почтение к официальному обвинителю – с другой. В конечном итоге он уступил натиску римского сенатора.

В каменных стенах каменоломен были выдолблены отдельные камеры. В одних умерщвляли приговоренных к смерти (в те времена, как я уже упоминал, излюбленным способом казни было удушение), в других спали и принимали пищу стражники. Здесь же располагалось начальство. Из глубоких ниш в стене для нас вытащили коробки с отсыревшими свитками. Это были длинные списки с указанием имени заключенного, дня его взятия под стражу и освобождения. Однако напротив большинства имен стояло сицилийское слово «edikaiothesan» означавшее, что смертный приговор приведен в исполнение.

– Мне нужны копии всех записей, сделанных за три года правления Верреса, – сказал мне Цицерон. – А ты, – обратился он к начальнику стражи, – письменно заверишь их подлинность и точность.

Я и двое моих помощников принялись за работу, а Цицерон и Луций продолжили изучать записи в поисках римских граждан. Узники, томившиеся в каменоломнях в годы правления Верреса, по преимуществу были сицилийцами, но попадались имена обитателей почти всех стран Средиземноморья – испанцев, египтян, киликийцев, жителей Крита и Далмации. На вопрос о том, в чем состояла вина этих людей, начальник стражников ответил, что все они были пиратами – пиратами и лазутчиками. И разумеется, всех казнили. Согласно тюремным записям, среди них был и предводитель морских разбойников Гераклеон. Что же касается граждан Рима, то все они, если верить записям, включая двух человек из Испании, Публия Гавия и Луция Геренния, были «освобождены».

– Все эти записи – полная чушь! – негромко сказал Цицерон. – В них нет ни слова правды. Никто не видел казни Гераклеона, хотя пират, умирающий на кресте, без сомнения, привлёк бы толпы восторженных зрителей. Зато многие видели, как казнили двух римлян. Думается, Веррес сделал обратное тому, что требовал от него долг: убил ни в чем не повинных судовладельцев вместе с моряками, а пиратов, наоборот, освободил, получив за это жирный куш – то ли выкуп, то ли взятку. Возможно, Гавий и Геренний узнали о его предательстве, и он решил их убить.

Мне показалось, что бедного Луция сейчас стошнит. Он проделал большой путь – от чтения философских трудов в солнечном Риме до изучения списков казненных в омерзительном подземелье, при неверном свете свечей. Мы постарались завершить работу как можно скорее, и никогда еще я не испытывал такого наслаждения, как в тот миг, когда мы выбрались из гнусной утробы каменоломен и снова стали частью человечества. С моря дул легкий ветерок, и даже сейчас, более полувека спустя, я помню, как мы, не сговариваясь, подставили ему лица и стали пить сладкий воздух свободы.

– Пообещай мне, – сказал Луций чуть позже, – что, когда ты получишь империй, к которому так стремишься, ты не станешь править с помощью беззакония и жестокости, свидетелями которых мы стали только что.

– Клянусь, – торжественно ответил Цицерон. – А ты, мой дорогой Луций, поразмысли над тем, почему хорошие люди оставляют занятия философией, стремясь обрести власть в настоящем мире, и пообещай мне, в свою очередь, всегда помнить об увиденном сегодня в каменоломнях.

Была уже середина дня, и в Сиракузах благодаря усилиям Цицерона царил суматоха. Толпа, которая провожала нас к тюремной стене, все еще оставалась там, только увеличилась в размерах, и мы заметили среди знатных горожан главного жреца храма Юпитера, одетого в священные одеяния. Это служение, по обычаю, было делом самых выдающихся сиракузцев. В те дни главным жрецом был не кто иной, как Гераклий, клиент Цицерона, – он вернулся из Рима, рискуя многим, чтобы оказать нам посильную помощь. Гераклий пригласил нас посетить сиракузский сенат, старейшины которого хотели устроить Цицерону торжественный прием. Цицерон колебался. У него оставалось мало времени на то, чтобы довести до конца незавершенные дела. Кроме того, выступление перед местными сенаторами без разрешения наместника явилось бы нарушением правил. Наконец он ответил согласием, и мы стали спускаться с холма в сопровождении множества сиракузцев, исполненных почтения.

В сенате негде было яблоку упасть. Под золоченой статуей Верреса собрались старейшие сенаторы Сиракуз. Почтенный Диодор приветствовал Цицерона на греческом и извинился за то, что они до сих пор не оказали ему посильной помощи. По его словам, только события этого дня убедили жителей в честности и порядочности сенатора.

Цицерон также говорил на греческом. Ярко описав сцены, свидетелями которых мы стали в каменоломнях, он произнес без всякой подготовки одну из своих самых блистательных речей, поклявшись посвятить жизнь борьбе с несправедливостью, от которой страдают сицилийцы. В заключение сиракузские сенаторы единогласно отозвали панегирик Верресу, принятый, как они сообщили, под давлением Метелла. Под громкие крики одобрения несколько молодых сенаторов забросили веревки на шею статуи Верреса и свалили ее с пьедестала, в то время как другие – что было гораздо важнее – извлекли из тайного архива сената новые свидетельства преступлений, совершенных Верресом. Оказалось, он похитил двадцать семь бесценных предметов из храма Минервы. Из святилища утащили даже резные деревянные двери! Имелась и запись о том, как Веррес, будучи судьей, вымогал у подсудимых взятки за оправдательный приговор.

Весть о торжественном приеме, устроенном сенаторами Цицерону, и низвержении статуи Верреса успела достичь дворца наместника, и когда мы попытались выйти на улицу, то увидели, что сенат окружен римскими солдатами. Собрание по приказу Метелла распустили, Гераклия задержали, а Цицерону велели незамедлительно явиться во дворец. После всего этого едва не начался кровавый мятеж, но Цицерон, вскарабкавшись на повозку, призвал сицилийцев к спокойствию, сказав, что Метелл вряд ли решится причинить вред римскому сенатору, действующему согласно предписанию преторского суда. Однако, добавил Цицерон, если он не выйдет из дворца до заката, следует полюбопытствовать насчет его местонахождения. Затем он спустился с повозки, и жители города препроводили нас через мост, ведущий на Остров.

В то время Метеллы приближались к зениту своей власти. Той ветви рода, которая произвела на свет троих братьев (все они уже перешагнули сорокалетний рубеж), предстояло править Римом на протяжении ближайших лет. Это было, по выражению Цицерона, трехглавое чудовище, и средняя голова в лице Луция Метелла была во многих отношениях гораздо страшнее двух других. Он принял нас в роскошном зале, где имелись все атрибуты его империя. Метелл – внушавший трепет могучий мужчина – восседал в похожем на трон кресле, в окружении ликторов, под немигающими взглядами дюжины своих мраморных предшественников. Позади него стояли подчиненные, включая младшего магистрата и других чиновников, а по обе стороны дверей застыли стражники.

– Подстрекательство к мятежу – очень серьезное обвинение и граничит с государственной изменой, – негромким голосом начал наместник без всяких предисловий.

– А чинить препоны официальному лицу, действующему от имени народа и сената Рима, – это очень серьезное оскорбление, – едко откликнулся Цицерон.

– Вот как? И что же это за представитель римского народа, который обращается к греческим сенаторам на их родном языке? В каком бы уголке провинции ты ни появился, повсюду начинаются неприятности. Я этого не потерплю! Сил нашего гарнизона едва хватает на то, чтобы держать в узде местных жителей, а ты еще больше смущаешь их мятежными речами.

– Уверяю тебя, наместник, возмущение сицилийцев направлено не против Рима, а против Верреса.

– Верреса! – Метелл ударил кулаком по ручке кресла. – С каких пор тебя стал заботить Веррес? С того дня, когда ты углядел в этом удобный способ подняться по лестнице власти? Ты, жалкий, дрянной, непокорный защитник!

– Тирон, запиши эти слова, – проговорил Цицерон, не сводя с Метелла тяжелого взгляда. – Я хочу, чтобы каждое слово осталось на табличке. Судьям стоит узнать об этом запугивании.

Однако я сам был так напуган, что даже не мог пошевелиться. Теперь кричали все, кто был в комнате. Метелл вскочил на ноги и проорал:

– Я приказываю тебе вернуть записи, которые ты украл сегодня утром!

– А я со всем уважением напоминаю наместнику, что он не на поле для воинских упражнений и разговаривает со свободным римским гражданином. Что касается меня, я доведу порученное мне дело до конца.

Метелл упер руки в бедра и подался вперед, выпятив квадратный подбородок:

– Либо ты вернешь свитки сейчас по-хорошему, либо завтра по решению суда, на глазах у всех сиракузцев!

– Как всегда, я испытаю удачу в суде, – многозначительно проговорил Цицерон, кивнув головой. – Тем более, что теперь я знаю: справедливый и честный судья, которого я получу в твоём лице, является достойным наследником Верреса!

Я передаю этот разговор совершенно точно; сразу после его окончания мы Цицероном вышли из кабинета и решили тут же припомнить и записать все сказанное – на тот случай, если придется предъявлять это суду.

– По-моему, все прошло отлично, – пошутил Цицерон, но его голос и руки слегка дрожали. Нам обоим стало очевидно, что его начинание и сама жизнь подвергаются смертельной опасности. – Но если ты стремишься к власти и начинаешь долгий путь к ней, необходимо пройти и через это, – добавил Цицерон, обращаясь, казалось, к самому себе. – Просто так ее никто не отдаст.

Мы вернулись в дом Флавия и работали всю ночь при колеблющемся свете дымных сицилийских свечей и коптящих масляных ламп, готовясь к суду, который должен был состояться следующим утром. Откровенно говоря, я не знал, на что надеется Цицерон. Он мог ждать только новых унижений. Во-первых, Метелл ни за что не вынес бы решение в его пользу, а во-вторых, как признался мне сам Цицерон, закон все же находился на стороне откупщиков. Однако удача, как писал благородный Теренций<sup>17</sup>, благоволит отважным, а в ту ночь она определенно благоволила Цицерону. Прорыв мы совершили благодаря юному Фруги.

Я нечасто упоминаю о нем, но лишь из-за того, что он вел себя со спокойным достоинством, которое делает человека практически незаметным: ты вспоминаешь о нем, лишь когда его нет рядом. Весь тот вечер он корпел над записями из компании откупщиков, но, даже закончив эту работу с наступлением ночи, отказался ложиться, несмотря на понукания Цицерона, и принялся разбирать свидетельства, предоставленные сиракузскими сенаторами.

Уже давно перевалило за полночь, когда Фруги возбужденно вскрикнул и поманил нас к своему столу, заваленному восковыми табличками с денежными записями компании. Взятые по отдельности, эти списки имен, дат и сумм ни о чем не говорили, но Фруги сравнил

---

<sup>17</sup> Публий Теренций (ок. 195–159 до н. э.) – римский комедиограф.



их со списком горожан, у которых Веррес вымогал взятки, и сделал удивительное открытие: чтобы заплатить требуемые суммы, этим людям приходилось брать займы, причем под большие проценты. Еще больше нас поразила приходная книга откупщиков. Именно в те дни, когда компания предоставляла заем какому-нибудь горожанину, точно такая же сумма возвращалась ей в виде вклада со стороны некоего Гая Верруция. Подлог был настолько очевидным, что мы не удержались от смеха. Было совершенно очевидно, что сначала там стояло имя «Веррес», но потом кто-то грубо соскреб последние две буквы и вписал вместо них четыре новые – «уций».

– Выходит, Веррес действительно вымогал взятки, – воодушевившись, подвел итог Цицерон, – и теперь это можно считать доказанным. Он требовал, чтобы жертва взяла у Карпинация ссуду под грабительский процент, потом получал эти деньги в виде взятки и с помощью своих друзей-откупщиков снова вкладывал их в компанию. Таким образом мерзавец не только обеспечивал сохранность капиталов, но и получал немалую прибыль. Блестящая задумка!

Цицерон прошелся по комнате в победном танце, а потом обнял и крепко расцеловал в обе щеки смутившегося Фруги.

Не побоюсь сказать, что из всех судебных побед Цицерона та, которую он одержал следующим утром, была одной из самых сладких. Тем более что внешне это была вовсе не победа, а, наоборот, поражение. Он выбрал записи, которые решил забрать в Рим. Луций, Фруги, Лаврея, Сосифей и я взяли по коробке и понесли их на сиракузский форум, где на возвышении восседал Метелл. Там уже успела собраться огромная толпа. Первым слово взял Карпинаций. Изображая из себя завязанного законника, он ссылаясь на различные уложения и прошлые случаи, доказывая, что записи, связанные со сбором податей, нельзя вывозить из провинции. Прикидываясь агнцем, он пытался создать впечатление, что стал невинной жертвой заезжего римского сенатора.

Цицерон повесил голову на грудь и изобразил такое отчаяние, что я едва не прыснул со смеху. Когда настала его очередь, он поднялся с места, извинился за свои действия, признался, что нарушил закон, и выразил готовность незамедлительно вернуть Карпинацию все записи. Но сначала, сказал Цицерон, ему хотелось бы прояснить одну маленькую подробность, которую он не понял. Подняв над головой одну из восковых табличек, он громко спросил:

– Кто такой Гай Верруций?

Карпинаций, на лице которого только что цвела счастливая улыбка, пошатнулся, словно получил в грудь стрелу, выпущенную с близкого расстояния. А Цицерон с невинным выражением, продолжая разыгрывать полнейшее непонимание, обратил внимание слушателей на совпадение: имена, даты и суммы в записях откупщиков были теми же, что и в записях сиракузских сенаторов, относившихся к даче взяток.

– И вот еще что, – продолжил Цицерон все тем же медоточивым голосом, обращаясь к Карпинацию, – этот человек, с которым ты заключил столько сделок, не значится в твоих записях до того времени, пока на Сицилии не появился другой – почти полный его тезка. Гай Веррес. И ты не заключил с ним ни одной сделки после того, как Веррес покинул остров. Но в те три года, когда Веррес наместничал здесь, этот загадочный человек был твоим самым крупным клиентом. – Цицерон снова поднял таблички над головой и показал их собравшимся на площади. – Вот ведь досада: всякий раз, когда писарь выводил фамилию вкладчика, он делал одну и ту же ошибку. Впрочем, такое бывает. Уверен, тут нет ничего подозрительного. Может, ты просто сообщишь суду, кто такой Верруций и где его можно найти?

Карпинаций беспомощно посмотрел на Метелла, но тут кто-то прокричал:

– Такого человека нет! На Сицилии никогда не было человека по имени Верруций! Это Веррес!

После чего все собравшиеся на форуме принялись повторять нараспев:

– Это Веррес! Это Веррес!

Цицерон воздел руки над головой, призывая к тишине.

– Карпинаций утверждает, что вывозить записи из провинции запрещено, и с точки зрения буквы закона он прав. Но нигде не говорится о том, что я не имею права вывезти копии этих записей, если они точны и должным образом заверены. Мне нужна ваша помощь. Кто из собравшихся поможет снять копии, чтобы я мог забрать их в Рим и привлечь эту свинью Верреса к ответственности за преступления, совершенные им против народа Сицилии?

В воздух взметнулся лес рук. Метелл попытался восстановить тишину, но его слова потонули в хоре голосов, принадлежавших приверженцам Цицерона. Флавий, желая помочь нам, отобрал самых видных граждан города – сицилийцев и римлян, – предложил им выходить вперед и брать столько записей, сколько каждый сможет скопировать. Я раздавал добровольцам восковые таблички и стилусы.

Краем глаза я видел, как Карпинаций отчаянно пытается пробраться сквозь людское море к Метеллу, а сам наместник бешеным взглядом смотрит со своего возвышения на хаос внизу. Наконец он встал, развернулся и поднялся по ступеням в храм.

Так закончилась поездка Цицерона на Сицилию. Не сомневаюсь, что Метелл с удовольствием бросил бы его в застенки или по крайней мере не позволил бы вывезти с острова улики против своего друга Верреса. Но Цицерон очень быстро успел заручиться поддержкой местных жителей – как римлян, так и сицилийцев. Схватить его значило бы вызвать крупные беспорядки, а у Метелла, как он сам признавался, было слишком мало войск, чтобы поддерживать спокойствие на всем острове.

К середине того дня все нужные копии были готовы. Их заверили, упаковали, опечатали и отправили на охраняемый корабль, который дожидался нас в гавани. Цицерон провел на острове последнюю ночь, составляя список свидетелей, которых он намеревался вызвать в Рим для дачи показаний в суде. Луций и Фруги согласились задержаться в Сиракузах, чтобы помочь свидетелям добраться до Рима.

На следующее утро они спустились к гавани, чтобы проводить Цицерона. На берегу собралось огромное число его сторонников, и он обратился к ним с короткой прощальной речью:

– Я вполне сознаю, что увожу на этом хрупком корабле надежды и чаяния всей вашей провинции. И сделаю все, что в моих силах, дабы оправдать их.

После этого я помог ему подняться на палубу, где он застыл, глядя в сторону берега блестящими от слез глазами. Цицерон был одаренным актером и мог изобразить любые чувства, но сейчас, возвращаясь мыслями на много десятилетий назад, я думаю, что в тот день он был искренен и предчувствовал, что ему больше не суждено оказаться на этом острове. Цицерон навсегда расставался с Сицилией.

Весла взмыли вверх и ударились о воду. По мере того как корабль уходил от берега, очертания людей, стоявших на пристани, становились все более размытыми, а потом и вовсе исчезли из виду. Пройдя сквозь устье залива, наше судно вышло в открытое море.

## VIII

Поездка из Регия в Рим оказалась проще, чем путешествие на юг, поскольку наступила ранняя весна и, казалось, сама природа вливала в нас недостающие силы. Впрочем, нам было некогда наслаждаться пением птиц и красотой распускавшихся цветов. Забившись вглубь крытой повозки, Цицерон всю дорогу работал, прикидывая, как будет обвинять Верреса на суде. Я по мере надобности доставал из грузовых повозок нужные свитки и таблички, а также делал записи под его диктовку, что требовало проворства и внимания.

Насколько мне удалось понять, замысел Цицерона состоял в том, чтобы разделить обвинение на четыре части: продажное судейство, вымогательство взяток через откупщиков, разграбление городской и частной собственности и, наконец, незаконные казни. В соответствии

с этим были распределены свидетельские показания и улики, и по мере того, как мы приближались к Риму, Цицерон даже начал набрасывать куски вступительной речи.

Принудив тело выносить бремя собственного честолюбия, Цицерон также научился усилием воли избавляться от тошноты, неизбежной, казалось бы, при долгом путешествии в тряской повозке, и во время поездок по Италии предавался привычным занятиям. Вот и теперь, с головой погрузившись в работу, он даже не сознавал, где мы едем. Дорога заняла менее двух недель, и на мартовские иды – ровно через два месяца после отъезда из Рима – мы вернулись в город.

Гортензий тоже не терял времени даром, и затеянное им разбирательство шло полным ходом. Как и полагал Цицерон, он намеревался среди прочего как можно скорее выманить моего хозяина с Сицилии. Выяснилось, что Дазиян не ездил в Грецию для сбора улик и, более того, вообще не покидал Рима. Однако это не помешало ему выдвинуть в суде по вымогательствам обвинения против бывшего наместника Ахайи, а поскольку Цицерон еще не вернулся, претор Глабрион не мог воспрепятствовать всему этому. И вот день за днем Дазиян, давно забытое ничтожество, что-то бубнил, стоя перед откровенно скучающими судьями, а Гортензий сидел в стороне. Когда многоречивый Дазиян умолкал, поднимался Плясун, со своим обычным изяществом, и начинал производить танцевальные движения, сопровождая их высокочудными замечаниями.

Собранный и ответственный Квинт за время нашего отсутствия подготовил для нас расписание буквально на каждый день и представил его на одобрение Цицерона. Тот ознакомился с ним, как только вошел в дом, и замысел Гортензия открылся ему во всех подробностях. Красным цветом были помечены праздничные дни, когда суд не работает. Оставалось всего двадцать полноценных рабочих дней, после чего сенат должен был уйти на каникулы продолжительностью тоже в двадцать дней. Затем следовал пятидневный праздник в честь Флоры, богини цветов весны. За ним – день Аполлона, Терентинские игры, праздник Марса и так далее.

– Проще говоря, – заметил Квинт, – если все пойдет, как задумал Гортензий, думаю, он без труда затянет разбирательство до консульских выборов, которые состоятся в конце июля. А в начале августа ты сам избираешься в эдилы. Значит, раньше пятого числа представить дело в суд мы не сможем. Но в середине августа начинаются игры Помпея – целых пятнадцать дней! Не стоит также забывать о Римских и Плебейских играх.

– Да смилюются над нами боги! – воскликнул Цицерон, грустно глядя на расписание. – Неужели в этом несчастном городе больше нечем заняться, только смотреть, как люди и звери убивают друг друга?

Воодушевление, которое Цицерон испытывал на протяжении всего пути от Сиракуз, явно уменьшилось: он напоминал мне пузырь, из которого выпустили воздух. Цицерон вернулся домой, готовый к схватке, но Гортензий был слишком хитер и дальновиден, чтобы встретиться с ним в суде. Тянуть время и изводить противника томительным ожиданием – таким был его прием, надо сказать весьма действенный. Все знали, что Цицерон стеснен в средствах: чем дольше его дело не попадет в суд, тем больше ему придется тратиться. Через день или два с Сицилии в Рим начнут прибывать наши первые свидетели. Они, без сомнения, потребуют, чтобы им возместили расходы на дорогу, жилье, а также потери в заработке, понесенные из-за вынужденной отлучки. Но и это еще не все. Ведь если Цицерон желает стать эдилом, ему необходимы деньги на выборы! А если он победит, то в течение целого года должен будет нести траты, связанные с исполнением должности: из собственных средств ремонтировать общественные здания и дважды устраивать государственные игры. Значит, впереди была еще одна мучительная беседа с Теренцией.

Вечером того дня, когда мы вернулись из Сиракуз, они ужинали вдвоем. Позже Цицерон вызвал меня и велел принести черновик его вступительной речи. Эта речь, еще не завершенная,

уже была достаточно велика, и, чтобы произнести ее, понадобилось бы не менее двух дней. Когда я вошел, Теренция с напряженным видом возлежала у стола и раздраженно ковыряла вилкой в тарелке. Цицерон, как я заметил, даже не притронулся к еде. Я передал ему свитки и поспешно удалился. Позже я слышал, как он расхаживает по триклинию, зачитывая отрывки из речи, и понял, что Теренция заставила мужа произнести ее, прежде чем решить, давать деньги или нет. Судя по всему, услышанное удовлетворило ее: на следующее утро Филотим сообщил, что нам ссудили еще пятьдесят тысяч. Однако мне кажется, что Цицерон испытал унижение, и, по-моему, именно с этого времени деньги стали значить для него все больше и больше, хотя раньше он почти всегда проявлял к ним равнодушие.

Я чувствую, что не в меру затянул свое повествование и надо ускориться, иначе случится одно из двух: либо я умру, не доведя работу до конца, либо ты, читатель, отбросишь эту книгу в сторону. Итак, позволь мне кратко изложить события следующих четырех месяцев.

Цицерону приходилось работать еще усерднее, нежели обычно. По утрам он первым делом принимал клиентов. Это занимало немало времени – за время нашего отсутствия накопилось много судебных дел, которые требовали участия Цицерона. Вслед за этим он отправлялся либо в суд, либо в сенат, в зависимости от того, где было заседание. В сенате Цицерон старался быть возможно менее заметным, чтобы не привлечь к себе внимание Помпея Великого. Он боялся, что Помпей попросит его прекратить преследование Верреса, или не идти в эдилы, или – того хуже – предложит свою помощь. В последнем случае Цицерон оказался бы обязанным самому могущественному человеку в Риме, а этого он стремился избежать всеми силами.

Только когда суды и сенат закрывались на праздники или каникулы, у Цицерона появлялась возможность с головой уйти в дело Верреса, распределяя улики, оттачивая доводы и натаскивая свидетелей со стороны обвинения, то есть с нашей, их набралось около ста. В большинстве своем они впервые оказались в Риме, и за ними был нужен глаз да глаз. Само собой, это поручили мне. Я превратился в провожатого, а кроме того, бегал за ними по всему городу, следя, чтобы они по простоте душевной не доверялись лазутчикам Верреса, не напивались и не ввязывались в драки. И доложу вам, что опекать тоскующих по дому сицилийцев – это тяжелый труд. Я испытал огромное облегчение, когда в Рим вернулся юный Фруги и пришел мне на помощь. Луций, двоюродный брат Цицерона, оставался на Сицилии и продолжал отправлять в Рим свидетелей и новые улики, но наконец приехал и он. В один из вечеров Цицерон вместе с Луцием и Квинтом вновь посетил представителей триб, пытаясь заручиться их поддержкой на предстоявших выборах.

Гортензий тоже развил бурную деятельность. Суд по вымогательствам завяз в бесконечных речах послушного ему Дазиана. Проделкам Гортензия не было конца. Так, он вдруг стал проявлять невиданное дружелюбие по отношению к Цицерону, сердечно приветствуя его, если оба оказывались рядом в сенакуле, дожидаясь кворума. Поначалу это сбивало Цицерона с толку, но затем выяснилось: Гортензий и его сторонники распустили слух, что Цицерон согласился «похоронить» дело Верреса за огромную взятку. Увы, многие в это поверили. Нелепые слухи дошли до наших свидетелей, для которых мы сняли помещения по всему городу, и те пришли в неопишуемый ужас, переполошившись, как цыплята в курятнике при виде лисы. Нам с Цицероном пришлось навестить и успокоить каждого из них. Когда в следующий раз Гортензий подошел к Цицерону, тот повернулся к нему спиной. Гортензий улыбнулся, пожал плечами и отошел. Ему-то что! С его точки зрения, все шло своим чередом.

Пожалуй, нужно рассказать немного подробнее об этом необычайном человеке – Короле Судов, как называли его сторонники, чье соперничество с Цицероном озаряло римскую Фемиду на протяжении тридцати лет.

Залогом успехов Гортензия стала его память. Он никогда не использовал записи и легко мог выучить наизусть четырехчасовую речь, не зубря ее ночь напролет. Он обладал удивительной способностью с лету запоминать все, что говорили другие – во время выступлений и перекрестных допросов, и безжалостно хлестал противников их собственными словами. Появляясь в суде, он напоминал гладиатора, который орудует одновременно мечом, трезубцем, сетью и щитом.

В то лето ему исполнилось сорок четыре года. Вместе с женой, а также сыном и дочерью он жил в изысканном доме на Палатинском холме, по соседству со своим зятем Катулом. Пожалуй, слово «изысканный» точно определяет все, что было связано с Гортенziem. Изысканные манеры, изысканная одежда, прически, благовония, неодолимая тяга к изысканным вещам. Он никогда никому не сказал грубого слова, но обладал одним пороком – всепоглощающей жадностью, которая со временем разрослась до невероятных размеров. Дворец на берегу Неаполитанского залива, частный зверинец, винный погреб с десятью тысячами бочонков лучшего фалернского, плавающие в пруду угри, украшенные драгоценностями деревья, которые поливали вином. Гортензий стал первым, кто подал на стол зажаренных павлинов. Расточительный образ жизни заставил Гортензия вступить в союз с Верресом, который осыпал его дождем подарков из числа награбленного (самым дорогим был сфинкс, вырезанный из цельного куска слоновой кости) и оплатил его расходы на консульские выборы.

Выборы должны были состояться в двадцать седьмой день июля, а в двадцать третий день того же месяца суд по вымогательствам снял с бывшего наместника Ахайи все обвинения. Цицерон оставил работу над речью и поспешил на форум, чтобы выслушать решение суда. Объявив его, Глабрион заявил, что слушания по делу Верреса начнутся в третий день августа.

– Надеюсь, выступления будут менее многословными, чем во время предыдущего разбирательства, – добавил претор, обращаясь к Гортензию. Тот лишь улыбнулся.

Осталось определить состав суда, что и было сделано на следующий день. По закону он должен был состоять из тридцати двух сенаторов, избранных с помощью жребия, причем защита и обвинение имели право отвести по шесть кандидатур. Воспользовавшись этим правом, Цицерон отвел шестерых самых рьяных своих противников, и все равно ему предстояло иметь дело с крайне враждебной к нему коллегией. Там были – куда же без него! – Катул, взятый им под крыло Катилина и один из старейшин сената, Сервилий Ватия Исаврик. В числе судей оказался даже Марк Метелл. Помимо этих непримиримых аристократов, надо было вычеркнуть из списка таких прожженных циников, как Эмилий Альба, Марк Лукреций и Антоний Гибрида: они неизбежно продались бы тому, кто больше заплатит, а Веррес мог дать сколько угодно.

Я впервые понял как следует, почему человека иногда уподобляют кошке, съевшей чужую сметану, когда увидел лицо Гортензия в день приведения судей к присяге. Сходство было полным. Соперник Цицерона уверился в своей победе на консульских выборах и в оправдании Верреса.

Последовавшие за этим дни выдались для Цицерона самыми тревожными. В день выборов он пребывал в таком глубоком унынии, что насилу заставил себя отправиться на Марсово поле и проголосовать. Что делать – приходилось показывать, что он всю участвует в государственных делах.

В исходе голосования никто не сомневался. За спинами Гортензия и Квинта Метелла стоял Веррес со своим золотом, их поддерживали аристократы, а также сторонники Помпея и Красса. Но, несмотря на все это, город был насыщен духом состязания. Провозглашая начало выборов, прозвучали трубы, на холме Яникул взвился красный флаг, и люди устремились к урнам для голосования под ярким утренним солнцем. Кандидаты шествовали во главе своих сторонников. Торговцы выставили вдоль дорог лотки, где лежали колбаски и кувшины с вином, игральные кости и зонтики от солнца – все необходимое, чтобы весело провести день.

Помпей, старший консул, по древнему обычаю, стоял у входа в палатку ответственного за проведение выборов, рядом с ним расположился авгур. После того как кандидаты на должности консулов и преторов – примерно два десятка сенаторов в белых тогах – выстроились в линию, он поднялся на возвышение и произнес обращение к богам. Вскоре началось голосование. Теперь горожанам не оставалось ничего иного, как обмениваться сплетнями, дожидаясь своей очереди.

Так было заведено в старой республике: все мужчины голосовали по центуриям – как в древние времена, когда солдаты избирали центурионов. Сегодня этот ритуал утратил всякий смысл, и сложно передать, насколько трогательно это выглядело в те времена – даже для такого бесправного раба, каким был я. В нем таилось нечто прекрасное: порыв духа, родившийся полтысячелетия назад в сердцах людей из упрямого, неукротимого племени, поселившегося среди скал и болот Семихолмия. Порыв, вызванный стремлением вырваться из темноты угнетения к свету достоинства и свободы, – то, что мы утратили сегодня. Конечно же, это не была чистая демократия по Аристотелю. Старшинство центурий (а их тогда насчитывалось сто девяносто три) определялось имущественным положением входивших в них граждан, и богатые всегда голосовали первыми. Это было первым и очень весомым преимуществом, поскольку остальные центурии обычно следовали примеру первых. Вторым преимуществом была малочисленность этих центурий, бедняцкие же были переполнены людьми – в точности как трущобы Субуры. Поэтому голос богача имел больше веса. Но все же это была свобода, и никто из присутствовавших в тот день на Марсовом поле даже помыслить не мог, что однажды всего этого не станет.

Центурия Цицерона принадлежала к числу двенадцати, куда входили исключительно всадники. Их пригласили голосовать поздним утром, когда уже становилось жарко. Цицерон вместе с товарищами по центурии двинулся по направлению к огороженному канатами участку для голосования, прокладывая путь через толпу. Он вел себя как обычно: перемолвился с одним и другим, похлопал по плечу третьего. Затем все выстроились в линию и прошли вдоль стола, за которым сидели писцы, заносившие на табличку имя каждого избирателя и вручавшие ему жетон для голосования.

Именно в этом месте избиратели обычно подвергались нажиму: здесь собирались сторонники различных кандидатов и шепотом угрожали проходившим мимо избирателям либо пытались подкупить их. Но в тот день все было спокойно. Я видел, как Цицерон прошел по узким деревянным мосткам и скрылся за деревянными щитами, ограждавшими место для голосования. Появившись с другой стороны, он прошел вдоль ряда кандидатов и их друзей, которые выстроились вдоль навеса, задержался на минуту, чтобы перекинуться парой слов с Паликаном – тем самым грубияном, который раньше был трибуном, а теперь притяжал на должность претора, – и вышел, не удостоив Гортензия и Метелла даже взглядом.

Центурия Цицерона, как всегда, поддерживала кандидатов, выдвинутых властями: Гортензия и Квинта Метелла – на консульских выборах, Марка Метелла и Паликана – на преторских. Поэтому их победа была лишь вопросом времени, оставалось дожидаться, когда будет собрано необходимое большинство голосов. Беднота знала, что не сможет повлиять на исход голосования, но таковы были преимущества, предоставленные знати. Неимущие стояли полдня на солнцепеке, ожидая, когда они смогут подойти к урнам.

Мы с Цицероном ходили взад-вперед вдоль рядов обездоленных, чтобы он смог заручиться дополнительной поддержкой на выборах эдилов. Я поразился тому, как много он знает о простых людях: имена самих избирателей и их жен, число детей, род занятий. Надо заметить, что он не пользовался моими подкасками.

В одиннадцатом часу, когда солнце медленно двигалось в сторону Яникула, подсчет голосов завершился, и Помпей объявил победителей. Гортензий становился первым консулом, Квинт Метелл – вторым, Марк Метелл – претором. Вокруг победителей сгрудились их ликующие приверженцы, и в первом ряду сверкнула рыжая голова Гая Верреса.

– Кукловод пришел, чтобы принять благодарность от своих марионеток, – пробормотал Цицерон. И действительно, аристократы жали ему руку и похлопывали его по спине так почтительно, будто это он, Веррес, победил на выборах. Один из них, бывший консул Гай Скрибоний Курион, дружески обнял Верреса и громко, чтобы все вокруг услышали, сказал:

– Хочу заверить тебя, что после сегодняшнего голосования ты будешь оправдан!

В государственных делах всегда так: люди сбиваются в стадо, подобно овцам, и спешат в стан победителя, готовые во всем потворствовать ему. Вот и в тот день со всех сторон слышалось: с Цицероном покончено, Цицерон окончательно сокрушен, аристократы снова в силе, и никакой суд не вынесет обвинительный приговор Гаю Верресу. Известный остряк Эмилий Альба, входивший в число тех, кто должен был судить Верреса, заявлял всем и каждому, что мздоимцам теперь будут предлагать мало и он не сможет продаться больше чем за три тысячи.

Отныне всех заботили только выборы эдилов. Цицерон очень скоро обнаружил, что Гортензий поработал и тут. Некто Ранункул, зарабатывавший на жизнь тем, что выступал в качестве доверенного лица на многих выборах, и весьма расположенный к Цицерону (впоследствии тот нанял его), как-то предупредил сенатора о том, что Веррес созвал срочное ночное совещание, вызвав главных мастеров подкупа, и пообещал заплатить по тысяче каждому, кто убедит свою трибу не голосовать за Цицерона.

Это известие не на шутку встревожило Квинта и Цицерона, однако худшее было впереди. Через несколько дней, накануне очередных выборов, Красса пригласили на заседание сената: ему предстояло наблюдать за тем, как вновь избранные преторы тянут жребий, определяя, кто в каком суде будет председательствовать с января, после вступления в должность. Меня там не было, но Цицерон отправился туда. Вернулся он бледный как мел, едва волоча ноги. Случилось невероятное: оказалось, что Марк Метелл, один из судей по делу Верреса, еще и возглавит суд по требованиям!

Такой поворот событий не мог привидеться Цицерону даже в самом страшном сне. Он был настолько потрясен, что у него пропал голос.

– Слышал бы ты, какой гвалт стоял в сенате, – шептал он Квинту. – Красс наверняка подтасовал итоги жеребьевки. В этом уверены чуть ли не все, но никто не знает, как именно он это сделал. Этот человек не успокоится до тех пор, пока я не буду сломлен, не потеряю состояние и не отправлюсь в изгнание.

После этого Цицерон шаркающей походкой прошел в комнату для занятий и обессиленно рухнул на стул. Тот третий день августа выдался жарким. В комнате негде было повернуться от материалов по делу Верреса – на жаре пылились записи откупщиков, свидетельские показания и тому подобное. Это была лишь малая часть собранного нами: остальное мы сложили в коробки, лежавшие в погребе. Речь Цицерона все увеличивалась, разбухая, подобно опухоли, весь его стол был завален черновиками. Я уже давно перестал следить за ее составлением, и лишь один Цицерон, наверное, знал, как она будет выглядеть. Все содержалось в его голове, которую он сейчас растирал кончиками пальцев.

Каркающим голосом Цицерон попросил меня принести стакан воды. Я повернулся, собираясь отправиться на кухню, но в следующий миг услышал позади себя натужный вздох и затем громкий стук. Обернувшись, я увидел, что хозяин потерял сознание и ударился головой о стол. Мы с Квинтом кинулись к нему, взяли его за обе руки и посадили прямо. Лицо Цицерона стало серым, из носа стекала ярко-алая струйка крови, рот наполовину открылся.

Квинт пришел в смятение.

– Приведи Теренцию! – крикнул он мне. – Скорее!

Я кинулся наверх и сообщил ей, что хозяину плохо. Теренция отправилась со мной и сразу же принялась распоряжаться, хладнокровно и властно. Цицерон уже пришел в сознание и сидел, свесив голову к коленям. Теренция присела рядом с ним, велела принести воды, а затем вынула из рукава веер и стала энергично махать им перед лицом мужа. Квинт, по-преж-

нему ломавший руки, в срочном порядке отправил двух младших письмоводителей на поиски любых лекарей, которых удастся отыскать по соседству. Вскоре оба вернулись, каждый – с греческим эскулапом. Греки немедленно затеяли перебранку, споря о том, что предпочтительнее – очистить больному желудок или отворить кровь. Теренция незамедлительно отправила врачей восвояси. Она также отказалась укладывать супруга в постель, предупредив Квинта: если весть о болезни Цицерона просочится за пределы этого дома, она немедленно разнесется по городу, и тогда у римлян отпадут последние сомнения в том, что «с Цицероном покончено».

Ухватив мужа под руку, Теренция помогла ему подняться на ноги и повела в атриум, где воздух был свежее. Мы с Квинтом последовали за ними.

– Ты еще не проиграл! – сурово выговаривала она мужу. – Раз заполучил дело, доведи его до конца!

Услышав это, Квинт взорвался:

– Все это замечательно, Теренция, но ты не понимаешь, что произошло!

После этого он поведал ей о назначении Метелла главой суда по вымогательствам и объяснил, какими последствиями это чревато. Когда в январе Метелл вступит в должность, надежд на обвинительный приговор не останется, значит слушания должны завершиться до конца декабря. Но это невозможно, ведь Гортензий способен затянуть любое разбирательство. До начала Помпеевых игр останется всего десять дней, когда могут проходить заседания суда, и большая часть этого времени уйдет на речь Цицерона. Как только Цицерон обозначит суть дела, суд уйдет на двухнедельные каникулы, после чего все забудут о великолепных доводах оратора.

– Но хуже другое: все они уже на довольствии у Верреса, – мрачно заключил Квинт.

– Квинт прав, Теренция, – промямлил Цицерон. Он беспомощно хлопал глазами, словно только что проснулся и не мог понять, где находится. – Я не должен участвовать в выборах эдила. Потерпеть поражение – унижительно, но еще унижительнее победить и оказаться не в состоянии выполнять свои обязанности.

– Жалкие слова! – воскликнула Теренция и сердито вырвала свою руку из руки мужа. – Ты воистину не заслуживаешь избрания, если робеешь перед первым же препятствием, даже не попробовав дать бой!

– Дорогая, – умоляющим тоном заговорил Цицерон, прижав ладонь ко лбу, – я с готовностью вступлю в схватку, если ты надумаешь меня относительно того, как можно победить само время! Но как быть, если у меня остается всего десять дней, а затем суд уйдет на каникулы?

Теренция вплотную придвинула голову к лицу мужа и прошептала:

– Тогда укороти свою речь!

После того как Теренция ушла на свою половину, Цицерон, все еще не пришедший в себя, вернулся в комнату для занятий и долго сидел, уставившись в стену невидящим взглядом. Мы оставили его одного. Перед заходом солнца пришел Стений с новостями: Квинт Метелл вызвал к себе всех свидетелей-сицилийцев по делу Верреса и некоторые по глупости откликнулись на приглашение. Один из них рассказал Стению о том, что там происходило. «Я избран консулом, – грохотал он. – Один мой брат правит Сицилией, второй стал претором суда по вымогательствам. Мы уже сделали многое для того, чтобы Верреса не обвинили. И никогда не простим тех, кто пойдет против нас!»

Дословно записав этот рассказ, я пошел к Цицерону, который уже несколько часов сидел неподвижно. Я зачитал ему сообщение Метелла, но он даже не пошевелился.

Я серьезно обеспокоился состоянием рассудка хозяина и собирался позвать его жену или брата, если он в ближайшее время не очнется, вернувшись из своих заоблачных сфер. Вдруг он сказал, глядя в стену перед собой:



– Отправляйся к Помпею и договорись с ним о встрече сегодня вечером. – Я колебался, полагая, что это еще один признак сразившей его болезни, но Цицерон перевел взгляд на меня и повелительно произнес: – Иди!

Дом Помпея стоял недалеко от нашего, в том же части Эсквилинского холма. Солнце только что закатилось, но было еще светло и жарко, а с востока веял слабый ветерок. Самое омерзительное сочетание для летнего дня, поскольку ветер разносил по окрестностям чудовищное зловоние от останков, захороненных за городской стеной. За шестьдесят лет до описываемых событий прямо за Эсквилинскими воротами стали погребать всех, кому не полагались достойные похороны: нищих, собак, кошек, лошадей, ослов, рабов, мертворожденных младенцев. Сюда же выливали помои и сбрасывали домашний мусор. Все это перемешивалось и гнило, наполняя близлежащую местность нестерпимым смрадом, который привлекал стаи голодных чаек. Насколько мне помнится, в тот вечер вонь была особенно сильной. Казалось, она проникает во все поры тела, пропитывает одежду.

Дом Помпея был намного обширнее жилища Цицерона. У дверей стояли двое ликторов, а перед входом толпились зеваки. Вдоль стены, лежа в носилках, отдыхали другие ликторы, числом с дюжину, здесь же расположились носильщики, которые резались в кости. Все говорило о том, что в доме устроили пиршество.

Я передал просьбу Цицерона привратнику. Тот сразу же отправился в дом и через некоторое время вернулся вместе с Паликаном, новоизбранным претором, который вытирал салфеткой жир с подбородка. Он узнал меня, спросил, что мне нужно, и я повторил просьбу Цицерона.

– Пусть Цицерон не дергается, – в обычной для него грубоватой манере проговорил Паликан. – Иди к нему и скажи, что консул примет его немедленно.

Цицерон, должно быть, не сомневался в том, что его просьба будет удовлетворена, – когда я вернулся, он уже успел переодеться и был готов к выходу из дома. В течение всего пути Цицерон хранил молчание и шел, прижимая к носу платок: так он защищался от вонь, доносившейся со стороны Эсквилинских ворот. Он ненавидел все, что было связано со смертью и разложением, а этот смрад мог довести его до сумасшествия.

– Жди меня здесь, – велел он, когда мы дошли до дома Помпея, и я увидел его снова лишь через несколько часов.

День окончательно угас. Густо-лиловый закат сменился темнотой, на черный бархат ночного неба высыпали алмазы звезд. Время от времени двери дома открывались, до меня доносились голоса и острые запахи вареного мяса и рыбы. При иных обстоятельствах они, без сомнения, показались бы мне соблазнительными, но в ту ночь любой запах почему-то напоминал мне о смерти. Как Цицерон заставил себя есть? Ведь теперь мне было ясно, что Помпей уговорил его принять участие в пирушке.

Я ходил перед домом, время от времени опираясь о стену, чтобы отдохнуть, и от нечего делать пытался придумать новые знаки для моей скорописи. Наконец гости Помпея начали расходиться. Многие были так пьяны, что едва держались на ногах. Как и следовало ожидать, в основном это были его земляки-пиценцы: любитель танцев и бывший претор Афраний, Паликан – куда же без него? – и его зять Габиний, известный своим пристрастием к пению и женщинам. Встреча старых друзей, бывших солдат, многие из которых были связаны еще и родственными узами. Цицерон наверняка чувствовал себя не в своей тарелке. Приятным для него собеседником мог быть только аскетичный и образованный Варрон, – по меткому выражению Цицерона, он «показал Помпею, как выглядит зал заседаний сената». Кстати, только он покидал дом трезвым.

Цицерон вышел последним и, не оглядываясь по сторонам, стал подниматься по улице. Я поспешил за ним. Луна светила ярко, и я хорошо видел хозяина. Он все так же зажимал нос

платком – ночью жара ничуть не спала, и зловоние не уменьшилось. Отойдя на изрядное расстояние от дома Помпея, Цицерон остановился на обочине, согнулся пополам, и его вырвало.

Подойдя к нему, я участливым тоном спросил, не нужна ли ему помощь, в ответ на что он помотал головой и проговорил:

– Дело сделано.

Те же слова он повторил Квинту, с нетерпением ожидавшему нашего возвращения.

– Дело сделано, – сказал он ему и ушел к себе.

На рассвете следующего дня нам предстояло снова проделать путь длиной в две мили от нашего дома до Марсова поля, чтобы участвовать во втором туре выборов. Хотя и не столь важные, как консульские и преторские, прошедшие накануне, они были не лишены увлекательности. Гражданам Рима предстояло избрать тридцать четыре должностных лица: двадцать сенаторов, десять трибунов и четырех эдилов. Кандидатов и их сторонников оказалось столько, что управлять ходом выборов было крайне затруднительно. Когда голоса аристократов значили не больше, чем голоса простых людей, могло случиться все что угодно.

В этом дополнительном туре выборов на правах второго консула председательствовал Красс.

– Но я полагаю, что даже ему не удастся подделать итоги этих выборов, – мрачным тоном заметил Цицерон, натягивая свои красные кожаные сандалии.

С самого раннего утра он выглядел озабоченным и раздражительным. Не знаю, о чем они договорились с Помпеем накануне вечером, но это явно не давало ему покоя, и он сорвал злость на одном из рабов – якобы тот плохо вычистил его одежду. Цицерон надел белоснежную тогу, ту же, что и в день первого для него заседания сената, и подпоясался так крепко, словно собирался поднимать тяжести.

Когда привратник распахнул дверь, мы убедились в том, что Квинт и на сей раз поработал на славу: весь путь до урн для голосования мы проделали в сопровождении изрядной толпы. Придя на Марсово поле, мы увидели, что оно забито народом сверх всякого предела – вплоть до берега реки. Десятки тысяч человек пришли в город, чтобы отметить и принять участие в выборах.

Кандидатов на тридцать четыре должности было, наверное, не менее сотни; они величественно прохаживались по широкой площади в сопровождении друзей и единомышленников и пытались завоевать как можно больше сторонников в эти последние минуты. Там и сям мелькала рыжая шевелюра Верреса. Рядом с негодем были его отец, сын и вольноотпущенник Тимархид – тот самый зверь, который когда-то ворвался в наш дом. Они вступали в разговор с самыми разными людьми, суля им щедрую плату, если те проголосуют против Цицерона. При виде всего этого плохое настроение Цицерона как рукой сняло, и он ринулся в предвыборную битву.

Авгур провозгласил, что ауспиции благоприятны, из священного шатра появился Красс, и кандидаты собрались у подножия его трибуны. Следует упомянуть, что среди них был и Юлий Цезарь, впервые попытавшийся избраться в сенат. Он оказался рядом с Цицероном, и между ними завязалась непринужденная беседа. Оба познакомились уже давно; именно по совету Цицерона молодой человек отправился на Родос, чтобы постигать искусство риторики под руководством Аполлония Молона. Сегодня есть множество трудов, посвященных молодости Цезаря, и, прочитав иные из них, можно подумать – он с колыбели считался необычайным человеком. Это не так, и любой, кто увидел бы Цезаря в то утро – в белой тоге, с беспокойством приглаживающего жидкие волосы, – не выделил бы его из толпы породистых молодых кандидатов. Цезаря отличала разве что его бедность. Чтобы принять участие в выборах, ему пришлось влезть в долги. Он занимал очень скромное жилище в Субуре, где обитал вместе с матерью, женой и маленькой дочкой. В то время, полагаю, он был вовсе не блистательным

героем, стоящим на пороге покорения Рима, а обычным тридцатичетырехлетним человеком, который ворочается по ночам от гвалта соседей-бедняков и предается грустным размышлениям о том, что он, отпрыск старейшего в Риме рода, вынужден прозябать в столь жалких условиях. Именно по этой причине его неприязнь к аристократам была куда опаснее цicerоновской. Мой хозяин, достигший всего собственными силами, всего лишь негодовал на них и завидовал им. А Цезарь, считавший себя прямым потомком Венеры, презирал аристократов и считал их препятствием на своем пути.

Впрочем, я опережаю события и впадаю в тот же грех, что и прочие жизнеописатели, пытаюсь разогнать тени прошлого с помощью света будущего. Поэтому скажу лишь одно: в описываемый мной день эти два выдающихся человека, одинаково умные и со схожими взглядами на мир, несмотря на шестилетнюю разницу в возрасте, вели приятную беседу, наслаждаясь теплом утреннего солнца. Тем временем Красс поднялся на трибуну и по обыкновению обратился к богам:

– Да будет исход выборов благополучным для меня, для моих начинаний, для моей должности и для всех граждан Рима!

После этого начались выборы.

Первыми, в соответствии с древним обычаем, к урнам подошли члены Субурской трибы. Цицерон на протяжении нескольких лет старался завоевать их поддержку, но они не проголосовали за него. Это был чувствительный удар для Цицерона, и мы решили, что подручные Верреса на славу поработали с этой трибой, залив ее деньгами. Цицерон, правда, напустил на себя беззаботный вид и пожал плечами. Он знал, что многие влиятельные люди, которым еще предстоит голосовать, будут внимательно следить за его поведением, поэтому было очень важно не выказывать неуверенности.

Потом, одна за другой, проголосовали три остальные городские трибы: Эсквилинская, Коллинская и Палатинская. Первые две поддержали Цицерона, третья – нет, что, впрочем, никого не удивило, поскольку в нее входило большинство римских аристократов. Два на два: не самое обнадеживающее начало. А затем пришел черед тридцати одной сельской трибы: Эмилиейская, Камилийская, Фабианская, Галерийская... Все названия были знакомы мне, поскольку упоминались в записях Цицерона. Три из четырех перечисленных выше отдали голос за моего хозяина. Об этом Цицерону сообщил на ухо Квинт, и тот впервые за все утро немного расслабился. Стало ясно, что деньгами Верреса соблазнились в основном представители городских триб.

Горацийская, Лемонийская, Папирийская, Мененийская... Люди шли и шли к урнам, невзирая на жару и пыль. Сиена сидел на стуле, но неизменно вставал, когда избиратели, опустив в урны свои таблички, проходили мимо него. Его ум лихорадочно работал, извлекая из памяти имена этих людей. Он благодарил каждого за исполнение гражданского долга и передавал благопожелания их родным.

Сергийская, Вольтинская, Пупинская, Ромилийская... Последняя триба подвела Цицерона, и неудивительно – к ней принадлежал сам Веррес. К середине дня Цицерон заручился поддержкой шестнадцати триб, а для победы требовались голоса еще двух. И все же Веррес не сдавался, вместе с сыном и Тимархидом он продолжал метаться между разрозненными кучками людей. В течение часа, который показался нам вечностью, сохранялось шаткое равновесие, стрелки весов могли склониться в любую сторону. Сабатинская и Публийская трибы отказались отдать свои голоса Цицерону, однако затем настал черед Скаптийской, и она поддержала его. И вот он стал победителем – благодаря Фалернской трибе из Северной Кампании.

Оставались еще пять триб, но их голоса уже ничего не могли изменить. Цицерон победил, а Веррес – еще до окончания выборов – втихомолку убрался восвояси: зализывать раны и подсчитывать убытки.

Цезарь, который также одолел своих соперников и стал сенатором, первым поздравил Цицерона и пожал ему руку. В толпе раздавались торжествующие выкрики. Это бесновались приверженцы победителей, те, кто посещает любые выборы с такой же одержимостью, как другие – гонки колесниц. Сам Цицерон, казалось, был немного ошеломлен собственной победой, но ее не мог отрицать никто, даже Красс, которому вскоре предстояло огласить итоги. Вопреки всем препонам и сомнениям, Марк Цицерон стал эдилом Рима.

Огромная толпа (после победы толпа заметно разрастается, против обычного) провожала Цицерона от Марсова поля до его дома, где у порога уже собрались его собственные рабы, рукоплескавшие хозяину. Изменив своим привычкам, показался даже слепой стоик Диодот. Все мы испытывали гордость оттого, что входим в окружение такого выдающегося деятеля. Отсвет его славы падал на каждого, кто обитал под этим кровом. Из атриума, радостно крича, выбежала маленькая Туллия и обхватила руками ноги отца, и даже Теренция вышла из дома и, улыбаясь, обняла мужа. В моей памяти навсегда запечатлелась эта картина: все трое стоят, прижавшись друг к другу, торжествующий оратор положил левую руку на голову дочери, а правой обнимает за плечи счастливую супругу. Природа часто наделяет людей, которые редко улыбаются, удивительным даром: когда на их лицах появляется улыбка, они неузнаваемо меняются. В тот миг я видел, что Теренция, как бы она ни попрекала мужа, по-настоящему рада его победе.

Наконец Цицерон неохотно опустил руки.

– Благодарю всех! – объявил он, обводя взглядом восторженную публику. – Однако сейчас не время для празднеств. Подлинная победа придет тогда, когда Веррес будет повержен. Завтра я наконец открою против него разбирательство, и давайте вместе молиться богам, чтобы нас в недалеком будущем ждал новый, куда более важный успех. А теперь... Чего же вы ждете? – Он улыбнулся и хлопнул в ладоши. – За работу!

Цицерон отправился в комнату для занятий, позвав с собой Квинта и меня. Там он с огромным облегчением опустился в кресло и сбросил сандалии. Впервые за неделю на его лице не отражалась тревога. Я полагал, что Цицерон приступит к самому неотложному делу – сведению воедино разрозненных частей своей знаменитой речи, – однако выяснилось, что я нужен ему для другого. Нам с Сосифеем и Лавреей предстояло вернуться в город, обойти всех свидетелей-сицилийцев, рассказать об одержанной Цицероном победе, удостовериться в том, что они не пали духом, и предупредить их о том, что завтра утром всем следует явиться в суд.

– Все? – изумленно переспросил я. – Все сто человек?

– Вот именно, – кивнул Цицерон. В его голосе вновь звучала прежняя решимость. – И еще кое-что. Вели Эросу нанять дюжину носильщиков – только надежных людей, – чтобы завтра, когда я отправлюсь в суд, они перенесли туда коробки с показаниями и уликами.

– Всех свидетелей, – записывал я, чтобы ничего не забыть, – дюжину носильщиков, все коробки с записями – в суд. Но только учти, хозяин, в таком случае раньше полуночи я не освобожусь, – предупредил я, пытаясь не выказать замешательства.

– Бедный Тирон! Но не беспокойся, у нас будет достаточно времени, чтобы выспаться всласть. После смерти.

– Я беспокоюсь не о своем сне, сенатор, – твердо проговорил я. – Я просто боюсь, что у меня не останется времени, чтобы помочь тебе с речью.

– Мне не понадобится твоя помощь, – с легкой улыбкой сказал Цицерон и поднес указательный палец к губам: «Ни слова».

Я не понял смысл его последнего замечания – вряд ли я бы выдал кому-нибудь его замыслы. После этого я покинул хозяина, пребывая в недоумении.

## IX

И вот в пятый день августа, в консульство Гнея Помпея Великого и Марка Лициния Красса, ровно через год и девять месяцев с того дня, когда в дом Цицерона впервые пришел Стений, началось разбирательство по делу Гая Верреса.

Примите во внимание летнюю жару. Попробуйте представить, скольким жертвам Верреса хотелось видеть, как их обидчик предстанет перед законом. Учтите, что Рим буквально заполонили граждане, съехавшиеся в город, чтобы принять участие в выборах и присутствовать на играх Помпея. Не забудьте и о том, что на слушаниях ожидалась схватка двух величайших ораторов современности («поединок века» – так назвал это впоследствии Цицерон). Сложите все это воедино, и, возможно, вам удастся получить хотя бы приблизительное представление о том, какие настроения царили тем утром в суде по вымогательствам. Ночью на форум стекались сотни людей, стремившихся расположиться как можно удобнее, и к рассвету на площади не осталось ни одного места, где можно было бы укрыться от жары. А еще через два часа не было вообще ни одного свободного места. В портиках и на ступенях храма Кастора, на самом форуме и в окружающих его колоннадах, на крышах и балконах домов, на склонах холмов – везде стояли, сидели, висели люди, не обращая внимания на жуткую давку, в которой было поломано немало ребер и отдавлено еще больше ног.

Мы с Фруги метались посреди этой сумятицы, подобно двум пастушьим псам, помогая свидетелям добраться до суда. То было красочное скопление людей в парадных одеяниях, жертв преступлений, совершенных Верресом на всех ступенях его восхождения к вершинам власти. Жрецы Юноны и Цереры, мистагоги сиракузского святилища Минервы и священные девственницы Дианы, греческие аристократы, ведущие свое происхождение от Кекропса<sup>18</sup> и Эврисфея<sup>19</sup>, отпрыски великих ионийских и тиринфских родов, финикийцы, предки которых были жрецами... Сборище обедневших наследников и их охранников, разорившихся земледельцев, торговцев кукурузой, судовладельцев, отцов, оплакивающих своих проданных в рабство детей, детей, оплакивающих родителей, что сгинули в застенках наместника, людей, посланных их согражданами с предгорий Тавра, с берегов Черного моря, из многих материковых греческих городов, с островов Эгейского моря и, конечно же, из всех городов Сицилии.

Я с головой ушел в хлопоты о том, чтобы каждый свидетель и каждая коробка оказались в нужном месте и под надежной охраной, и не сразу осознал, какое потрясающее представление устроил Цицерон. Взять, к примеру, коробки с уликами и показаниями пострадавших от рук Верреса, собранными старейшинами едва ли не всех сицилийских городов. Только теперь, когда члены суда, прокладывая себе путь сквозь толпу зрителей, стали подниматься на помост и рассаживаться на скамьях, я сообразил, почему Цицерон (до чего же великий ум!) настоял на том, чтобы все коробки и свидетели были доставлены в суд разом. Гора ящиков с уликами против Верреса и стена из людей, готовых свидетельствовать против него, произвели на судей неизгладимое впечатление. Удивленно кряхтели и чесали в затылках даже выдавшие виды Катул и Исаврик. Что касается Глабриона, вышедшего из храма в сопровождении своих ликторов и остановившегося на верхней ступеньке, то он даже отшатнулся, увидев эту картину.

Цицерон до последнего стоял в сторонке, затем протолкался через толпу и поднялся по ступеням к обвинительскому месту. На площади тут же воцарилась тишина. Все затаили дыхание и ждали продолжения. Не обращая внимания на ободряющие крики своих сторонников, Цицерон огляделся и, прикрывая глаза ладонью от яркого солнца, посмотрел на море голов

---

<sup>18</sup> *Кекропс* – легендарный первый царь Аттики.

<sup>19</sup> *Эврисфей* – в греческой мифологии царь Тиринфа и Микен, на службе у которого Геракл совершил свои двенадцать подвигов.

справа и слева от себя. Так, в моем представлении, военачальник осматривает расположение войска и поле битвы, перед тем как отдать приказ о наступлении. Затем он сел, а я расположился позади него, чтобы передавать ему по ходу дела нужные записи.

Судейские уже вынесли курульное кресло Глабриона – знак того, что можно начинать, и действительно, все было готово, вот только отсутствовали Веррес и Гортензий. Цицерон, сохранявший удивительное хладнокровие, подался назад и прошептал мне:

– Может, после всего случившегося он не придет?

Стоило ли говорить, что это была призрачная надежда? Конечно же, Веррес должен был появиться, тем более что Глабрион уже отправил за ним своих ликторов. Просто Гортензий давал понять тем самым, что намерен изо всех сил тянуть время.

Примерно через час под насмешливые рукоплескания в толпе появился новоиспеченный консул, Квинт Метелл, в снежно-белой тоге. Впереди шествовал его младший помощник Сципион Назика, отбивший невесту у Катона, а позади них шел сам Веррес. От жары его лицо покраснело еще больше. Человек, обладающий хоть крупницей совести, не смог бы смотреть на десятки людей, которых он ободрал и оставил без крова, однако эти чудовища лишь наградили свидетелей легкими кивками, словно приветствуя старых знакомых.

Глабрион призвал присутствующих соблюдать порядок. Прежде чем Цицерон успел подняться и начать выступление. Гортензий вскочил со своего места, чтобы сделать заявление. Согласно Корнелиеву закону о вымогательстве, сказал он, обвинитель имеет право выставять не более сорока восьми свидетелей, однако Цицерон притащил вдвое больше народу, явно для того, чтобы запугать ответчика. После этого Гортензий произнес длинную и витиеватую речь, в которой рассказал об истоках и целях суда о вымогательствах. Это заняло целый час. В конце концов Глабрион оборвал его, заметив, что закон ограничивает лишь число свидетелей, выступающих в суде, но в нем ничего не говорится об общем числе свидетелей, показания которых могут быть использованы. Он еще раз предложил Цицерону открыть слушания, но и на этот раз вперед вылез Гортензий с очередным заявлением. Из толпы послышались глумливые выкрики, но Гортензий не отступал и повторял свою уловку всякий раз, когда Цицерон вставал и делал попытку заговорить. Таким образом, первые несколько часов оказались потерянными.

Только когда в середине дня Цицерон – в девятый или десятый раз – устало поднялся со своего места, Гортензий остался сидеть. Цицерон посмотрел на него, выждал несколько секунд, а затем, шуточно изображая удивление, медленно развел руками. В толпе раздался смех. Гортензий изящно помахал ему рукой, словно хотел сказать: «Не стесняйся!» Цицерон ответил сопернику любезным поклоном, вышел вперед и откашлялся.

Трудно было выбрать более неподходящее время для начала великого предприятия. Жара была невыносимой, зрители уже успели устать и беспокоились, Гортензий самодовольно ухмылялся. Оставалось, наверное, не более двух часов до той минуты, когда в работе суда объявят перерыв до вечера. И тем не менее это была, пожалуй, самая судьбоносная минута в истории римского права, а может быть, и всего правоведения.

– Судьи! – проговорил Цицерон, а я склонился над восковой табличкой и начал записывать, ожидая продолжения.

Впервые, готовясь записывать важную речь хозяина, я не имел ни малейшего понятия, что он собирается говорить. Я беспокойно поднял голову – сердце выпрыгивало из груди – и увидел, что он покинул свое место и идет вперед. Я думал, что Цицерон остановится перед Верресом, чтобы бросить слова обвинения ему в лицо, однако он прошел мимо обвиняемого и остановился перед сенаторами.

– Судьи! – повторил он. – Чего всего более надо было желать, что всего более должно было смягчить ненависть к вашему сословию и развеять дурную славу, тяготеющую над судами, то не по решению людей, а, можно сказать, по воле богов даровано и вручено вам в столь ответственное для государства время. Ибо уже установилось гибельное для государства, а для

вас опасное мнение, которое не только в Риме, но и среди чужеземных народов передается из уст в уста, – будто при нынешних судах не может быть осужден – как бы виновен он ни был – ни один человек, располагающий *деньгами*<sup>20</sup>.

На слове «деньги» он сделал отчетливое ударение.

– Ты совершенно прав! – послышался чей-то выкрик.

– Но я привлек к суду такого человека, – продолжил Цицерон, – что вынесенным ему приговором вы сможете восстановить утраченное уважение к судам, вернуть себе расположение римского народа, удовлетворить требования чужеземцев. Гай Веррес расхищал казну, действовал как настоящий разбойник, он стал бичом и губителем Сицилии. Если вы вынесете ему строгий и беспристрастный приговор, то авторитет, которым вы должны обладать, будет упрочен. Однако, если его огромные богатства возьмут верх над добросовестностью и честностью судей, я все-таки кое-чего достигну: люди все равно не поверят в то, что Веррес прав, а я – нет, но при этом все увидят истинное лицо суда, состоящего из римских сенаторов.

Это был отличный упреждающий удар! Огромная толпа одобрительно заворчала, словно порыв ветра пронесся по лесу, и все вдруг стало выглядеть иначе. Потееющие на жаре судьи неуютно заерзали на своих лавках, будто в одночасье превратившись в обвиняемых, а десятки свидетелей, вызванных из разных уголков Средиземноморья, казалось, сделались судьями. До того дня Цицерон еще никогда не обращался с речью к такому огромному скоплению людей, но искусство Молона, которое он постигал на пустынном родосском берегу, сослужило ему хорошую службу; и когда он вновь заговорил, голос его звучал чисто и искренне:

– Позвольте мне рассказать вам о том, какие бесстыдные и безумные замыслы вынашивает сейчас Веррес. Для него очевидно, что я прекрасно подготовился к разбирательству и смогу пригвоздить его к позорному столбу как вора и преступника не только перед этим судом, но и перед всем миром. Он понимает все это, однако так плохо думает обо всех честных людях и считает сенаторские суды настолько испорченными и продажными, что во всеуслышание объявляет: он купил подходящее для себя время суда, купил судей и, чтобы окончательно обезопасить себя, купил даже консульские выборы в пользу двух своих знатных друзей, которые уже пытались запугать моих свидетелей.

Эти слова произвели на толпу ошеломляющее воздействие, и одобрительный гул превратился в рев. Метелл в бешенстве вскочил на ноги, и его примеру последовал даже Гортензий, который при любом неожиданном повороте в судебных слушаниях обычно лишь приподнимал брови. Оба принялись ожесточенно размахивать руками и что-то выкрикивать, обращаясь к Цицерону.

– А что, – повернулся он к ним, – вы полагали, что я стану молчать о таком важном обстоятельстве? Что в минуту такой огромной опасности, грозящей и государству, и моему имени, я стану думать о чем-либо ином, кроме своего долга и достоинства? Скажи на милость, Метелл, что же это такое, как не издевательство над значением суда? Свидетелей, особенно и в первую очередь сицилийцев, робких и угнетенных людей, запугивать не только своим личным влиянием, но и своей консульской должностью и властью двоих преторов! Можно себе представить, что сделал бы ты для невинного человека или для родича, раз ты ради величайшего негодяя и человека, совершенно чужого тебе, изменяешь своему долгу и достоинству и допускаешь, чтобы тем, кто тебя не знает, утверждения Верреса казались правдой! Ведь он заявлял, что ты избран в консулы не по воле рока, как другие члены вашего рода, а лишь благодаря его стараниям и что вскоре у него на побегушках будут оба консула и председатель суда. «Таким образом, – говорил Веррес, – после январских календ, когда сменится претор и весь совет судей, мы вволю и всласть посмеемся и над страшными угрозами обвинителя, и над нетерпеливым ожиданием народа».

---

<sup>20</sup> Здесь и далее данная речь Цицерона дается в переводе В. Горенштейна с некоторыми изменениями.

Здесь мне пришлось перестать записывать, поскольку из-за рева толпы я уже не мог брать ни слова из того, что говорил Цицерон. Метелл и Гортензий, прижав руки рупором к губам, что-то вопили, обращаясь к Цицерону, а Веррес злобно махал руками Глабриону, очевидно требуя положить конец происходящему. Судьи-сенаторы сидели неподвижно, причем мне казалось, что большинство из них мечтали волшебным образом перенестись куда-нибудь подальше от этого места. Публика рвалась к месту заседания суда, и ликторам стоило больших трудов сдерживать ее. Глабриону не сразу удалось восстановить порядок, и только после этого Цицерон – уже более спокойным голосом – продолжил:

– Вот что они измыслили. Сегодня суд сумел начать работу лишь в полдень, и они полагают, что этот день уже не идет в счет. Остается десять дней до игр, которые, согласно своему обету, намерен устроить Помпей Великий. На эти игры уйдет пятнадцать дней, а сразу же за ними последуют Римские игры. Таким образом, наши противники рассчитывают отвечать на то, что будет сказано мной, только дней через сорок. Затем им разными отговорками и уловками будет легко добиться отсрочки суда до игр Победы; за ними тут же следуют Плебейские игры, после которых либо совсем не останется дней для суда, либо если и останется, то очень мало. И после того как обвинение потеряет свою силу и свежесть, дело поступит к претору Марку Метеллу еще неразобранном.

Цицерон сделал короткую паузу, чтобы набрать воздух в легкие, и продолжал далее:

– Что же мне следует делать? Если для произнесения речи я воспользуюсь временем, предоставленным мне по закону, может возникнуть опасность, что обвиняемый выскользнет из моих рук. «Сделай свою речь короче» – вот самый разумный совет, который мне довелось услышать на днях. Однако, судьи, я пойду еще дальше. Я вообще не буду произносить речь.

Не в силах справиться с изумлением, я поднял голову. Цицерон и Гортензий смотрели друг на друга, причем лицо последнего превратилось в застывшую маску. Он напоминал человека, который беззаботно и весело шел через лес – и вдруг с тревогой застыл на месте, услышав, как за его спиной хрустнула ветка.

– Да, Гортензий, – сказал Цицерон, – я не собираюсь играть по твоим правилам и тратить следующие десять дней на обычное долгое выступление. Я не позволю затянуть рассмотрение дела до январских календ, когда ты и Метелл станете консулами, отправите ликторов за моими свидетелями и под страхом расправы заставите их молчать. Я не предоставлю вам, судьи, сорока дней, чтобы вы забыли мои обвинения и окончательно запутались в тенетах Гортензиева красноречия. Я не соглашусь, чтобы приговор выносили тогда, когда множество людей, собравшихся со всей Италии по случаю выборов и игр, покинут Рим. Приступая сразу к допросу свидетелей, я не ввожу никакого новшества. Нововведение с моей стороны будет состоять лишь в том, что я стану допрашивать свидетелей по каждой статье обвинения, с тем чтобы мои противники имели такую же возможность допрашивать свидетелей, приводить свои доводы и выступать с речами.

Я на всю жизнь запомнил – и буду помнить до конца жизни, хотя мне осталось уже немного, – то, как повели себя Гортензий, Веррес, Метелл и Сципион Назика. Разумеется, Гортензий, лишь только пришел в себя, сразу же вскочил на ноги и стал с пеной у рта доказывать, что делать так совершенно незаконно. Глабрион был готов к этому и сразу же оборвал его, заявив, что Цицерон имеет право представлять дело так, как он пожелает, что лично его, Глабриона, уже тошнит от нескончаемой болтовни. Эти замечания претора, без сомнения, являлись домашней заготовкой, и Гортензий, вновь поднявшись с места, обвинил председателя суда в сговоре с обвинением. Глабрион, который всегда отличался вспыльчивым нравом, грубовато посоветовал законнику попридержать язык и пообещал, что в противном случае прикажет ликторам выдворить Гортензия из суда, хотя того и избрали консулом. Взбешенный Гортензий сел на свое место и опустил глаза, меж тем как Цицерон закончил вступительное слово, вновь обратившись к судьям:



– Сегодня на нас устремлены взгляды всего мира. Все хотят знать, в какой мере каждый из нас будет руководствоваться верностью совести и закону. От того, какой приговор вы вынесете подсудимому, зависит приговор, который вынесет вам народ Рима. Дело Верреса окончательно прояснит, способны ли вообще сенаторы вынести обвинительный приговор чрезвычайно богатому и чрезвычайно отягощенному виной человеку. Ведь всем известно, что Веррес известен лишь своими злодеяниями и своим богатством. Поэтому, если он будет оправдан, объяснить это можно будет только одной, причем самой позорной причиной. Советую вам, судьи, во имя вашего собственного блага не допустить, чтобы это произошло. А теперь, – провозгласил Цицерон повернувшись к судьям спиной, – я вызываю своего первого свидетеля – Стения из Ферм!

Я сомневаюсь в том, что к аристократам, входившим в состав суда, – Катулу, Исаврику, Метеллу, Катилине, Лукрецию, Эмилию и другим – кто-нибудь до этого обращался столь вызывающе и непочтительно, особенно выскочка, у которого на стене атриума не висело ни одной посмертной маски его предка. Какую ненависть они, должно быть, испытывали к Цицерону, сидя там и выслушивая все это! Особенно с учетом бешеного возбуждения, охватившего необозримую толпу на форуме, после того как Цицерон сел на свое место. Что до Гортензия, то я чуть ли не сочувствовал ему. Он сделал себе имя благодаря поразительной способности запоминать огромные речи и затем публично произносить их с неподражаемым актерским мастерством. А теперь его словно мул лягул. Ему предстояло произнести за десять дней пять десятков коротких выступлений в ответ на показания каждого свидетеля. Гортензий был не готов к такому повороту, и это стало очевидно со всей безжалостностью, как только свидетельское место занял Стений.

Цицерон вызвал его первым – своеобразный знак уважения, ведь именно Стений невольно положил начало разбирательству. Сицилиец не подвел его. Он долго ждал этого дня и теперь использовал все предоставленные ему возможности. Стений красочно и подробно рассказал о том, как Веррес злоупотребил его гостеприимством, ограбил его дом, выдвинул против него ложные обвинения, наложил на него штраф, приговорил в его отсутствие сначала к публичной порке, а затем и вовсе к смерти и, наконец, подделал записи в суде Сиракуз. Цицерон тут же предоставил эти записи суду для ознакомления.

Но когда Глабрион предложил Гортензию провести перекрестный допрос свидетеля, Плясун согласился с огромной неохотой – и неудивительно. Золотое правило перекрестного допроса гласит: никогда не задавай вопрос, если тебе заранее не известен ответ, а Гортензий понятия не имел, что может сказать Стений. Он долго копался в документах, потом стал шептаться с Верресом и в конце концов медленно подошел к свидетельскому месту. Что еще ему оставалось? Задав раздраженным тоном несколько вопросов с намеком на то, что сицилийцы испокон веку испытывали ненависть к римскому правлению, он спросил, почему Стений решил обратиться напрямик к Цицерону, ведь тот известный подстрекатель простолудинов. Таким образом Гортензий намекнул на то, что целью Стения было поднять смуту, а не добиться справедливости.

– Но сначала я обратился вовсе не к Цицерону, – как всегда, бесхитростно ответил Стений. – Первым защитником, к которому я пришел, был ты.

Этот ответ заставил рассмеяться даже некоторых членов суда.

Гортензий сглотнул комок и сделал вид, что присоединился к общему веселью.

– Вот как? – с непринужденной улыбкой спросил он. – Что-то я тебя не помню.

– Неудивительно, сенатор, ведь ты очень занятой человек. Зато я помню тебя очень хорошо. Ты сказал мне, что представляешь интересы Верреса и что тебя не волнует, сколько добра он у меня украл, поскольку ни один суд не поверит обвинениям сицилийца в адрес римлянина.

Гортензию пришлось ждать, пока утихнет волна презрительного улюлюканья, прокатившаяся по толпе. После этого он мрачно сказал:

– У меня больше нет вопросов к этому свидетелю, – и вернулся на свое место.

Был объявлен перерыв до следующего дня.

Первоначально я собирался описать суд над Гаем Верресом вплоть до мельчайших подробностей, но потом отказался от своего намерения, поскольку не вижу в этом смысла. Цицерон так ловко повернул дело в первый день, что Веррес и его защитники оказались в положении защитников осажденной крепости: окруженные со всех сторон, изо дня в день осыпаемые градом метательных снарядов, в то время как осаждающие уже прорыли под стенами ходы, готовясь ворваться внутрь.

У Верреса со товарищи не было возможности дать нам отпор. Им оставалось лишь надеяться, что они смогут противостоять натиску Цицерона еще девять дней – до начала игр Помпея, – а затем, воспользовавшись передышкой, прийти в себя и придумать что-нибудь новое. Цель же Цицерона была очевидной: сокрушить защиту Верреса, чтобы после представления всех свидетельств и улик даже самые продажные сенаторы-судьи Рима не осмелились бы проголосовать в пользу обвиняемого.

Чтобы достичь этой цели, Цицерон работал, как обычно, упорно и размеренно. Все, кто занимался обвинением, собирались еще до рассвета, и, пока он выполнял телесные упражнения, брился и одевался, я зачитывал показания свидетелей, которых предстояло допросить в этот день, а также оглашал списки улик. После этого Цицерон диктовал мне в общих чертах то, что намеревался сказать, и в течение часа или двух оттачивал свою речь. Тем временем Квинт, Фруги и я принимали меры к тому, чтобы нужные свидетели и документы оказались в суде. После этого мы спускались по склону холма к форуму, куда стекались огромные потоки людей. Ничего удивительного: город не помнил настолько захватывающего зрелища, и главным его героем, безусловно, являлся Цицерон.

Толпа зрителей не уменьшилась ни на второй, ни на третий день, а выступления порой бывали душераздирающими, особенно когда свидетели начинали рыдать, вспоминая обиды и притеснения. Мне запомнились Дион из Гелеса, которого Веррес обобрал на десять тысяч сестерциев, и двое братьев из Агирия, которых лишили четырехтысячного наследства. Таких случаев было значительно больше, но Луций Метелл запретил дюжине свидетелей покинуть остров. Среди них был и Гераклий из Сиракуз. Подобное беззаконие Цицерон, разумеется, не мог оставить без внимания и использовал его себе во благо.

– Так называемые «права» наших союзников, – гремел он, – даже не предусматривают возможность пожаловаться на свои страдания!

Любопытно, что все это время Гортензий сидел так, словно набрал в рот воды. После того как Цицерон заканчивал допрос очередного свидетеля, Глабрион предлагал Королю Судов провести перекрестный допрос, однако «его величество» либо царственно качал головой, либо отделялся словами: «Вопросов к свидетелю нет». На четвертый день Веррес, сказавшись больным, через своего представителя попросил у претора дозволения не являться на суд, но Глабрион не разрешил, заявив, что, если надо, подсудимого принесут вместе с кроватью.

На следующий день с Сицилии вернулся двоюродный брат Цицерона Луций, которые успешно выполнил данное ему поручение. Вернувшись домой после суда и застав там родственника, Цицерон обрадовался сверх всякой меры и со слезами на глазах обнял его. Без помощи Луция, обеспечившего доставку в Рим свидетелей и документов, Цицерон не обладал бы и половиной той силы, которая располагал теперь. Но семь месяцев, проведенных на острове, явно измучили Луция, который и без того не отличался завидным здоровьем. Он сильно исхудал, его донимал мучительный кашель. Но его решимость сделать так, чтобы Веррес получил по заслугам, нисколько не поколебалась. Из-за этого Луций не успел к началу разбиратель-

ства: сделав на обратном пути небольшой крюк, он задержался в Путеолах. Там Луций запасся показаниями еще двух важных свидетелей – римского всадника Гая Нумитория, который присутствовал при распятии Гавия в Мессане, и его друга, торговца по имени Марк Анний, находившегося в Сиракузах, когда там по несправедному приговору суда умертвили Геренния.

– И где же эти люди? – нетерпеливо полюбопытствовал Цицерон.

– Здесь, – ответил Луций, – в таблинуме. Но должен сразу предупредить: они не хотят давать показания.

Цицерон поспешил в таблинум и обнаружил там двух внушительного вида мужчин средних лет. «Прекрасные, на мой взгляд, свидетели, – описывал он их позже. – Уважаемые, преуспевающие, здравомыслящие и, главное, не сицилийцы».

Однако, как и предупреждал Луций, эти двое не намеревались выступать с показаниями. Будучи дельцами, они не желали наживать могущественных врагов. Но при всем том они не были дураками и, умея подсчитывать плюсы и минусы, понимали, что выгоднее стать на сторону победителей.

– Знаете ли вы, что сказал Помпей Сулле, когда старик пытался не дать ему триумф по случаю его двадцатилетия? – спросил Цицерон. – Помпей недавно поведал мне это на пирушке. Так вот, он сказал: «Большинство людей связывает надежды с восходящим, а не заходящим солнцем».

Все получилось очень ловко: обронив имя Помпея Великого, Цицерон дал понять, что они на короткой ноге, и одновременно он воззвал к гражданскому чувству своих гостей, намекнув, что те не останутся внакладе. К тому времени, когда все, включая семью Цицерона, отправились ужинать, он сумел заручиться их поддержкой.

– Я знал, что если они пробудут с тобой хотя бы несколько минут, то согласятся на что угодно, – прошептал ему на ухо Луций.

Я был уверен, что Цицерон вызовет их в суд на следующий же день, но он опять оказался умнее меня.

– Представление, – сказал он, – всегда должно заканчиваться в точке высочайшего накала.

Цицерон неуклонно наращивал этот накал, используя каждую новую улику, каждый документ, каждого свидетеля. Он вытаскивал на свет и убедительно доказывал все преступления Верреса – от подкупа, вымогательства и неприкрытого разбоя до жестоких и необычных наказаний.

На восьмой день Цицерон вызвал двух сицилийских моряков – Фалакра из Центурип и Онаса из Сегесты. По их словам, они сумели избежать бичевания и казни лишь благодаря тому, что подкупили Тимархида, вольноотпущенника Верреса. Признаюсь, мне было приятно присутствовать при публичном унижении этого негодяя, с которым я имел несчастье познакомиться раньше. Более того, родственникам несчастных, не сумевших собрать денег для взятки, заявили, что им все равно придется заплатить палачу, иначе тот намеренно сделает смерть их близких долгой и мучительной.

– О, какое страшное и невыносимое горе! – гремел Цицерон. – Родителей заставляли выкупать за деньги не жизнь их детей, а быстроту их смерти!<sup>21</sup>

Я видел, как сенаторы перешептываются и горестно качают головами. Глабрион предложил устроить перекрестный допрос, и Гортензий опять ответил: «Вопросов к свидетелю не имею». В ту ночь до нас впервые дошел слух, что Веррес уже собрал свои пожитки и собирается отправиться в добровольную ссылку.

Так обстояли дела на девятый день, когда мы привели в суд Анния и Нумитория.

---

<sup>21</sup> Перев. В. Горенштейна.

На форуме собралось еще больше народу, чем обычно, поскольку до обещанных Помпеем игр оставалось всего два дня. Веррес опоздал, и было видно, что он сильно пьян. Поднимаясь по ступеням храма к месту, где заседал суд, он споткнулся и упал бы, если бы Гортензий не поддержал его. Толпа ответила взрывом хохота. Проходя мимо Цицерона, Веррес метнул в его сторону злой и одновременно опасливый взгляд налитых кровью глаз – взгляд загнанного в угол хищника.

Цицерон сразу перешел к делу, вызвав очередного свидетеля, Анния. Тот поведал, как однажды утром он проверял грузы в гавани и туда прибежал его друг. Оказалось, что Геренний, с которым они сообща вели дела, теперь закован в цепи на форуме и молит сохранить ему жизнь.

– Что же ты предпринял?

– Разумеется, сразу же кинулся на форум.

– И что ты там увидел?

– Там было около сотни людей, кричавших, что Геренний – римский гражданин и не может быть казнен без надлежащего разбирательства.

– Откуда всем вам было известно, что Геренний – римлянин? Разве он не был менялой из Испании?

– Многие из нас знали его лично. Хотя Геренний действительно держал меняльную лавку в Испании, родился он в семье римлян в Сиракузах, где и вырос.

– Что же ответил Веррес в ответ на ваши мольбы?

– Он приказал немедленно обезглавить Геренния.

По толпе слушателей прокатился мучительный стон.

– Кто совершил казнь?

– Палач Секстий.

– Это было сделано чисто и ловко?

– Нет, боюсь, совсем наоборот.

– Очевидно, – проговорил Цицерон, поворачиваясь к судьям, – Геренний не сумел дать Верресу и его головорезам достаточно большую взятку.

Веррес, который обычно сидел на своем месте молча, ссутулившись, вдруг вскочил – возможно, под воздействием выпитого – и начал кричать, что он никогда не брал такой взятки. Гортензий силой усадил его. Сделав вид, что он ничего не заметил, Цицерон ровным голосом продолжил задавать вопросы свидетелю.

– Довольно странно, не правда ли? – спросил он. – Не менее ста человек утверждают, что Геренний – римский гражданин, а Веррес не соглашается подождать хотя бы час, чтобы выяснить, так ли это. Как ты объясняешь?

– Очень просто, сенатор. Геренний плыл из Испании на корабле, груз которого забрали люди Верреса. Геренния и всех остальных, кто был на корабле, бросили в каменоломни, а затем вытащили оттуда и предали публичной казни, выдав их за пиратов. Веррес не знал, что на самом деле Геренний был вовсе не пришельцем, не чужеземцем, что он был хорошо известен сиракузским римлянам и те, без сомнения, узнают его. А когда Веррес обнаружил свой промах, он уже не мог отпустить Геренния, поскольку тот был хорошо осведомлен о деяниях наместника.

– Прости, но я по-прежнему кое-чего не понимаю, – заговорил Цицерон с притворным простодушием. – Зачем Верресу понадобилось казнить ни в чем не повинного человека, плывшего на торговом корабле, выдавая его за пирата?

– Ему нужно было совершить определенное число публичных казней.

– Для чего?

– Он брал взятки за то, что отпускал на волю настоящих пиратов.

Веррес снова вскочил и принялся кричать, что все сказанное – ложь. Однако теперь Цицерон не оставил его выкрики без внимания и, сделав несколько шагов по направлению к нему, заговорил, обращаясь прямо к Верресу:

– Ты называешь это ложью, чудовище? Ложью?! Тогда почему же в записях твоей тюрьмы говорится, что Геренния освободили? И почему в них же указывается, что пират Гераклеон был казнен, хотя никто на острове не видел, как это случилось? Я отвечу тебе. Потому что ты, римский наместник, отвечающий за безопасность морей, брал взятки от самих пиратов!

– Цицерон! Великий законник, который считает, что он знает все на свете! – с горечью заговорил Веррес слегка заплетающимся языком. – Но на самом деле ты знаешь далеко не все, и я могу доказать это! Гераклеон сейчас здесь, в Риме, в частной тюрьме моего дома, и он сможет подтвердить, что все твои измышления лживы!

Трудно поверить в то, что человек способен творить подобные глупости, но так все и было, мои записи совершенно точны. В суде воцарился кромешный ад, и посреди этой вакханалии Цицерон, обращаясь к Глабриону, потребовал, чтобы ликторы – «ради общественной безопасности» – сей же час отправились в дом Верреса, забрали оттуда знаменитого пирата и заключили под стражу.

Когда это было сделано, Цицерон вызвал второго за день свидетеля, Гая Нумитория. Откровенно говоря, мне тогда показалось, что Цицерон слишком торопится и он мог бы извлечь больше пользы из того обстоятельства, что главарь пиратов нашел убежище в доме Верреса. Однако великий законник почувствовал, что настало время добить жертву, и впервые с тех пор, как мы высадились на берег Сицилии, он заполучил подходящий для этого момент.

Нумиторий поклялся говорить только правду и занял свидетельское место, после чего Цицерон быстро заставил его рассказать все самое необходимое о Публии Гавии: о том, что этот торговец плыл из Испании на корабле, который подвергся разграблению, что он вместе со своими спутниками был брошен в каменоломни и сумел бежать, что после этого он добрался до Мессаны и собирался сесть на корабль, отправлявшийся на материк, но был схвачен и передан Верресу, когда тот приехал в город. На площади стояла звенящая тишина.

– Расскажи суду о том, что случилось потом.

– Веррес устроил судилище на форуме Мессаны, – продолжил свой рассказ Нумиторий, – а затем приказал привести Гавия. Он объявил во всеуслышание, что этот человек – соглядатай и что для него есть только один справедливый приговор. Веррес приказал водрузить крест на берегу, обращенном к Италии, чтобы несчастный, умирая, мог смотреть на нее. Потом Гавия раздели донага, подвергли порке на глазах у всех нас, пытали раскаленным железом, а под конец распяли.

– Говорил ли что-нибудь Гавий?

– Только с самого начала, когда пытался доказать, что на него возводят напраслину, что он не соглядатай. Гавий говорил, что он – римский гражданин из муниципия Консы, что он служил под началом Луция Реция, известнейшего римского всадника, который ведет дела в Панорме и может подтвердить это.

– Что ответил на это Веррес?

– Заявил, что все это ложь, и приказал приступить к экзекуции.

– Можешь ли ты описать, как встретил Гавий свою ужасную смерть?

– Мужественно, сенатор.

– Как настоящий римлянин?

– Как настоящий римлянин.

– Он кричал? – спросил Цицерон, и я сразу понял, куда он клонит.

– Только когда его хлестали розгами, а он смотрел на железо, которое раскалялось в огне.

– И какими были его слова?

– Каждый раз после того, как на его спину опускались розги, он выкрикивал: «Я – римский гражданин!»

– Не мог бы ты повторить это громче, во всеуслышание?

– Он кричал: «Я – римский гражданин!»

– Я хочу убедиться в том, что правильно понял тебя, – проговорил Цицерон. – Это происходило вот так? Получив очередной удар, – Цицерон сжал кулаки, поднял их над головой и дернулся вперед, словно его хлестнули по спине, – он произносит, крепко сжав зубы: «Я – римский гражданин!» Еще один удар, – Цицерон снова дернулся, не меняя положения тела, – и снова: «Я – римский гражданин!» Удар. «Я – римский гражданин...»

Невозможно передать словами, как подействовала эта сцена, разыгранная Цицероном, на тех, кто ее видел. Слова, неоднократно повторенные им, теперь повторяли тысячи людей, собравшиеся на площади. Все словно воочию увидели, как вершилась эта чудовищная несправедливость, это издевательство над законом. Некоторые мужчины и женщины (думаю, это были друзья и родственники Гавия) заплакали, и я ощутил, как от собравшихся на форуме поднимается волна ненависти.

Веррес сбросил с плеча руку Гортензия, который пытался удержать его, встал с места и проревел:

– Он был гнусным соглядатаем! Соглядатаем! И говорил все это лишь для того, чтобы отсрочить справедливое наказание!

– Но он говорил это! – отчеканил Цицерон, делая ударение на каждом слове и наступая на Верреса. – Ты признаешь, что он это говорил! Я обвиняю тебя на основании твоих собственных слов: этот человек восклицал, что он – римский гражданин, а ты ничего не сделал! Услышав это, ты ничуть не поколебался в своем намерении распять его и не отложил хотя бы ненадолго эту жесточайшую и позорнейшую казнь. Если бы тебя, Веррес, схватили в Персии или в далекой Индии и повели на казнь, что стал бы ты кричать, как не то, что ты – римский гражданин? Простые, незаметные люди незнатного происхождения, путешествуя по морям и оказываясь даже в самых диких местностях, всегда могли быть уверены в том, что слова «Я – римский гражданин» станут для них защитой и оберегут от любой опасности. А что же Гавий, которого ты торопился лишить жизни? Почему это не помогло отсрочить его смерть хотя бы на день или час, время, за которое можно было бы проверить истинность его слов? Да потому, что на судейском месте сидел ты! Дело не в одном Гавии – несчастном, которого ты безвинно обрек на мучительную смерть. Ты распял на кресте непреложное правило: римский гражданин свободен!

Рев, последовавший после окончания этой тирады Цицерона, был поистине громоподобным. Нарастая в течение нескольких секунд, он вскоре перешел в дикую какофонию стонов, проклятий и воя. Боковым зрением я уловил, что кто-то направляется в нашу сторону. Многие навесы, служившие укрытием от солнца, стали крениться и заваливаться под звук рвущейся ткани. С балкона прямо на голову стоявших внизу людей свалился какой-то мужчина. Плышали крики боли. К ступеням храма стали рваться люди с явным намерением устроить самоубийство. Веррес и Гортензий вскочили на ноги с такой поспешностью, что опрокинули скамью, на которой сидели. Было слышно, как кричит Глабрион, объявляя перерыв, а затем он и его ликторы быстро поднялись по ступеням и скрылись в неприкосновенном чреве святилища. Обвиняемый вместе со своим досточтимым защитником опрометью кинулся следом за ними. Их примеру последовали и некоторые сенаторы, среди которых, правда, не было Катула. Я отчетливо помню, как этот человек, незыблемый, точно скала, стоял на ступенях храма, немигающим взглядом рассматривая бурлившее вокруг него людское море. Тяжелые бронзовые двери с шумом захлопнулись.

Порядок пришлось восстанавливать Цицерону. Он взобрался на скамью, возле которой стоял, и стал размахивать руками, призывая народ к спокойствию, однако четверо или пятеро

мужчин грубого вида прорвались к нему, схватили за ноги и подняли в воздух. Меня обуял ужас, я испугался за хозяина больше, чем за самого себя, однако Цицерон лишь распростер руки, будто хотел обнять целый мир. Передавая Цицерона с рук на руки, они поставили его на возвышение, лицом к форуму, а затем небо над Римом едва не раскололось от бешеных рукоплесканий, и вся площадь, как один человек, принялась выкликать нараспев:

– Ци-це-рон! Ци-це-рон! Ци-це-рон!

Таким был конец Гая Верреса. Мы так и не узнали, что происходило за дверями храма после того, как Глабрион прервал заседание суда. Как предположил Цицерон, Гортензий и Метелл дали понять своему клиенту, что дальнейшая защита не имеет смысла. Под угрозой оказалось их собственное будущее. Им оставалось только отмежеваться от Верреса, пока репутация сената не пострадала еще больше. Уже не имело значения, насколько щедрыми были его взятки членам суда; после сцен, свидетелями которых они стали, никто не осмелился бы вступить за него.

Как бы то ни было, Веррес осмелился покинуть храм только после того, как опустились сумерки и разошелся народ, а ночью он бежал из города – позорно и, по утверждению некоторых, в женском платье. Он направлялся в порт Массилия, где изгнанники, угощаясь жареной кефалью, рассказывали друг другу о своих злоключениях, представляя, что они находятся на берегу Неаполитанского залива.

Теперь нам осталось лишь одно – определить размер штрафа, который должен уплатить Веррес. Для этого Цицерон, вернувшись домой, созвал совет. Никто не знал в точности, сколько добра нагребил Веррес за годы, проведенные на Сицилии. Я слышал разговоры о сорока миллионах сестерциев, однако склонный к крайностям Луций настаивал на том, что у мерзавца нужно отобрать все до последней плошки. Квинт полагал, что довольно будет десяти миллионов, а Цицерон хранил загадочное молчание. Это было странно для человека, одержавшего победу огромной важности, но он сидел в комнате для занятий, задумчиво вертя в пальцах металлический стилус.

В середине дня гонец доставил письмо Гортензия: тот от имени Верреса предлагал возмещение в один миллион сестерциев. Луций вышел из себя и назвал предложение оскорбительным, а Цицерон без колебаний прогнал гонца. Часом позже тот вернулся с «последним словом» Гортензия: полтора миллиона. На этот раз ответ Цицерона был более пространным. Приказав мне записывать, он принялся диктовать:

«Марк Туллий Цицерон приветствует Квинта Гортензия Гортала! Учитывая смехотворно малую сумму, предлагаемую твоим клиентом в качестве возмещения за совершенные им злодеяния, я намерен просить Глабриона разрешить мне завтра воспользоваться своим правом выступления в суде по этому и другим вопросам».

– Поглядим, захотят ли Гортензий и его друзья-аристократы, чтобы их снова ткнули носами в их собственные испражнения! – воскликнул Цицерон, обращаясь ко мне.

Я запечатал письмо и отнес его гонцу, а когда вернулся, Цицерон начал диктовать речь, которую собирался произнести на следующий день. В ней он собирался бичевать аристократов, бесстыдно торгующих громкими именами, своими и своих предков, ради защиты негодяев вроде Верреса.

– Нам известно, с какой ненавистью и неприязнью смотрит кое-кто из «благородных» на «выскочек», деятельных и даровитых. Стоит нам закрыть глаза хоть на мгновение, как мы окажемся в какой-нибудь хитроумной ловушке. Стоит нам дать хоть малейший повод для подозрений или обвинений нас в недостойном поведении, как мы столкнемся с ними. Поэтому мы ни на мгновение не должны ослаблять бдительность, для нас нет ни отдыха, ни праздников. У нас есть враги – так встретим их лицом к лицу! У нас есть задачи – так решим их с достоин-

ством, не забывая о том, что враг, объявивший себя таковым и действующий открыто, не столь опасен, как недоброжелатель, который молчит и скрывается!

– Считай, что ты заполучил еще тысячу голосов, – пробормотал Квинт.

День тянулся долго, ответа от Гортензия все не было, как вдруг перед закатом с улицы послышался какой-то шум. Вскоре в комнату для занятий ворвался едва дышащий Эрос и сообщил, что в прихожей нашего дома стоит сам Помпей Великий. Вот это новость! Цицерон и его брат ошалело переглянулись, и тут же снизу послышался знакомый властный голос.

– Ну и где он? – пролаял Помпей. – Где величайший оратор современности?

Цицерон еле слышно выругался, а затем поспешил в таблинум. Квинт, Луций и я последовали за ним – как раз вовремя, чтобы видеть, как из атриума появляется первый консул. Из-за скромных размеров он выглядел еще величественнее, чем обычно.

– Ага, вот и он! – прогрохотал Помпей. – Вот он, человек, встретиться с которым теперь каждый почитает за честь!

Он шагнул к Цицерону и заключил его в свои медвежьи объятия. Мы стояли позади Цицерона, и я видел, как хитрые серые глаза консула ощупывают каждого из нас. Наконец Помпей отпустил слегка придушенного хозяина дома и пожелал, чтобы ему представили каждого из нас, включая меня. И теперь я, обычный семейный раб из Арпина, могу с гордостью сказать: когда я был тридцатичетырехлетним, мне пожимали руку оба правящих консула Рима.

Помпей оставил своих телохранителей на улице в знак особого доверия и почета. Цицерон, всегда державший себя безупречно, послал Эроса к Теренции с вестью о том, что к нам пожаловал Помпей Великий, а мне велел налить всем вина.

– Ну, если только глоточек, – проговорил Помпей, беря кубок своей огромной ручищей. – Мы отправляемся на пирушку и заглянули буквально на минуту. Не могли же мы пройти мимо нашего знаменитого соседа и не засвидетельствовать ему свое почтение! В эти дни мы следили за твоими успехами, Цицерон. О них нам докладывал наш добрый друг Глабрион. Просто великолепно! Пьем за твое здоровье! – Помпей поднес кубок ко рту, но я заметил, что он даже не пригубил вина. – А теперь, когда это великое предприятие увенчалось успехом, мы надеемся, что сможем видеть тебя чаще, чем прежде. Тем более что вскоре я стану рядовым гражданином.

– Для меня это будет большой честью, – с легким поклоном ответил Цицерон.

– Чем, к примеру, ты собираешься заняться послезавтра?

– Послезавтра открываются твои игры, и ты наверняка будешь занят. Может, в другой день...

– Чепуха! Я приглашаю тебя увидеть открытие с моей личной скамьи. Тебе не повредит лишний раз показаться в моем обществе. Пусть все видят нашу дружбу! – великодушно добавил Помпей. – Ты ведь любишь игры?

Цицерон несколько секунд колебался, выбирая между правдой и ложью. Однако выбора у него, по сути, не было.

– Я обожаю игры, – солгал он. – Для меня нет более приятного времяпрепровождения.

– Великолепно! – просиял Помпей.

Вернулся Эрос, сообщивший о том, что Теренции нездоровится, поэтому она не может спуститься и передает гостю свои извинения.

– Жаль, – сказал Помпей с немного обиженным видом, – но, надеюсь, нам еще представится случай познакомиться. – Он вернул мне кубок с нетронутым вином. – Нам пора. У тебя наверняка много дел. Кстати, – сказал Помпей уже от самого порога, – ты установил штраф для Верреса?

– Еще нет, – ответил Цицерон.

– А сколько предлагают они?

– Полтора миллиона.



– Соглашайся, – проговорил Помпей. – Они уже облиты дерьмом, не заставляй их еще и жрать его. Если разбирательство продолжится, это расшатает государство. Ты понял меня?

Он дружески кивнул Цицерону и вышел. Мы услышали, как открылась входная дверь и начальник телохранителей рывкнул на своих подчиненных, приказывая им взять мечи на изготовку. Дверь захлопнулась, и воцарилась тишина. Все молчали.

– Страшный человек! – сказал наконец Цицерон и, обращаясь ко мне, велел: – Принеси еще вина.

Вернувшись с новым кувшином, я увидел, что Луций хмурится.

– По какому праву он так разговаривает с тобой? Он же сказал, что пришел как частное лицо!

– Как частное лицо? – Цицерон расхохотался. – Как сборщик податей!

– Каких еще податей? Разве ты ему что-то должен? О-о-о... – выдохнул Луций, оборвав себя на полуслове.

Возможно, Луций и был философом, но дураком он точно не был, поэтому в его взгляде сразу же появилось понимание, а на лице – гримаса отвращения.

– Не будь так строг ко мне, Луций, – проговорил Цицерон, хватая его за руку. – У меня не было выбора. Марк Метелл получил по жребию председательство в суде по вымогательствам, судьи были подкуплены, слушания обернулись бы провалом для меня. А я оказался вот на столько, – Цицерон показал кончик мизинца, – от того, чтобы вообще бросить разбирательство. А потом Теренция сказала мне: «Укороти свою речь», – и я увидел выход: обнародовать в суде все документы, предоставить всех свидетелей, причем сделать это за десять дней, чтобы *опозорить* их! Ты улавливаешь мою мысль, Луций? Опозорить их на глазах у всего Рима, чтобы у них не было иного выхода, кроме как признать Верреса виновным!

Цицерон говорил, призвав на помощь все свое красноречие, словно стоял перед судом в лице Луция и непременно должен был убедить его в своей правоте. Он заглядывал в лицо двоюродного брата, пытаясь понять, как он отнесся к сказанному, найти нужные доводы.

– Пойти на поклон к Помпею! – горько проговорил Луций. – И это после того, как он с тобой поступил?

– Послушай, Луций, мне была нужна всего одна вещь, одна крохотная услуга, получив которую я мог бы без колебаний продолжить преследование Верреса. Речь шла не о взятках, не о каких-либо несправедливых действиях. Следовало заручиться благорасположением Глабриона до начала разбирательства. Но, назначенный обвинителем, я не мог обратиться за этим к претору и стал размышлять: кому это по силам?

– В Риме есть только один такой человек, Луций, – подсказал Квинт.

– Именно! – воскликнул Цицерон. – Есть только один человек, к мнению которого Глабрион обязан был прислушаться. Человек, вернувший ему сына после смерти его бывшей жены. Помпей!

– Но это нельзя назвать «крохотной услугой», – возразил Луций, – это серьезное вмешательство в работу суда. И теперь за него придется заплатить серьезную цену. Причем платить будешь не ты, а народ Сицилии.

– Народ Сицилии? – переспросил Цицерон, начиная терять терпение. – У народа Сицилии никогда не было более верного друга, чем я! Если бы не я, не было бы вообще никакого разбирательства. Если бы не я, народу Сицилии никто не предложил бы возмещения в полтора миллиона. Если бы не я, Гай Веррес через два года стал бы *консулом*! Не надо упрекать меня в том, что я бросил народ Сицилии на произвол судьбы.

– Тогда откажись возвращать Помпею долг, – стал уговаривать Цицерона Луций, схватив его за руку. – Завтра в суде выставь им возможно больший счет за ущерб, и пусть Помпей катится в Аид! На твоей стороне – весь Рим, судьи не осмелятся пойти против тебя. Кого

волнует мнение Помпея? Он сам говорит, что через пять месяцев перестанет быть консулом. Обещай мне, что сделаешь это!

Цицерон пылко сжал ладонь Луция двумя руками и заглянул ему в глаза. Сколько раз я видел, как он делает так в этой самой комнате!

– Обещаю тебе, – сказал он, – что подумаю над этим.

Если Цицерон и думал над этим, то не более секунды. Ему никогда не хотелось оказаться во главе мятежников в разрываемой на части стране, а между тем только так он мог выжить, если бы настроил против себя, кроме знати, еще и Помпея.

После ухода двоюродного брата он вытянул ноги перед собой и заявил:

– Беда Луция в том, что он считает государственную деятельность борьбой за справедливость. А это всего лишь ремесло.

– Как по-твоему, не мог ли Веррес подкупить Помпея, чтобы уменьшить сумму возмещения? – спросил Квинт, озвучив мысль, которая пришла в голову и мне.

– Вполне возможно, но, вероятнее всего, он просто не хочет оказаться вовлеченным в гражданскую войну между народом и сенатом. Что до меня, я с радостью ободрал бы Верреса до нитки и отправил бы его пастись вместе с овцами на пастбища Галлии. Но, – со вздохом добавил он, – этому не бывать. Так что давайте подумаем о том, как наилучшим образом распределить эти полтора миллиона между теми, кто пострадал.

Остаток вечера мы провели, составляя список пострадавших, чьи убытки требовалось возместить в первую очередь. После того как Цицерон вычел из предложенной Гортензией суммы собственные убытки – около ста тысяч, – выяснилось, что мы сможем частично покрыть ущерб, понесенный людьми вроде Стения и теми свидетелями, которые потратились на дорогу до Рима. Но что сказать жрецам? Как определить стоимость статуй из ценных металлов, которые кузнецы Верреса давным-давно переплавили, предварительно выковыряв самоцветы? И разве деньги способны заглушить боль друзей и родственников Гавия, Геренния и других несчастных, которых он замучил?

Занимаясь этим, Цицерон впервые почувствовал, что значит обладать властью – которая всегда требует выбирать между одинаково неприемлемыми решениями, – и ее вкус показался ему горьким.

На следующее утро мы, как обычно, отправились в суд, где нас ожидала все та же толпа. Разница состояла лишь в том, что теперь здесь не было Верреса, зато появились тридцать или сорок воинов из преторской стражи, оцепивших место разбирательства. Глабрион ненадолго взял слово, объявив заседание открытым и предупредив собравшихся, что не потерпит беспорядков, подобных вчерашним. Затем он сказал, что Гортензий намерен сделать заявление.

– Ввиду слабого здоровья... – начал было тот, но тут же умолк: со всех сторон послышался издевательский смех. Гортензию пришлось на время замолкнуть, и наконец он продолжил: – Ввиду слабого здоровья, подорванного за время слушаний, и желания уберечь республику от дальнейшего раскола мой клиент Гай Веррес не намерен защищаться от предъявленных ему обвинений.

Гортензий сел. Известие об этой уступке вызвало шквал аплодисментов среди сицилийцев, но из толпы слышались лишь разрозненные жидкие хлопки. Большинство слушателей с нетерпением ждали выступления Цицерона. Он встал, поблагодарил Гортензия за его сообщение – «значительно более короткое, нежели те, которые он привык делать на этом форуме», – и потребовал для Верреса максимально строгого наказания, предусмотренного Корнелиевым законом: пожизненного лишения всех гражданских прав. «Чтобы, – как выразился Цицерон, – зловещая тень Гая Верреса никогда больше не нависала над его жертвами и не угрожала справедливому ведению дел в Римской республике». Зрители впервые за утро разразились приветственными выкриками.

– Я всей душой хотел бы устранить последствия преступлений Верреса, – продолжал Цицерон, – и вернуть людям и богам все, что он украл у них. Я хотел бы вернуть Юноне подношения, похищенные из ее святилища на островах Мелита и Самос. Мне хотелось бы, чтобы Минерва смогла снова увидеть украшения из ее храма в Сиракузах, чтобы статуя Дианы вернулась в город Сегесту, а жители Тиндарида вновь обрели бесценное изваяние Меркурия. Я хотел бы загладить двойное оскорбление, нанесенное Церере, статуи которой были унесены из храмов Катины и Энны. Но злодей бежал, оставив после себя голые полы и стены в обоих своих домах – римском и загородном. Эти дома – единственное, что может быть отобрано у него и продано. Защитник Верреса оценивает вышеупомянутое имущество в полтора миллиона сестерциев, и именно эту сумму, как я считаю, следует взыскать с него за совершенные им преступления.

Толпа заволновалась, и кто-то крикнул:

– Этого мало!

– Согласен, мало. Но я могу предложить лишь одно: пусть те, кто помогал Верресу, когда его звезда поднималась, и обещал ему поддержку в этом суде, как следует покопаются в своей совести, а лучше – в своих сундуках с сокровищами!

Тут Гортензий вскочил с места и заявил, что обвинитель не должен «изъясняться загадками».

– Что ж, – ответил Цицерон, – поскольку почтенный Гортензий, недавно избранный консулом, получил от Верреса сфинкса из слоновой кости, он теперь должен с легкостью разгадывать загадки.

Вряд ли это было заранее придуманной шуткой, ведь Цицерон не знал, что может ответить ему Гортензий, но сейчас, заноса на папирус эти строки, я размышляю: может, думая так, я был слишком простодушен? Может, это была одна из домашних заготовок Цицерона, который то и дело записывал удачные мысли в расчете на то, что они рано или поздно пригодятся ему?

Как бы то ни было, происшествие еще раз показало важность остроумия для оратора, поскольку позже, припоминая тот день, большинство людей могли вспомнить лишь одно – упоминание о сфинксе из слоновой кости. Лично мне шутка не показалась особенно смешной, но она сделала свое дело: превратила речь, которая могла поставить под угрозу доброе имя Цицерона, в его очередной триумф. «И сразу же садись...» – вспомнил Цицерон наставление Молона и воспользовался им. Я протянул ему полотенце, и под нестихающие рукоплескания он утер вспотевшее лицо и руки. На этом суд над Гаем Верресом закончился.

В тот же день сенат собрался на последнее заседание перед пятнадцатидневными каникулами – на время игр Помпея. К тому времени, когда Цицерон закончил договариваться с сицилийцами, оно уже началось, и нам обоим пришлось бежать от храма Поллукса к курии через весь форум. Красс, председательствовавший в том месяце консул, уже призвал сенаторов к порядку и зачитывал последние донесения Лукулла о ходе войны на Востоке. Не желая прерывать его, Цицерон не стал сразу входить в здание, а остановился у порога и стал слушать. В своем донесении Лукулл, этот военачальник-аристократ, сообщал о своих многочисленных победах: о вступлении в пределы царства Тиграна Великого, о победе в бою над самим царем, об уничтожении десятков тысяч врагов, о продвижении вглубь вражеской державы, покорении города Нисибиса и захвате царского брата, ставшего заложником.

– Красс, наверное, ногти грызет от зависти, – радостно прошептал Цицерон, склонившись к моему уху. – Его может утешить только сознание того, что Помпей завидует еще сильнее.

И действительно, у Помпея, сидевшего рядом с Крассом, был такой мрачный вид, что становилось не по себе.

Когда Красс умолк, Цицерон переступил через порог. День выдался жарким, и в солнечных лучах, падавших из расположенных под потолком окон, суежилась мошкарка. Цицерон двигался по главному проходу торжественной поступью, высоко подняв голову, и все взгляды были устремлены на него. Вот он миновал место, которое занимал раньше – в темноте, рядом с дверью, – и проследовал дальше, по направлению к консульскому помосту. Преторская скамья, казалось, была заполнена до отказа, но Цицерон остановился возле нее и стал терпеливо ждать, чтобы занять полагавшееся ему по праву место. Согласно старинному обычаю, обвинителю, одержавшему победу над высокопоставленным магистратом, доставались почести, причитавшиеся поверженному им противнику. Не помню, сколько длилось ожидание, мне тогда показалось, что целую вечность. В зале царила полная тишина, нарушаемая лишь воркованием и возней голубей на подоконниках. Наконец Афраний, сидевший посередине, грубо толкнул своего соседа справа бедром, освободив для Цицерона пространство. Переступив через дюжину вытянутых ног, тот добрался до своего места, сел и высокомерно оглядел своих недругов – но ни один из них не был готов бросить ему вызов.

Через некоторое время кто-то встал и стал возносить хвалу Лукуллу и его победоносным легионам. Я не видел говорившего, но, судя по грубому голосу, это мог быть сам Помпей. Вскоре послышался обычный гул голосов: сенаторы вновь принялись негромко переговариваться между собой.

Закрыв глаза, я вижу, словно наяву, их лица, позолоченные солнцем позднего лета: Цицерон, Красс, Помпей, Гортензий, Катул, Катилина, братья Метелл, – и мне трудно поверить в то, что и они сами, и их честолюбивые устремления, и само здание, где они сидели, давно превратились в прах.

## Часть вторая

### Претор

#### 68–64 гг. до н. э.

*Nam eloquentiam quae admirationem non habet nullam iudico.*  
*Красноречие, которое не потрясает, я не считаю красноречьем.*  
*Из письма Цицерона Марку Юнию Бруту. 48 г. до н. э.*

## Х

Я возобновляю свой рассказ, оставляя двухлетний пробел после описанных мною событий, – и, боюсь, этот пропуск многое говорит о человеческой природе. Читатель может спросить: «Тирон, почему ты обошел молчанием немалую часть жизни Цицерона?» Я бы ответил так: «Потому, мой друг, что это были счастливые годы, а ничто не навевает такой скуки, как рассказ о чем-нибудь счастье».

Эдильство сенатора оказалось весьма успешным. Главной его заботой было снабжать город дешевым зерном, и тут ему сослужило хорошую службу то, что он был обвинителем во время суда над Верресом. В благодарность за защиту сицилийские земледельцы и торговцы кукурузой отпускали ему товар по низким ценам, а однажды даже прислали зерно бесплатно. Дальновидный Цицерон позаботился о том, чтобы из этого извлек пользу не он один. Зерно свезли в храм Цереры, где заседал эдил, и по распоряжению Цицерона стали раздавать наиболее уважаемым жителям Рима, на деле правившим городом; в знак благодарности многие из них стали его клиентами. Именно с их помощью в последующие месяцы он обзавелся действенным оружием для подготовки к выборам, равного которому не было в Риме (Квинт хвастался, что в случае необходимости он в течение часа может собрать толпу из двухсот сторонников Цицерона), и с тех пор в городе не происходило ничего, что не стало бы известно Цицерону.

Если человек, строивший дом или державший лавку, нуждался в каком-нибудь разрешении, либо просил подвести воду, либо выражал обеспокоенность состоянием местного храма, рано или поздно он попадал в поле зрения двух братьев – Цицерона и Квинта. Именно пристальное внимание к повседневным людским нуждам вкупе с блистательным ораторским даром сделали Цицерона выдающимся государственным деятелем. Он даже сумел устроить (правда, это была по преимуществу заслуга Квинта) очень неплохие игры, и под занавес праздника Цереры на арену Большого цирка выпустили лисиц с горящими факелами, привязанными к спинам. Это произвело на публику такое ошеломляющее впечатление, что все двести тысяч зрителей поднялись и восторженно приветствовали Цицерона, сидевшего на месте для магистратов. «Если столько людей способны получать удовольствие от столь отвратительного зрелища, – говорил он мне позже, – поневоле усомнишься в самих основах демократии». И все же ему льстило то, что народ теперь уважал его еще и за отлично проведенные игры.

У Цицерона-защитника все тоже шло хорошо. После ничем не омраченного и ничем не примечательного консульства Гортензий почти все время проводил на берегу Неаполитанского залива, среди позолоченных угрей и поливаемых вином деревьев, так что Цицерон не знал соперников в суде. Дары и подношения стекались к нам в таком изобилии, что Цицерону удалось собрать миллион и обеспечить брата местом в сенате. Дело в том, что Квинт, будучи скверным оратором, увлекся тем не менее государственными делами, хотя, по мнению Цицерона, ему надо было искать славы на поле боя.

Известность и благосостояние Цицерона неизмеримо возросли, но он по-прежнему отказывался переезжать из старого отцовского дома, опасаясь, что переезд на Палатин плохо скажется на его образе «народного заступника». Зато, не посоветовавшись с Теренцией, он одолжил значительную сумму в счет будущих вознаграждений и купил большую загородную виллу в тринадцать милях от Рима, вдали от любопытных глаз городских избирателей – в Альбанских горах, неподалеку от Тускула.

Когда он впервые привез туда Теренцию, та, по своему обыкновению, поворчала, заявив, что от горного воздуха у нее будет ломить кости, но я видел, что в глубине души ей было приятно стать хозяйкой роскошного поместья, расположенного всего в полудне пути от Рима. Соседнее поместье принадлежало Катулу, неподалеку стояла и вилла Гортензия, но взаимная неприязнь между Цицероном и аристократами была настолько сильной, что ни один из них ни разу не пригласил его на ужин. Это не только не расстраивало, но, наоборот, забавляло Цицерона, который долгими летними днями писал или читал на лужайке в тени раскидистых тополей. Его веселила и мысль о том, что раньше этот дом принадлежал самому выдающемуся герою «благородных» – Сулле, и Цицерон знал, как бесятся знатные особы при мысли о том, что памятное место попало в руки «выскочке» из Арпина.

Виллу не подновляли уже десять с лишним лет. Главной ее достопримечательностью была стена с фреской, которая изображала диктатора, принимающего очередную награду от своих войск. Цицерон позаботился о том, чтобы все соседи узнали: приступая к починке дома, он первым делом приказал побелить эту стену.

Итак, Цицерон был счастлив тогда, в тридцать девятую осень своей жизни. Преуспевающий, пользующийся любовью народа, хорошо отдохнувший за лето, проведенное за городом, он был полностью готов к выборам, которые должны были состояться в июле следующего года. Он достиг бы возраста, когда можно бороться за должность претора – последнюю ступень перед сияющей вершиной консульства.

И вот в это судьбоносное время, когда удача должна была изменить Цицерону, а его жизнь – вновь сделаться бурной, начинается вторая часть моего повествования.

В сентябре был день рождения Помпея, и уже третий раз за последние три года Цицерон получил приглашение на пиршество в честь полководца. Прочитав его, он издал мучительный стон, поскольку уже усвоил: нет на свете ничего более тягостного, чем дружба с великим человеком. Поначалу Цицерону льстило, что он допущен в близкий круг Помпея, но вскоре ему надоело выслушивать одни и те же солдатские истории, одновременно с которыми на обеденном столе воспроизводили передвижение войск – с помощью тарелок и прочей утвари. Приходилось выслушивать десятки раз, как молодой полководец перехитрил три легиона Мария при Ауксуме, или перебил семнадцать тысяч нумидийцев в возрасте двадцати четырех лет, или, наконец, сокрушил испанских мятежников возле Валенции.

Помпей отдавал приказы с тех пор, как ему исполнилось семнадцать, и, возможно, по этой причине не обладал тонкостью ума, присущей Цицерону. Последний безмерно ценил легкую, остроумную беседу, сдобренную вдумчивыми наблюдениями, едва уловимыми намеками и глубокими рассуждениями относительно человеческой сущности. Помпею все это было чуждо. Военачальник любил разглагольствовать в одиночку, чтобы все присутствующие при этом молчали и почтительно внимали избитым выражениям, а потом опускался на ложе и выслушивал льстивые трели гостей. Цицерон говорил, что скорее позволит пьяному цирюльнику с Коровьего рынка вырвать себе все зубы, чем согласится снова выслушивать эти застольные речи. Но разве у него был выбор?

Главная неприятность состояла в том, что Помпею было скучно. После того как истекли его консульские полномочия, он, как и обещал, вернулся к частной жизни в кругу своей семьи – жены, маленького сына и совсем еще крохотной дочки. И что дальше? Не обладая оратор-

ским дарованием, он не мог занять себя участием в судебных разбирательствах. Сочинительство также не привлекало его, и ему оставалось только с завистью следить за успехами Лукулла, продолжавшего наносить сокрушительные поражения Митридату. Помпею еще не исполнилось и сорока, а его будущее, как говорит пословица, уже осталось в прошлом. Иногда, выбравшись из своего дома на холме, он в сопровождении пышной свиты друзей и клиентов шел в курию, но не выступал там, а лишь слушал перебранку сенаторов. Цицерон, который время от времени сопровождал его в этих бессмысленных вылазках, говорил потом, что Помпей в сенате напоминает ему слона, который пытается устроиться на жилье в муравейнике.

Но, несмотря ни на что, Помпей оставался величайшим из римлян и вел за собой множество избирателей (тем летом, например, он провел своего родственника Габиния в трибуны). По одной этой причине с ним нельзя было ссориться, тем более что до очередных выборов оставалось меньше года.

Поэтому тринадцатого сентября Цицерон, как обычно, отправился на празднование дня рождения Помпея и вечером рассказал Квинту, Луцию и мне о том, как все прошло. Помпей радовался подаркам, словно ребенок, и Цицерон преподнес ему чрезвычайно ценную рукопись двухсотлетней давности – письмо, собственноручно написанное Зеноном, основоположником стоицизма. Цицерон получил его в подарок от Аттика, когда учился у греческого философа в Афинах, и всей душой желал бы оставить эту реликвию в своей библиотеке в Тускуле, но понадеялся, что, подарив ее военачальнику, сумеет пробудить в его душе страсть к философии. Однако, вопреки надеждам Цицерона, Помпей, едва взглянув на свиток, отбросил его в сторону и с замиранием сердца стал разглядывать подарок Габиния – отделанный серебром рог носорога, в котором хранились египетские возбуждающие снадобья, приготовленные из испражнений бабуина.

– О, как я хотел бы вернуть это письмо! – простонал Цицерон, навзничь упав на лежанку и прикрыв глаза тыльной стороной ладони. – Сейчас, скорее всего, какая-нибудь кухарка разжигает им огонь в плите!

– Кто еще был там? – с неподдельным любопытством спросил Квинт, ставший квестором в Умбрии. Он вернулся в Рим всего несколько дней назад, и ему не терпелось узнать последние новости.

– Да все те же, кто обычно крутится вокруг него. Разумеется, наш замечательный новоизбранный трибун Габиний и его тесть Паликан, лучший плясун Рима Афраний, Бальб, испанский ставленник Помпея, и Варрон, его ученый попугай. Ах да, и еще Марк Фонтей, – добавил Цицерон будто бы безразлично. Но что-то в его голосе заставило Квинта насторожиться.

– О чем ты говорил с Фонтеем? – спросил он, тщетно стараясь, чтобы голос его звучал так же невыразительно.

– О том о сем...

– О выдвинутом против него обвинении?

– Конечно, и об этом тоже.

– Кстати, кто будет защищать этого мошенника?

Цицерон помолчал, а потом тихо ответил:

– Я.

Следует дать пояснения для тех, кто не очень хорошо знаком с этим делом. Примерно за пять лет до описываемых мной событий Фонтей был наместником Рима в Дальней Галлии и в одну из зим, когда войска Помпея, ожесточенно сражаясь с испанскими мятежниками, оказались в окружении, отправил военачальнику съестные припасы и новых солдат, чтобы тот смог продержаться до весны. Между ними завязалась дружба. Действуя так же, как Веррес, обкладывая местное население незаконными поборами, Фонтей невиданно обогатился. Галлы поначалу мирились с этим, убеждая себя в том, что подобный грабеж – неизбежный спутник цивилизации, однако после триумфальной победы Цицерона над наместником Сицилии вождем

галлов Индуциомар приехал в Рим и обратился к нему с просьбой представлять галлов в суде по вымогательствам.

Луций всеми силами подталкивал Цицерона взяться за это дело. Вообще-то, это именно он привел в наш дом галльского предводителя – существо дикого вида, облаченное в варварский наряд из штанов и куртки. Когда однажды утром я открыл дверь и увидел его на пороге, меня охватил ужас. Цицерон, однако, ответил вежливым отказом. С тех пор прошел год, и галлы нашли себе надежного защитника в лице избранного претором, но еще не вступившего в должность Плетория, чьим помощником был Марк Фабий. Вскоре должны были начаться судебные слушания.

– Но это ужасно! – с возмущением воскликнул Луций. – Ты не должен защищать его! Этот человек виновен не меньше Верреса!

– Чепуха! – отмахнулся Цицерон. – Он, по крайней мере, никого не убивал и не бросал в темницу без суда и следствия. Разве что слегка прижал виноторговцев в Нарбоне и заставил тамошних жителей платить больше податей, чтобы появились деньги на ремонт дорог. Кроме того, – быстро добавил Цицерон, пока Луций не успел возразить против этой, более чем великодушной оценки действий Фонтея, – кто мы такие, чтобы решать, насколько он виновен? Это дело суда. Или ты желаешь уподобиться тирану и отказать ему в праве на защиту?

– Я желаю отказать ему в праве на твою защиту! – возразил Луций. – Ты собственными ушами слышал рассказ Индуциомара о его проделках. Неужели на все это можно закрыть глаза лишь потому, что Фонтей – друг Помпея?

– Помпей тут ни при чем.

– А что при чем?

– Государственные соображения, – ответил Цицерон, а потом резко поднялся и сел на лежанке, спустив ноги на пол. Устремив взгляд на Луция, он заговорил очень серьезным тоном: – Самая роковая ошибка для любого государственного деятеля – дать своим соотечественникам повод думать, что он ставит интересы чужеземцев выше интересов собственного народа. Именно такую ложь распространяли про меня недруги, когда я представлял сицилийцев в деле Верреса, и именно это я могу использовать, если возьмусь защищать Фонтея.

– А как же галлы?

– Галлов будет представлять Плеторий, и вполне умело.

– Не так умело, как ты.

– Но ты же сам говоришь, что положение Фонтея весьма шатко. Так пусть самой слабой стороне достанется самый сильный защитник. Разве есть более справедливое решение?

Цицерон одарил двоюродного брата лучезарной улыбкой, но тот продолжал злиться. Мне кажется, Луций знал, что единственный способ победить Цицерона в споре – немедленно прекратить этот самый спор. Поэтому он встал и направился в атриум. Лишь тогда я обратил внимание на его болезненный вид, на то, как он похудел и ссутулился. По всей видимости, Луций так и не сумел оправиться от огромной нагрузки, которая выпала на его долю в Сицилии.

– Слова, слова, слова, – горько проговорил он. – Настанет ли когда-нибудь конец твоим выходкам? Вот что я скажу тебе, Марк. Как у многих мужчин, твоя сила оборачивается слабостью, и мне жаль тебя, честное слово, жаль, ведь скоро ты окончательно запутаешься и перестанешь отличать ложь от правды. И тогда ты – конченный человек.

– Правда! – хохотнул Цицерон. – Не самое подходящее слово для философа.

Шутка повисла в воздухе, поскольку Луция уже не было.

– Он вернется, – сказал Квинт.

Однако Луций не вернулся.

В течение последовавших за этим дней Цицерон занимался приготовлениями к предстоящему разбирательству. Делал он это с сосредоточенностью человека, которому врачеватель должен сделать неприятный, но необходимый надрез. Фонтей, его клиент, готовился к суду



уже почти три года и не терял времени даром, успев собрать множество показаний в свою пользу и подобрать подходящих свидетелей среди помпеевских центурионов, а также жадных и лицемерных землевладельцев и торговцев из римских общин в Испании, Галлии: все они за изрядную мзду готовы были подтвердить, что ночь – это день, а суша – море. Единственная трудность – Цицерон убедился в этом, как только взялся за дело, – заключалась в том, что Фонтей был виновен с головы до ног.

Цицерон долго сидел в комнате для занятий, уставившись в стену, а я ходил на цыпочках, стараясь не мешать его размышлениям. Тут я сделаю еще одно небольшое отступление. Чтобы правильно понимать действия моего хозяина, необходимо знать его характер. Какой-нибудь бесстыдный второсортный защитник на его месте стал бы придумывать ходы, чтобы переиграть обвинение, но не таков был Цицерон. Он пытался найти то, во что поверит он сам. В этом была суть его гения – и как защитника, и как государственного мужа. «Убеждает убежденность, – любил повторять он. – Ты должен верить в свои доводы, иначе тебе конец. Ни одна цепочка умозаключений, какой бы блестящей, изящной и убедительной она ни была, не поможет выиграть дело, если аудитория не почувствует твоей собственной убежденности».

Цицерону требовалось найти хотя бы одно соображение, в которое поверил бы он сам, и затем, используя его как прочную опору, надежное основание, он выстраивал на нем все здание защиты. В своей речи, которая могла длиться час или два, он раздувал эту – единственную – мелочь до вселенских масштабов и, выиграв разбирательство, начисто забывал об этом. Но во что он мог поверить в деле Марка Фонтея? После многочасового созерцания стены он сумел отыскать лишь один подходящий довод: его клиент – римлянин, который в своем родном городе подвергается гонениям со стороны галлов, давних врагов Рима. Поэтому – прав он или нет – осудить его будет сродни предательству.

Именно в этом направлении действовал Цицерон, оказавшись в знакомой обстановке – в суде по вымогательствам перед храмом Кастора и Поллукса. Разбирательство продолжалось с конца октября до середины ноября, защитник и обвинитель усердно вызывали и опрашивали свидетелей, и вот наступил последний день, когда Цицерон должен был произносить заключительную речь от имени защиты. Стоя позади него, я начиная с первого дня высматривал в толпе Луция, но лишь однажды, как раз в этот последний день, мне показалось, что я вижу его, прислонившегося к колонне позади всех остальных зрителей. И если это был он, в чем я не могу быть уверенным, любопытно, о чем он думал, слушая, как его двоюродный брат разрывает в клочья обвинения против Фонтея. Указывая на вождя галлов, Цицерон гремел на всю площадь:

– Да знает ли он, что означает выступать в столь почтенном суде? Неужели галльского вождя, даже верховного, можно поставить на одну доску с гражданином Рима, даже рядовым? – Затем он осведомился у судей, могут ли они верить хотя бы одному слову того, чьи боги требует человеческих жертв. – Ведь всем известно, что эти племена до сих пор придерживаются варварского обычая, совершая человеческие жертвоприношения.

Говоря о свидетелях-галлах, он заявил, что «они чванливо расхаживают по форуму с самодовольным выражением на лицах и варварскими угрозами на устах». А до чего блистателен он был в конце, когда поставил перед судьями сестру Фонтея, девственницу-весталку, закутанную с головы до ног в белоснежное, трепещущее на ветру платье, с белым льняным платком на узких плечах! Приподняв покрывало, она показала судьям свое заплаканное лицо, отчего прослезился даже ее брат. Цицерон мягко положил руку на плечо Фонтея и заговорил:

– Заступитесь же, судьи, за вашего храброго и честного согражданина в этой его опасности; не дайте людям подумать о вас, что вы с меньшим доверием отнеслись к показаниям наших соотечественников, чем к показаниям инородцев, менее пеклись о жизни сограждан, чем о прихотях врагов, менее значения придали мольбам настоятельницы ваших священнодействий, чем преступной отваге тех, которые вели войну со святынями и обрядами всех народов. А в

заклучение, судьи, взвесьте также и следующее: самое достоинство римского народа требует от вас, чтобы вы скорее уступили просьбам девы-весталки, чем угрозам галлов<sup>22</sup>.

Эта речь оказалась триумфальной – как для Фонтее, с которого сняли все обвинения, так и для Цицерона, которого с этих пор стали считать самым горячим отчизнолюбом.

Закончив записывать, я поднял глаза, но в бурлящей толпе уже было невозможно разглядеть отдельные лица. Распаленная речью Цицерона, она превратилась в единое существо – беснующееся, испускающее крики во славу Рима. И все же я искренне надеюсь, что Луция в тот день на форуме не было. Тем более что через несколько часов он был найден мертвым в своем доме.

Это известие застало Цицерона и Теренцию за ужином, а принес его один из рабов Луция, еще мальчик, который неудержимо плакал. Поэтому сообщить тягостную новость пришлось мне. Цицерон поднял голову от тарелки, посмотрел на меня невидящим взглядом и бесцветным голосом проговорил:

– Нет, – как если бы во время судебного заседания я передал ему не те записи, которые нужны. И еще долго он повторял, словно позабыв все остальные слова: – Нет, нет, нет...

Казалось, его мозг отказался работать. Теренция, пришедшая в себя первой, предложила нам отправиться в дом Луция и выяснить, что же все-таки произошло. Только после этого Цицерон принялся растерянно искать свои сандалии.

– Присмотри за ним, Тирон, – шепнула она мне.

Время лечит боль. В моей памяти сохранились лишь разрозненные картины того, что случилось в тот вечер и происходило в последующие дни. Это похоже на обрывки морока, остающиеся с человеком после перенесенного жара. Я помню, каким худым и изможденным выглядел Луций, лежавший в постели на правом боку, подтянув колени к груди и закрыв глаза левой ладонью. Я помню, как Цицерон, согласно древнему обычаю, склонился над ним со свечой и громким голосом позвал его, желая убедиться, что жизнь действительно покинула его.

– Что он увидел? – продолжал задавать он один и тот же вопрос. – Что он увидел?

Цицерон, вообще не склонный к суевериям, в тот миг был убежден, что перед смертью Луцию явилось некое видение, наполнившее его душу невообразимым ужасом, отчего он умер. Что же касается причины его смерти, то я вынужден сделать важное признание. Все эти годы я хранил тайну, которую могу открыть только теперь, сбросив тем самым тяжкий груз со своей души. В углу маленькой комнаты стояла ступка с пестиком, а внутри находилась какая-то толченая трава. Мы с Цицероном поначалу решили, что это – фенхель, который Луций часто заваривал, чтобы помочь желудку (помимо прочего, он страдал плохим пищеварением). Только потом, наводя в комнате порядок, я взял из ступки щепоть толченой травы, потер ее в пальцах и, поднеся к ноздрям, ощутил пугающий, смертоносный, напоминающий вонь отдохлой мыши запах цикуты. И тогда я понял, что Луций просто устал от этой жизни – от несправедливости и разочарований, от своих болезней – и решил уйти из нее так же, как сделал его кумир, Сократ.

Позже я намеревался рассказать о своем открытии Цицерону и Квинту, но по каким-то причинам не сделал этого, а затем подходящее время прошло, и я решил хранить молчание. Пусть они и дальше считают, что смерть Луция была вызвана естественными причинами.

Я также помню, что Цицерон потратил огромные деньги на цветы и благовония. Тело Луция обмыли теплой водой, умастили благовониями и, облачив в лучшую тогу, положили на погребальное ложе ногами к дверям. Несмотря на серый, промозглый ноябрьский день, казалось, что Луций, утопающий в цветах, уже пребывает в куцах элизиума – страны мертвых. Я помню свое удивление при виде того, сколько друзей и соседей пришло проститься с этим, как всем казалось, одиноким человеком, помню похоронную процессию, двинувшуюся на рас-

---

<sup>22</sup> Перев. Ф. Зелинского.

свете к Эсквилинскому холму. Юный Фруги рыдал взхлеб, не в силах остановиться. Я помню плакальщиц, и печальную музыку, и уважительные взгляды встречных. В последний путь, на свидание с предками, провожали одного из Цицеронов, а это имя в Риме теперь кое-что да значило.

Когда мы вышли на замерзшее поле, смертное ложе с телом усопшего положили на погребальный костер – высокую кучу дров, сложенных в виде жертвенника, – и Цицерон попытался произнести короткую прощальную речь, но не смог. Он даже не сумел зажечь костер, так дрожала его рука: пришлось передать факел Квинту. Показались языки пламени, и собравшиеся стали бросать в костер разные подарки: духи, ладан, мирру. Благоуханный дым, из которого вылетали оранжевые искры, стал подниматься, кружась, к Млечному Пути. В ту ночь я сидел рядом с сенатором в его комнате для занятий, и он диктовал мне письмо к своему близкому другу Аттику. Из сотен писем Цицерона к Аттику это стало первым, которое он сохранил, что, без сомнения, было заслугой Луция, обладателя благородной души. «Какое горе постигло меня и сколь великой утратой была смерть брата Луция, ты, ввиду нашей дружбы, можешь судить лучше, чем кто-либо другой. Ведь я получал от него все приятное, что один человек может получать от высоких душевных и нравственных качеств другого»<sup>23</sup>.

Луций прожил в Риме много лет, но он всегда хотел, чтобы его прах поместили в арпинский семейный склеп. А потому на следующий день после сожжения тела брата Цицероны, взяв его останки, пустились вместе с женами в трехдневное путешествие на восток. Своего отца они известили заранее. Я, разумеется, поехал с ними: несмотря на траур, Цицерону приходилось вести переписку по государственным и судебным делам. Однако он – в первый и последний раз за годы, проведенные нами вместе, он пренебрег обычными занятиями и лишь молча глядел, подперев голову рукой, на сельскую местность. Цицерон с Теренцией ехали в одной повозке, Квинт с Помпонией – в другой, причем двое последних постоянно ссорились, крича друг на друга. Дошло до того, что во время очередной остановки Цицерон отвел брата в сторону и попросил хотя бы ради Аттика (напомню, что Помпония была его сестрой) уладить отношения с женой.

– Если мнение Аттика так важно для тебя, почему бы тебе самому на ней не жениться? – едко отозвался Квинт.

Первую ночь мы провели на вилле Цицерона в Тускуле, а на следующее утро продолжили путь по Латинской дороге. Когда мы достигли Ференция, братья получили из Арпина весть о том, что накануне скоростижно скончался их отец.

Старику было уже за шестьдесят, он много лет хворал, поэтому вряд ли его сразила новость о кончине Луция, хотя, бесспорно, она могла стать последней каплей. Однако уехать из одного дома с сосновыми и кипарисовыми ветвями на воротах<sup>24</sup>, чтобы попасть в другой такой же, – это было уже чересчур! Мало того, мы достигли Арпина в двадцать пятый день ноября: его связывают с именем Прозерпины, богини подземного царства, которая приводит в действие проклятия живых, посланные душам мертвых.

Поместье Цицеронов располагалось в трех милях от города, у каменистой, продуваемой всеми ветрами дороги, в окруженной высокими горами долине. Здесь было холодно, и горные вершины уже укрыл – до мая – снег, белый, как покрывало весталки. Я не был здесь целых десять лет, и в моей душе поселились незнакомые доселе чувства. В отличие от Цицерона, я всегда предпочитал сельскую местность городу. Здесь я родился, здесь жили и умерли мои мать

---

<sup>23</sup> Перев. В. Горенштейна.

<sup>24</sup> К воротам дома умершего прикреплялась большая ветка кипариса, предупреждавшая понтификов о необходимости обходить стороной это жилище, где их взоры могут быть осквернены видом покойника.

и отец. На протяжении первых двадцати пяти лет моей жизни эти зеленые луга и хрустальные ручьи с высокими тополями вдоль берегов были границами известного мне мира.

Заметив, как сильно подействовали на меня воспоминания, и зная о моей глубокой преданности его отцу, Цицерон пригласил меня сопровождать его и Квинта к погребальному костру, чтобы попрощаться со старым хозяином. Я был обязан их отцу не меньше, чем они сами, ведь он в буквальном смысле сделал из меня человека: сначала дал мне образование, чтобы я помогал ему с библиотекой, а затем отпустил в путешествие со своим сыном.

Когда я наклонился, чтобы поцеловать его холодную руку, мне показалось, что я вернулся домой. Потом пришла мысль: а ведь я мог бы остаться здесь, быть слугой, жениться на девушке моего положения и, кто знает, даже обзавестись детьми! Мои родители были домашними рабами, но умерли в сорок с небольшим, хотя и не работали в поле. Исходя из этого, я тогда полагал, что мне остается жить не более десяти лет (разве можем мы знать, что уготовит нам судьба!), и с болью думал, что я уйду из этой жизни, не оставив после себя ничего и никого. Поэтому я решил при первом же удобном случае поговорить об этом с Цицероном. Вскоре такая беседа состоялась.

На следующий день после нашего прибытия в Арпин прах старого хозяина был помещен в семейную гробницу. Рядом поставили белую алебастровую урну с останками Луция, а затем рядом с гробницей закололи жертвенную свинью, чтобы это место оставалось священным.

Утром следующего дня Цицерон обошел унаследованное им поместье. Я сопровождал его – на тот случай, если бы понадобилось делать заметки. Поместье было неоднократно заложено и почти ничего не стоило, все давно пришло в упадок, и для его восстановления потребовалось бы много сил и средств. По словам Цицерона, хозяйство раньше вела его мать – отец был мечтателем и не умел надлежащим образом общаться с поставщиками, закупщиками и откупщиками. Пожалуй, впервые за последнее десятилетие Цицерон упомянул при мне о матери.

Мать Цицерона, Гельвия, умерла за двадцать лет до того, когда сам он был еще подростком, но уже уехал на учение в Рим. Сам я плохо помню ее. Говорили, что она была очень строгой и злобной – из тех хозяек, которые делают метки на кувшинах с провизией, потом проверяют, не украли ли рабы что-нибудь, и секут их при обнаружении пропажи.

– Я никогда не слышал от нее ни одного слова похвалы, Тирон, – признался мне Цицерон. – Ни я, ни мой брат. А ведь я так старался угодить ей.

Он остановился и стал смотреть через поле в сторону быстрой и холодной как лед реки Фибрен, посередине которой находился островок с небольшой рощицей и полуразвалившейся беседкой.

– Как часто я приходил в эту беседку еще мальчишкой! – с грустью проговорил он. – Я сидел там часами и мечтал стать новым Ахиллом, правда побеждать мне хотелось не на полях битв, а на судебном ристалище. Помнишь, как у Гомера: «Превосходить, быть выше всех на свете!»

Цицерон замолк, и я понял, что настал мой час. Я заговорил – торопливо, бессвязно, неумело, выкладывая то, что было у меня на душе, убеждая его, что, оставшись здесь, мог бы привести в порядок его родовое гнездо. Пока я говорил, Цицерон продолжал смотреть на островок своего детства. Когда я умолк, он вздохнул и сказал:

– Я прекрасно понимаю тебя, Тирон, и сам чувствую нечто подобное. Это действительно наша родина – моя и моего брата, ведь мы происходим из древнего здешнего рода. Тут наши пращуры поклонялись богам, тут стоят памятники многим нашим предкам. Что еще я могу сказать? – Цицерон повернулся ко мне и посмотрел на меня чистым и незамутненным взглядом, хотя в последнее время он много и часто плакал. – Но задумайся над тем, что мы видели на этой неделе. Пустые, бездушные оболочки тех, кого мы любили. Задумайся над тем, как несправедливо поступает с нами смерть. Ах... – Он потряс головой, словно отгоняя ужасное видение, и вновь перевел взгляд на островок. – Что до меня, я не собираюсь умирать, пока

у меня остается хотя бы одна неизрасходованная крупица таланта, и не намерен останавливаться, пока мои ноги способны передвигаться. А твоя судьба, мой дорогой друг, – сопровождать меня на этом пути. – Мы стояли рядом, и он легонько ткнул меня локтем в бок. – Ну же, Тирон! Ты – бесценный письмоводитель, ты записываешь мои слова едва ли не быстрее, чем я их произношу! И такое сокровище будет считать овец в Арпине? Ни за что! И давай больше не будем говорить о таких глупостях.

На этом моя пасторальная идиллия закончилась. Мы вернулись в дом, и в тот же день (или на следующее утро? – память иногда подводит меня) услышали топот копыт: лошадь подъезжала со стороны города. Шел дождь, и все набились в дом. Цицерон читал, Теренция вышивала, Квинт упражнялся в выхватывании меча, а Помпония устроилась на лежанке, жалуясь на головную боль. Она по-прежнему доказывала, что «государственные дела – это скучно», доводя этим Квинта до белого каления. «Надо же такое ляпнуть! – как-то раз пожаловался он мне. – Скучно? Да это живая история! Какая другая деятельность требует от человека всего, что у него есть – и самого благородного, и самого низменного? Что может быть более увлекательным? Что, как не государственные дела, нагляднее всего обнажает наши сильные и слабые стороны? С таким же успехом можно заявить, что скучна сама жизнь!»

Когда стук копыт смолк у наших ворот, я вышел и взял у всадника письмо с печатью Помпея Великого. Цицерон сломал печать, прочитал первые строки и издал возглас изумления.

– На Рим напали! – сообщил он нам. Даже Помпония подскочила на своей лежанке.

Цицерон торопливо прочитал все письмо и пересказал нам его содержание. Морские разбойники затопили консульский военный флот, отведенный на зиму в Остию, и захватили двух преторов, Секстилия и Беллина, вместе с их ликторами. Пираты пытались посеять ужас на побережье Италии. В столице начался переполох.

– Помпей требует, чтобы я немедленно явился к нему, – сообщил Цицерон. – Послезавтра он собирает в своем загородном поместье военный совет.

## XI

Остальные не спеша продолжили путь, мы же с Цицероном сели в двухколесную повозку (он старался не садиться в седло), поехали в обратном направлении и к закату следующего дня добрались до Тускула. Ленивые домашние рабы с изумлением увидели хозяина, вернувшегося раньше, чем ожидалось, и засуетились, наводя порядок.

Цицерон принял ванну и сразу же отправился в спальню, однако, думаю, выспаться в ту ночь ему не удалось. Ночью мне показалось, что я слышу его шаги в библиотеке, а утром я обнаружил на столе наполовину развернутый свиток с «Никомаховой этикой» Аристотеля. Впрочем, государственные мужи привычны ко всему, они умеют быстро восстанавливать физические и душевные силы.

Войдя в комнату Цицерона, я обнаружил его полностью одетым. Ему не терпелось выяснить, что на уме у Помпея, и чуть свет мы уже тронулись в путь. Дорога вывела нас на берег Альбанского озера, и, когда розовое солнце поднялось над заснеженными вершинами горной гряды, мы увидели рыбаков, вытаскивавших сети из воды, неподвижной в этот безветренный час.

– Есть ли в мире страна прекраснее Италии? – не обращаясь ни к кому в особенности, спросил Цицерон. Ничего больше он не сказал, но я и без того знал, о чем он думает, поскольку и сам думал о том же. Мы оба испытывали облегчение, вырвавшись из Арпина с его обволакивающим унынием, ибо ничто не позволяет ощутить себя живым так, как созерцание смерти.

Вскоре наша коляска свернула с дороги и въехала во внушительные ворота. Усыпанная гравием дорожка, вдоль которой росли кипарисы, вела к дому, в ухоженном саду повсюду стояли мраморные изваяния, без сомнения привезенные военачальником из его многочисленных

походов. Рабы-садовники сгребали опавшие листья и заботливо подстригали клумбы. Все говорило о сытости, самоуверенности и достатке.

Мы вошли в огромный дом, и Цицерон шепотом велел мне держаться поближе к нему. Стараясь быть незаметным, я, сжав в руках коробку со свитками и табличками, чуть ли не на цыпочках ступал следом за хозяином. Кстати, вот мой совет всем, кто хочет быть незаметным: передвигайтесь с сосредоточенным видом, непременно прихватив с собой свиток или какие-нибудь вещи – они, словно волшебный плащ, делают человека невидимым.

Помпей принимал гостей в атриуме, изображая влиятельного сельского господина. Рядом были его жена Муция, сын Гней, тогда одиннадцатилетний, и маленькая дочь Помпея, едва научившаяся ходить. Муция – привлекательная и величавая матрона из рода Метеллов – вскоре должна была перешагнуть тридцатилетний рубеж и была вновь беременна. Помпею было свойственно любить свою жену, кто бы ни был ею в это время. Муция смеялась какой-то шутке, и, когда позабавивший ее остряк обернулся, я увидел, что это не кто иной, как Юлий Цезарь. Я удивился, а Цицерон заметно насторожился, поскольку ранее мы видели рядом с Помпеем лишь привычную тройцу: Паликана, Афрания и Габиния. Кроме того, Цезарь уже почти год был квестором в Испании. Как бы то ни было, он оказался здесь: как всегда гибкий, с чуть удивленным взглядом карих глаз и короткими прядями темных волос, тщательно зачесанными вперед. Но зачем я описываю внешность Цезаря? Сегодня его лицо знакомо всему миру!

Всего в то утро у Помпея собрались восемь сенаторов: он сам, Цицерон и Цезарь, трое уже упомянутых, близкий к нему пятидесятилетний ученый Варрон и Гай Корнелий, служивший квестором в Испании при Помпее. Последний наряду с Габинием был избран трибуном.

Идя сюда, я опасался, что буду выглядеть белой вороной среди высокопоставленных мужей, но, к счастью, этого не произошло. Другие гости Помпея также пришли с письмоводителями или носильщиками, и теперь все мы стояли на почтительном расстоянии, выстроившись в ряд. Принесли напитки, няньки увели детей, а Муция любезно попрощалась с каждым из гостей, особо выделив Цезаря. После этого рабы принесли стулья, чтобы все могли сесть. Я уже был готов выйти из атриума вместе с остальными слугами, когда Цицерон сообщил Помпею, что я знаменит на весь Рим изобретенным мной изумительным способом скорописи (он так и сказал), и предложил оставить меня, чтобы я занес на табличку каждое произнесенное слово. Я вспыхнул от смущения. Помпей окинул меня подозрительным взглядом, и на секунду мне показалось, что он ответит отказом. Однако, поразмыслив, полководец кивнул:

– Ладно, пусть остается. В конце концов, эта запись может оказаться полезной. Но при одном условии: с нее не будут снимать копий и свиток будет храниться у меня. Возражения есть?

Возражений не оказалось, после чего мне принесли табурет, и я уселся поодаль, приготовив восковые таблички и зажав в потной ладони железный стилус.

Стулья были расставлены полукругом. Когда все расселись, Помпей начал совещание. Как я уже говорил, он был начисто лишен дара публичного оратора, но, когда ему приходилось говорить в знакомой обстановке и в кругу людей, которых он считал своими сторонниками, от него веяло силой и властью. После того как совещание закончилось и я расшифровал свои записи, у меня забрали табличку, но я запомнил почти все и теперь могу воспроизвести беседу едва ли не дословно.

Помпей начал с того, что сообщил присутствующим подробности нападения пиратов на Остию. Потоплено девятнадцать консульских боевых трирем, убито около двухсот человек, сожжены два склада с зерном, взяты в заложники два претора вместе с сопровождающими. Один из преторов осматривал зернохранилища, второй проверял флот. За их освобождение пираты потребовали выкуп.

– Если хотите знать мое мнение, – заявил Помпей, – то я считаю, что мы ни в коем случае не должны вести переговоры с пиратами. Это лишь толкнет их на дальнейшие беззакония.

Все согласно закивали. Помпей сообщил, что набег на Остию был не единичным событием, а одним из звеньев в длинной цепи преступлений, самыми вопиющими из которых было похищение благородной дамы Антонии с ее виллы на мысе Мизенум (ее отец возглавлял поход против пиратов), разграбление храмовых сокровищ в Кротоне и внезапные нападения на Брундизий и Кайету. Где будет нанесен новый удар?

Рим столкнулся с новым, незнакомым для себя врагом. Пираты не имели правительства, с которым можно было бы вести переговоры, не были связаны никакими договорами и соглашениями. Не было у них и единовластия. То была чума, одинаково опасная для всех, и эту смертельную заразу следовало выжечь каленым железом – иначе даже Рим, при всей своей военной мощи, не мог бы чувствовать себя в безопасности. Тогдашний порядок, когда консул возглавлял войска лишь в определенном месте и в течение отведенного ему срока, не позволял справиться с этой угрозой.

– Я начал изучать этот вопрос задолго до нападения на Остию, – заявил Помпей, – и с уверенностью могу сказать, что пираты – это особый враг, борьба с которым требует особого подхода. Теперь настал наш час.

Он хлопнул в ладоши. Двое рабов внесли в атриум большую, выполненную из гипса карту Средиземноморья и установили ее на особую подставку. Присутствующие вытянули шеи, с любопытством рассматривая загадочные вертикальные линии, пересекавшие как сушу, так и море.

– С сегодняшнего дня мы не должны разделять военные и гражданские дела, – продолжил Помпей. – Будем бить всеми способами. – Он взял указку и направил ее на карту. – Я предлагаю разделить Средиземноморье на пятнадцать округов – от Геркулесовых столпов на западе до вод Египта и Сирии на востоке. В каждый округ будет назначен легат, которому поручат очистить вверенные ему земли от пиратов, а затем заключить с местными правителями соглашения, в соответствии с которыми корабли разбойников никогда больше не войдут в эти воды. Все пираты, захваченные в плен, должны быть выданы Риму. Любой правитель, который отказывается сотрудничать, тут же попадает в число врагов Рима. Те, кто не с нами, – те против нас! Пятнадцать легатов будут подчиняться главному военачальнику, обладающему всей полнотой власти над береговой полосой шириной в пятьдесят миль. Этим военачальником буду я.

Повисло долгое молчание. Первым его нарушил Цицерон.

– Бесспорно, это смелый замысел, Помпей, – заговорил он, – но некоторые могут посчитать, что девятнадцать потопленных трирем – еще не повод для его исполнения. Сознаешь ли ты, что за всю историю республики еще никто не сосредотачивал такой власти в своих руках?

– Сознаю, – ответил Помпей. Он пытался сохранить серьезное выражение лица, но не сумел, и его губы разъехались в широкой, довольной ухмылке. – Еще как сознаю! – добавил он и засмеялся, а следом за ним в хохоте зашлись все остальные, кроме Цицерона.

Мой хозяин был мрачен, словно только что на его глазах рухнул целый мир. В какой-то мере именно это и произошло. Он решил, что Помпей намерен подчинить себе все обитаемые земли, и хорошо понимал, какими последствиями это чревато.

– Возможно, следовало сразу же встать и уйти оттуда, – размышлял он вслух по дороге домой. – Наш бедный, честный Луций захотел бы, чтобы я поступил именно так. Но разве это остановило бы Помпея? Тот все равно сделал бы по-своему – со мной или без меня. А я подобной выходкой лишь навлек бы на себя его гнев и лишился бы надежд на преторство. Ведь теперь любой свой шаг я должен рассматривать с учетом этого.

Рассуждая подобным образом, Цицерон, разумеется, остался. Государственные деятели еще несколько часов обговаривали все стороны вопроса – от перемещения крупных военных сил до мелких внутриримских дел. Решили, что Габиний неделю спустя после своего вступления в должность предложит римскому народу закон об учреждении должности верховного

военачальника для освобождения моря от пиратов и назначит на нее Помпея, а затем вместе с Корнелием предпримет все усилия для того, чтобы другие трибуны не наложили вето.

Необходимо помнить, что во времена республики законы принимало только народное собрание. Мнение сенаторов значило много, но не являлось решающим. Считалось, что их задача – проводить в жизнь волю народа.

– Что скажешь, Цицерон? – спросил Помпей. – Ты что-то совсем притих.

– Риму посчастливилось, что в годину испытаний он может обратиться к человеку, обладающему таким опытом и такой дальновидностью, как ты, – осторожно заговорил Цицерон. – Но надо трезво смотреть на вещи: в сенате этот замысел встретит ожесточенное сопротивление, причем в первую очередь со стороны аристократов. Они будут утверждать, что это попытка присвоить власть под видом горячего желания защитить Рим.

– Я опровергну эти утверждения.

– Ты можешь опровергать все, что угодно, но одних слов будет мало. Потребуется доказать это, – сварливо откликнулся Цицерон. Он знал, что, как ни странно, самый надежный способ завоевать доверие выдающегося человека – говорить без обиняков, создавая ощущение, что ты честен и бескорыстен. – Аристократы также заявят, что твоя истинная цель – отстранить Лукулла от начальствования над восточными легионами и занять его место. – (Помпей лишь зарычал, но возразить ничего не мог, ведь это и являлось его истинной целью.) – И наконец, они постараются найти одного или двух трибунов, которые не пропустят закон Габиния.

– Я слушаю тебя, Цицерон, и мне кажется, что тебе здесь не место, – глумливо проговорил Габиний. Это был щеголь с густой волнистой шевелюрой, зачесанной челкой наподобие прически Помпея. – Чтобы добиться желаемого, нам нужны не защитники, а отважные сердца и крепкие кулаки.

– Сердца и кулаки вам, конечно, понадобятся, но без защитников тоже не обойтись, поверь мне, Габиний. Особенно тебе. Как только ты перестанешь быть трибуном и лишишься неприкосновенности, аристократы приволокут тебя в суд и потребуют для тебя смертной казни. Вот тогда тебе понадобится хороший защитник. То же касается и тебя, Корнелий.

– Хорошо. – Помпей воздел руку, чтобы не допустить перебранки. – Ты рассказал о трудностях. Как ты предлагаешь их преодолевать?

– Для начала, – заговорил Цицерон, – я настоятельно советовал бы, чтобы твое имя не упоминалось в законе. Не стоит с самого начала притязать на должность главноначальствующего.

– Но ведь это я придумал ввести ее! – обиженно воскликнул Помпей точь-в-точь как ребенок, у которого сверстники отбирают любимую игрушку.

– Согласен, но все же я настаиваю на том, что будет разумно не объявлять, кого мы прочим на нее. Ты вызовешь страшную зависть и ненависть у сенаторов. На тебя ополчатся даже умеренные, чьей поддержкой мы могли бы заручиться. Напирай на избавление от пиратов, а не на будущее Помпея Великого. Все и без того будут знать, что должность предназначена для тебя, а дразнить гусей раньше времени не стоит.

– Но что я скажу людям, когда предложу закон? – недоуменно спросил Габиний. – Что главным военачальником может стать первый же дурачок с улицы?

– Конечно нет, – ответил Цицерон, с трудом сдерживая раздражение. Я бы вычеркнул имя «Помпей» и вставил слова «сенатор в ранге консула». Круг сужается до пятнадцати или двадцати ныне живущих бывших консулов.

– Значит, у Помпея могут появиться соперники? – осведомился Афраний.

– Красс! – тут же выпалил Помпей, который ни на минуту не забывал своего старого врага. – Возможно, Катул. Есть еще Метелл Пий, он стар, но все еще в силе. Потом – Гортензий, Исаврик, Геллий, Котта, Курион... Даже братья Лукуллы!



– Что ж, если это тебя так беспокоит, укажем, что главноначальствующим может стать только бывший консул, чье имя начинается на букву «П».

Поначалу – в первые несколько секунд – никто не выказал своего отношения к этой колкости, и я подумал, что Цицерон зашел слишком далеко, но затем Цезарь откинул голову и оглушительно расхохотался. Увидев, что Помпей тоже улыбается, засмеялись и остальные.

– Поверь мне, Помпей, – продолжил Цицерон уверенным тоном, – большинство тех, кого ты перечислил, слишком стары или ленивы, чтобы соперничать с тобой. Самым опасным твоим противником может стать Красс, хотя бы потому, что он невероятно богат и завидует тебе. Но когда дело дойдет до голосования, ты одолеешь его, обещаю.

– Я согласен с Цицероном, – заявил Цезарь. – Давайте преодолевать препятствия по мере того, как они возникают. Сначала введем должность, а уж потом выберем главноначальствующего.

Я был потрясен властью, с которой говорил этот человек – самый младший из присутствующих.

– Решено, – подвел черту Помпей, – давайте напирать на разгром пиратов, а не на будущее Помпея Великого.

После этого все отправились обедать.

Затем случилось отвратительное происшествие, о котором мне тяжело вспоминать даже сейчас. Тем не менее я считаю необходимым поведать о нем, чтобы сохранять память о прошлом.

Те несколько часов, в течение которых сенаторы пиршествовали, а затем гуляли по саду, я провел за расшифровкой своих значков, чтобы отдать Помпею обычную запись. Закончив, я подумал, что неплохо бы показать получившееся Цицерону – на тот случай, если я допустил какую-то оплошность и он захочет ее исправить.

Зал, где шло совещание, был пуст, атриум – тоже, но где-то в отдалении ясно слышался голос сенатора, поэтому, взяв свиток с чистой записью, я направился туда, откуда он вроде бы доносился. Пройдя через окруженный колоннадой внутренний дворик с фонтаном, я обогнул портик и оказался во втором дворике. Но теперь голос не был слышен. До моего слуха доносились лишь плеск воды и пение птиц. И вдруг где-то совсем рядом послышался громкий, мучительный женский стон. Подпрыгнув от неожиданности, я как дурак повернул в ту сторону, сделал несколько шагов и, оказавшись напротив открытой двери, обнаружил Цезаря и жену Помпея. Муция не видела меня. Встав на колени и улегшись животом на стол, с задранной на спину одеждой и широко расставленными ногами, она опустила голову между рук и так крепко вцепилась в край стола, что ее ногти побелели. Зато меня заметил Цезарь, который находился лицом к двери и овладевал женой хозяина дома сзади. Одна его рука лежала на талии женщины, вторую он упер в ее бедро, подобно щеголю, стоящему на углу оживленной городской улицы. Его таз ритмично двигался взад и вперед, и вместе с ним дергалось тело благородной Муции, издававшей те самые сладострастные стоны, которые привели меня сюда. Наши глаза встретились. Я не помню, как долго мы смотрели друг на друга, но слегка удивленный, невозмутимый, беззастенчивый взгляд этих бездонных темных глаз преследовал меня сквозь годы беспорядков и войн.

К этому времени большинство сенаторов уже вернулись в залу. Цицерон обсуждал какой-то философский вопрос с Варроном, самым выдающимся ученым Рима, чьими трудами по истории и латинскому языку я искренне восхищался. В иных обстоятельствах я счел бы за честь быть представленным ему, но тогда меня неотступно преследовала только что виденная мной картина. Пробормотав что-то невразумительное, я передал свиток Цицерону, и тот, не прерывая беседы, сделал в рукописи какую-то поправку. Помпей, должно быть, заметил это:

подойдя к нам с широкой улыбкой, он изобразил притворный гнев и отобрал свиток у Цицерона, обвинив его в нарушении обещаний, которых тот, впрочем, не давал.

– Тем не менее ты можешь рассчитывать на мой голос во время преторских выборов, – пообещал он, похлопав Цицерона по спине.

Еще недавно я смотрел на Помпея как на бога среди людей – уверенного в себе, блистательного героя многих войн. Теперь же мне стало немного жалко его.

– Отличная работа, – заявил Помпей, пробежав глазами подготовленный мной свиток. – Ты в точности записал все, что я говорил. Сколько ты за него хочешь? – спросил он, обращаясь к Цицерону.

– Красс уже предлагал мне огромные деньги, но я отказался.

– Что ж, если когда-нибудь решишь устроить торги, не забудь позвать меня, – послышался вкрадчивый голос Цезаря, незаметно подошедшего сзади. – Я с удовольствием наложу лапу на твоего Тирана.

Он произнес это дружелюбным голосом и даже подмигнул мне. Один я расслышал в его словах скрытую угрозу, и от страха у меня даже закружилась голова.

– Я расстанусь с Тираном только тогда, когда удалюсь от общественных дел.

– Теперь мне еще больше захотелось купить его, – проговорил Цезарь, и все дружно засмеялись.

Было решено сохранить все, что обсуждалось, в тайне и встретиться через несколько дней в Риме, после чего собравшиеся разъехались. Как только мы миновали ворота и оказались на дороге, ведущей к Тускулу, Цицерон издал мучительный стон и ударил кулаком по деревянной стенке коляски.

– Это преступный заговор! – сказал он, в отчаянии мотая головой. – Хуже того, это глупый преступный заговор! Вот что бывает, Тиран, когда солдаты решают поиграть в государственных мужей. По их мнению, стоит только отдать приказ, и все тут же бросятся его выполнять. Народ поддерживает их, считая горячими радетелями за Рим, но именно это может их погубить. Ведь если они не снизойдут до государственных дел, то не добьются ровным счетом ничего, в противном же случае упадут в грязь и окажутся такими же продажными, как и все остальные.

Цицерон смотрел на озеро, которое уже начало темнеть в ранних зимних сумерках.

– Что ты думаешь о Цезаре? – внезапно спросил он. Я пробормотал нечто невразумительное – мол, этот человек, по всей видимости, метит очень высоко.

– Так и есть. Чрезвычайно высоко. За день у меня несколько раз возникало ощущение, что все эти удивительные построения родились именно в голове Цезаря, а не Помпея. Это, по крайней мере, объясняет его присутствие на сегодняшнем собрании.

Я обратил внимание Цицерона на то, что Помпей считает этот замысел своим.

– Можешь не сомневаться, он действительно в этом уверен, но таков уж этот человек. Ты говоришь ему что-то, а через некоторое время он начинает повторять то же самое, выдавая это за собственное изобретение. «Будем напирать на разгром пиратов, а не на будущее Помпея Великого» – вот хороший пример. Несколько раз – так, ради развлечения, – я опровергал при нем свои прежние утверждения и ждал, через сколько времени услышу от него эхо собственных слов под видом его личного «веского соображения». – Цицерон наморщил лоб и кивнул. – Да, уверен, что я прав. Цезарь достаточно умен, чтобы посеять зерно и дожидаться, пока оно не даст всходы. Любопытно, сколько времени он провел с Помпеем? Похоже, в его обществе он чувствует себя свободно.

Я чуть было не рассказал хозяину о том, что случайно увидел в доме Помпея, но вовремя прикусил язык. Меня остановили природная застенчивость, страх перед Цезарем и опасения насчет того, что Цицерон может подумать обо мне плохо, решив, что я подглядывал. Кроме того, какими словами смог бы я описать отвратительную сцену, свидетелем которой невольно

стал? Впрочем, я все же рассказал об этом Цицерону, но уже много лет спустя, когда Цезарь погиб и больше не представлял для меня угрозы, а Цицерон превратился в старика. Он долгое время молчал, а затем произнес:

– Я понимаю причины твоей скрытности и готов воздать тебе должное. Но, мой дорогой друг, было бы куда лучше, если бы ты поведал мне об этом тогда. Возможно, все обернулось бы иначе. По крайней мере, я бы гораздо раньше понял, с каким отчаянным, безоглядно дерзким человеком мы имеем дело. А так я осознал это слишком поздно.

Когда через несколько дней мы возвратились в Рим, город бурлил и полнился слухами. Пожар, по-прежнему полыхавший в Остии, был ясно виден во всех его частях: в ночном небе, на западе, колыхалось зловещее багровое зарево. Подобное нападение на столицу было беспримерным, и, когда в десятый день декабря Габиний и Корнелий стали трибунами, они быстро сумели превратить искры тревоги в пламя ужаса. По их приказу у городских ворот поставили больше стражников, все въезжавшие в город повозки и входившие в него люди подвергались обыску на предмет оружия, по пристаням и портовым складам круглосуточно ходили дозорные, на граждан, прятавших зерно, налагались огромные штрафы. И разумеется, с главных рынков – Бычьего и Зеленного – начисто пропали продукты.

Неукротимые новые трибуны также выволокли злополучного Марция Рекса – консула, срок полномочий которого истек, – на народный сход и подвергли его безжалостному перекрестному допросу, желая понять, какие просчеты с обеспечением безопасности сделали возможным несчастье в Остии. Находились все новые и новые свидетели, подтверждавшие, что угроза пиратского нападения не только существует, но и растет день ото дня. Звучали самые немыслимые утверждения. В распоряжении пиратов – тысяча кораблей! Это не собрание одиночек, а сплоченное воинство! У них есть соединения кораблей, и флотоводцы, и страшное оружие: отравленные стрелы и греческий огонь!

Никто в сенате не осмеливался поднять голос против всего этого из боязни быть обвиненным в благодушии. Сенаторы молчали, даже когда был отдан приказ соорудить цепочку оповестительных костров на всем протяжении дороги, ведущей к морю. Предполагалось, что их зажгут, если пиратские корабли войдут в устье Тибра.

– Что за вздор! – сетовал Цицерон, когда однажды утром мы вышли из дома, чтобы полюбоваться на плоды трудов двух наших знакомцев – Габиния и Корнелия. – Какой пират в здравом уме решит преодолеть двадцать миль открытого пространства по руслу реки, чтобы напасть на укрепленный город?

Он грустно покачал головой, размышляя о том, с какой легкостью могут недобросовестные государственные деятели вертеть робкими гражданами. Но что мог поделать Цицерон, если он и сам оказался в ловушке? Близость к Помпею вынуждала его хранить молчание.

На семнадцатый день декабря начались сатурналии – ежегодные празднества в честь Сатурна, которые должны были продлиться неделю, однако по понятным причинам все не слишком веселились. В доме Цицерона соблюдались все обряды: члены семьи обменивались подарками, рабам предоставили выходной день и даже разрешили принимать пищу вместе с хозяевами, но радости это не принесло. Обычно душой каждого праздника в доме становился Луций, однако теперь его с нами не было. Теренция полагала, что она беременна, но выяснилось, что это не так, и она загрустила, не на шутку встревожившись, что уже никогда не сможет родить сына. Помпония, как обычно, пилила Квинта, упрекая его в мужской несостоятельности, и даже маленькая Туллия ходила словно в воду опущенная.

Что касается Цицерона, то большую часть сатурналий он провел в комнате для занятий, упрекая Помпея в непомерном честолюбии и рисуя в своем воображении самые мрачные последствия, которые все это повлечет для государства и для его, Цицерона, будущности. До преторских выборов осталось меньше восьми месяцев, и Цицерон с Квинтом уже составили

список наиболее вероятных кандидатов. Кто бы ни был избран, впоследствии он мог стать соперником Цицерона на консульских выборах. Родные братья подолгу просчитывали все возможные сочетания, мне же, хотя я молчал, казалось, что им явно не хватает мудрости их двоюродного брата. Цицерон нередко подшучивал, говоря, что, если бы ему понадобился совет по поводу государственных дел, он попросил бы его у Луция и поступил бы наоборот. И все же Луций превратился в некую путеводную звезду, которой нельзя достичь, но к которой надо стремиться. С его уходом у братьев Цицеронов не осталось никого, кроме друг друга, а отношения между ними складывались не всегда безоблачно.

И вот, когда сатурналии закончились и общественная жизнь пошла полным ходом, Габиний взобрался на ростру и потребовал учредить должность главноначальствующего над войском.

Еще одно небольшое отступление. Когда я говорю о ростре, я имею в виду совсем не те жалкие сооружения, которые используются ораторами сегодня. Древняя, уничтоженная впоследствии ростра на главном городском форуме являлась сердцем римской демократии. Это был длинный резной помост четырех метров высоты, уставленный статуями героев античности, с которого к народу обращались трибуны и консулы. Позади располагалось здание сената, а передняя часть помоста смотрела на площадь форума. Ростра была украшена шестью носами кораблей (отсюда и пошло ее название), захваченных у карфагенян тремя веками раньше. Ее задняя часть представляла собой лестницу. Сделано это было для того, чтобы магистрат, выйдя из курии или штаб-квартиры трибунов, мог, пройдя пятьдесят шагов, подняться по ступеням и оказаться на ростре, перед слушателями, собравшимися на площади. Справа и слева располагались фасады двух величественных базилик, а впереди – храм Кастора и Поллукса. Именно там стоял Габиний тем январским утром, красноречиво и убедительно доказывая народу, что Риму нужен сильный человек, который возглавит борьбу с пиратами.

Несмотря на дурные предчувствия, Цицерон – с помощью Квинта – потрудился на славу и собрал на форуме своих сторонников, да и для пиценцев не составляло труда в любое время вывести на площадь до двухсот ветеранов из числа бывших воинов Помпея. Если прибавить к этому граждан, которые ежедневно слонялись возле Порциевой базилики, и тех, кого приводили на форум дела, получится, что Габиния в то утро слушали около тысячи человек. Он перечислял все, что нужно сделать для победы над пиратами: главноначальствующий – один из консулов, – наделенный трехлетним империем над прибрежной полосой шириной в пятьдесят миль, пятнадцать легатов-преторов, которые будут ему помогать, свободный доступ к римской казне, пятьсот боевых кораблей, а также право набирать до ста двадцати тысяч пехотинцев и пяти тысяч конников. Цифры, названные Габинием, потрясли воображение, и неудивительно, что его слова произвели ошеломляющее впечатление.

Когда он закончил первое чтение документа и, как положено, передал чиновнику, для того чтобы документ вывесили перед базиликой трибунов, к ростре торопливо подошли Катул и Гортензий, желая выяснить, что происходит. Стоит ли говорить, что Помпея там не было, а остальные члены «семерки» (так с некоторых пор стали называть себя сенаторы, сплотившиеся вокруг Помпея) держались подальше друг от друга, чтобы не быть заподозренными в заговоре. Однако эти хитрости не обманули аристократов.

– Если это твои проделки, – прорывал Катул, обращаясь к Цицерону, – можешь передать своему хозяину, что он получит такую драку, какой еще не видывал.

Их ярость оказалась еще более сильной, чем предсказывал Цицерон.

Согласно правилам, закон мог быть вынесен на голосование лишь через три базарных дня после первого чтения. Предполагалось, что за это время с ним смогут ознакомиться приезжающие в город сельские жители. Таким образом, на то, чтобы дать отпор, у аристократов оставалось время до начала февраля, и они не стали терять его попусту. Через два дня для обсуждения документа, прозванного «Габиниевым законом», было созвано заседание сената.

Цицерон настоятельно советовал Помпею не ходить на него, но тот, считая это делом чести, не послушался. Он велел собрать побольше своих сторонников, и, поскольку хранить все в тайне уже не требовалось, с ним отправились семеро сенаторов, образовав что-то вроде почетного охранения. К ним присоединился и Квинт в новенькой сенаторской тоге: он отправлялся в курию всего в третий или четвертый раз.

Я, как обычно, держался поближе к Цицерону. «Мы должны были понять, что попали в беду, когда стало ясно, что больше к нам не присоединится ни один сенатор», – горестно жаловался Цицерон впоследствии.

От Эсквилинского холма до форума мы добрались без происшествий. Люди Помпея знали свое дело, и на всем пути люди встречали процессию приветственными криками и слезными просьбами избавить их от угрозы нападения пиратов. Помпей, в свою очередь, величественно приветствовал их, как хозяин поместья – арендаторов. Когда мы вошли в сенат, со всех сторон послышались враждебные возгласы и улюлюканье. Кто-то швырнул гнилой помидор, который попал Помпею в плечо и оставил на белоснежной тоге мерзкое коричневое пятно. Ничего подобного с прославленным военачальником до тех пор не происходило; Помпей в изумлении остановился и стал озираться по сторонам. Стремясь защитить своего вождя, Афраний, Паликан и Габиний тесно обступили него, точно вновь оказались на поле брани. Цицерон протянул руку, призывая их занять свои места. Он прекрасно понимал: чем скорее они усядутся, тем быстрее прекратятся проявления недоброжелательства.

Я вместе с остальными зрителями стоял у входа, перегороженного, как обычно, веревочным барьером. Все кто был там, поддерживали Помпея, и чем сильнее бесновались сенаторы, тем громче звучал одобрительный гул толпы. Председательствующему консулу понадобилось немало усилий, чтобы успокоить разбушевавшихся государственных мужей.

Новыми консулами в том году были Глабрион, старый друг Помпея, и аристократ Кальпурний Пизон. Читатель, не перепутай его с другим сенатором, носившим такое же имя: я еще упомяну его, если боги дадут мне силы довести мой труд до конца.

Самым скверным предвестием для Помпея стало то, что Глабрион предпочел не приходить на заседание сената, уступив место председателя Пизону. Он не хотел открыто возражать тому, кто вернул ему сына.

Я видел, что Гортензий, Катул, Исаврик, Марк Лукулл, сын начальствующего над восточными легионами, и другие представители знатных семейств приготовились ринуться в бой. В этой когорте не хватало разве что троих братьев Метеллов. Квинт Метелл был наместником на Крите, а двое младших, словно в доказательство тщеты всех земных устремлений человека, умерли от лихорадки через некоторое время после суда над Верресом. Но самым тревожным было то, что даже педарии – неприметные, терпеливые, неповоротливые сенаторы, которых Цицерон так усердно старался переташить на свою сторону, – либо утрюмо молчали, либо были настроены враждебно к Помпею, озабоченному собственным величием.

Что до Красса, то он развалился на передней скамье – руки на груди, ноги вытянуты вперед – и хранил зловещее молчание, буравя Помпея взглядом, не обещавшим ничего хорошего. Причины его хладнокровия были очевидны. Позади него, словно боевые псы, только что купленные на торгах и теперь выставленные на всеобщее обозрение, сидели двое трибунов этого года: Росций и Трибеллий. Таким образом Красс давал всем понять: у него хватило денег, чтобы купить даже не одно, а два вето, и Габиниев закон не пройдет, несмотря на все уловки Помпея и Цицерона.

Пизон воспользовался своим правом и взял слово первым. Много лет спустя Цицерон пренебрежительно отзывался о нем как об ораторе малоподвижном и тихом, но в тот день Пизон был совершенно другим.

– Мы знаем, к чему ты клонишь! – кричал он на Помпея. – Ты пренебрегаешь прочими сенаторами и хочешь возвыситься, сделаться вторым Ромулом, убившим своего брата, чтобы

править единолично! Однако вспомни, какая участь постигла Ромула, убитого собственными сенаторами, которые изрубили его на части и растащили по домам куски тела!

После этих слов аристократы повскакивали с мест, а я обратил внимание на застывший профиль Помпея, который смотрел прямо перед собой, не в силах поверить, что все это происходит на самом деле.

После Пизона слово взял Катул, затем – Исаврик. Однако самым тяжелым ударом стало выступление Гортензия. В течение года после окончания его консульского срока Гортензия почти не видели на форуме. Его зять Цепион, любимый старший брат Катона, служивший на востоке, недавно умер, оставив дочь Гортензия вдовой, и поговаривали, что у Плясуна уже не осталось сил для борьбы. Однако стремление Помпея заполучить невиданную доселе власть словно вернуло Гортензия к жизни, и он выступал пылко и искусно, как в свои лучшие годы. Избегая напыщенности и не скатываясь до грубости, он перечислил все, на чем издревле стояла республика: разделение власти, ее ограничение и ежегодное обновление посредством выборов. Гортензий заявил, что лично он не имеет ничего против Помпея и даже полагает, что тот подходит для должности верховного начальника над войсками больше, чем любой другой человек в государстве. Однако, продолжил он, если Габиниев закон будет принят, это станет опасным примером, противным самому духу Рима. Нельзя отбрасывать старинные свободы из-за переходящей угрозы – пиратов.

Цицерон ерзал на скамье, и мне подумалось, что если бы он был свободен в своих высказываниях, то произнес бы то же самое.

Когда Гортензий уже подбирался к концу, с одного из задних мест, того самого, где сидел когда-то Цицерон, поднялся Цезарь и сказал Гортензию, что хочет взять слово. Уважительная тишина, стоявшая во время выступления великого защитника, мигом рассеялась. Нельзя не признать, что осадить Гортензия при тех настроениях, которые царили в зале, было весьма смелым шагом. Взойдя на место для выступлений, Цезарь дождался, когда возмущенный гам немного уляжется, и заговорил в своей манере – ясной, неотразимой и безупречной.

Нет ничего противного духу Рима в том, чтобы очистить моря от пиратов, сказал он, а вот хотеть этого, но лицемерно отвергать предлагаемые для этого способы действительно не по-римски. Если учреждения республики работают безупречно, как следует из слов Гортензия, как могло случиться, что угроза со стороны пиратов приобрела такие размеры? И теперь, когда она настолько велика, кто и каким образом сумеет устранить ее?

– Несколько лет назад, направляясь на Родос, я сам оказался в плену у пиратов, и за меня потребовали выкуп. Когда меня освободили, я вернулся и охотился на своих похитителей, пока не переловил всех до одного. А потом выполнил обещание, которое дал сам себе, еще будучи пленником: добился того, что все они были распяты. Вот это, уважаемый Гортензий, по-римски! Только так можно победить пиратство, и Габиниев закон позволит сделать это!

Закончив говорить, Цезарь под оскорбительные крики и свист с надменным видом последовал к своему месту. В другом конце зала началась драка. Один из сенаторов отвесил Габинию зуботычину, тот развернулся и дал обидчику сдачи. Через секунду он уже барахтался под горой тел в белых тогах. Послышались вопли и треск – одна из скамей развалилась на части под тяжестью рухнувшего на нее законодателя. Я потерял Цицерона из виду.

– Габиния убивают! – заполошно закричал кто-то позади меня.

Толпа стала напирать с такой силой, что веревка лопнула, и мы, стоявшие в первых рядах, буквально ввалились в зал заседаний. Мне повезло: я успел откатиться в сторону, а несколько сотен помпеянцев из числа плебса (должен сказать, рожи у них были совершенно зверские) ворвались в главный проход, кинулись к Пизону и стащили его с курульного кресла. Один из этих скотов схватил за шею второго консула, и в течение нескольких секунд казалось, что вот-вот свершится убийство. Но в следующее мгновение появился сумевший высвободиться Габиний, который тут же взобрался на скамью, давая понять своим приверженцам, что он жив

и здоров. Габиний призвал их отпустить Пизона, и те после недолгого препирательства выполнили это требование, хотя и неохотно. Потирая горло, консул объявил заседание закрытым, и таким образом – по крайней мере, на некоторое время – угроза безначалия была устранена.

Подобных сцен насилия – да еще в средоточии государственной власти – Рим не видел более четырнадцати лет. Цицерон был потрясен, хотя по сравнению с другими он отделался легко, его безупречная тога даже не помялась. Из носа и разбитой губы Габиния текла кровь, и Цицерон под руку вывел его из зала. Помпей покинул сенат еще раньше и шел медленно, как в траурной процессии, глядя прямо перед собой. Особенно сильно мне врезалась в память гробовая тишина, царившая, когда сенаторы и плебеи расступились, чтобы пропустить его. Казалось, противоборствующие стороны в последний миг осознали, что дерутся на краю обрыва, и здравый смысл восторжествовал. Мы вышли на форум. Помпей по-прежнему молчал. Когда он свернул на Аргилет, его сторонники последовали за ним – возможно, просто от нечего делать. Афраний, шагавший рядом с Помпеем, обернулся и передал по цепочке, что военачальник желает устроить совещание. Я спросил Цицерона, не нужно ли ему что-нибудь, и он, горько усмехнувшись, ответил:

– Нужно. Спокойная жизнь в Арпине.

К нам подошел Квинт и озабоченно проговорил:

– Помпей должен отступить, иначе он подвергнется унижению.

– Он уже подвергся унижению, – едко отозвался Цицерон, – а вместе с ним и мы. Солдаты! – с отвращением добавил он. – Что я тебе говорил? Я бы, например, не решился отдавать им приказы на поле битвы, почему же они считают, что разбираются в государственных делах лучше меня?

Поднявшись по склону холма, мы дошли до дома Помпея и гурьбой ввалились внутрь, оставив за порогом молчаливую толпу. После первого совещания я теперь неизменно присутствовал на встречах «семерки» и записывал все, что на них говорилось. И когда я пристроился в углу со своими восковыми дощечками, никто даже не посмотрел в мою сторону.

Сенаторы расселись за большим столом, во главе которого сел Помпей. Его обычную самоуверенность как рукой сняло. Сгорбившись в похожем на трон кресле, он напоминал большого зверя, пойманного и посаженного в клетку карликами, которых до этого даже не воспринимал всерьез. Он был готов сдаться, твердил, что все кончено, что сенаторы не допустят его назначения и что он может надеяться только на уличное отребье. Подкупленные Крассом трибуны в любом случае не пропустят закон, а ему, Помпею, остается выбирать между смертью и изгнанием.

Цезарь думал иначе. Помпей, говорил он, по-прежнему пользуется в Риме любовью, как никто другой, и должен немедленно заняться набором солдат в свое войско, костяк которого составят ветераны его легионов. Когда он соберет большие силы, сенаторы непременно уступят. Это как игра в кости: если ты проиграл, не отчаивайся, а удвой ставку и бросай снова. Плевать на аристократов! В случае надобности Помпей сможет получить власть с помощью народа и войска.

Я видел, что Цицерон приготовился говорить, и был уверен, что он не одобряет обе эти крайности. Но воздействовать на десятерых слушателей – не менее сложная наука, чем управлять толпой из сотен людей. Цицерон дождался, когда выскажутся все, и только после этого взял слово.

– Как тебе известно, Помпей, – начал он, – я с самого начала отнесся к этому замыслу с некоторым опасением. Однако после сегодняшнего провала в сенате мое мнение коренным образом изменилось. Теперь мы просто обязаны победить – чтобы спасти тебя, Рим, а также честь и достоинство тех людей, которые поддержали тебя, то есть нас самих. О том, чтобы

сложить оружие, не может быть и речи. На поле брани ты всегда был львом и не можешь превратиться в мышь, оказавшись в Риме.

– Выбирай выражения, законник! – угрожающе проговорил Афраний, погрозив Цицерону пальцем, но тот не обратил на него внимания.

– Можешь представить, что произойдет, если ты сейчас сдашься? Законопредложение уже обнародовано, народ требует принять самые решительные меры против пиратов. Если главноначальствующим не станешь ты, им сделается кто-нибудь другой, и, уверяю тебя, это будет Красс. Ты сам сказал, что Красс купил двух трибунов. Правильно, и он добьется, чтобы закон прошел, но вместо твоего имени впишет туда свое. И как ты, Габиний, сможешь его остановить? Наложить вето на собственный закон? Невозможно! Как видите, мы не можем сейчас оставить поле боя.

Если и существовал довод, способный поднять Помпея на битву, так это упоминание о том, что Красс может украсть его славу. Он выпрямился в кресле, выпятил челюсть и обвел взглядом собравшихся.

– В войске всегда есть разведчики, Цицерон, – заговорил он. – Удивительные люди, которые способны найти путь на самой сложной местности – в горах, болотах, в лесах, где не ступала нога человека. Но в государственных делах, оказывается, существуют трясины, с которыми мне еще никогда не приходилось сталкиваться. Если ты сможешь указать мне верный путь, у меня не будет друга преданнее тебя!

– Ты готов полностью довериться мне?

– Ты – наш разведчик.

– Очень хорошо, – кивнул Цицерон. – Габиний, завтра ты вызовешь Помпея на ростру и попросишь его стать главноначальствующим.

– Отлично! – воинственно рявкнул Помпей, сжав свои огромные кулаки. – И я соглашусь!

– Нет-нет, – мотнул головой Цицерон, – ты ответишь решительным отказом. Скажешь, что ты и без того много сделал для Рима, что у тебя нет притязаний на власть и ты удаляешься в свое загородное поместье.

На Помпея было жалко смотреть. От удивления у него даже открылся рот.

– Не волнуйся, – поспешил успокоить его Цицерон, – речь для тебя напишу я сам. Потом, в середине дня, ты уедешь из города и не вернешься. Чем более безразличным ты будешь выглядеть, тем настойчивее народ станет требовать, чтобы ты вернулся. Ты будешь нашим Цинциннатом, призванным от сохи, чтобы спасти страну от катастрофы<sup>25</sup>. Это самый убедительный образ из всех, которые только можно использовать, поверь мне.

Кое-кто из присутствующих выступил против столь рискованного образа действий, но идея прикинуться скромником показалась тщеславному Помпею привлекательной. Разве о том же не мечтает любой гордый и честолюбивый мужчина? Вместо того чтобы валяться в пыли, сражаясь за власть, он будет сидеть в саду собственного поместья, а люди сами приползут к нему, да еще станут умолять, чтобы он взял в свои руки бразды правления!

Чем больше Помпей размышлял над предложением Цицерона, тем больше оно ему нравилось. Его достоинство и величие не пострадают, он проведет несколько приятных недель в своем поместье, а если замысел провалится, в этом будет виноват не он.

– Твои слова звучат мудро, – проговорил Габиний, осторожно трогая разбитую в потасовке губу, – но ты, похоже, кое-что забыл: с народом у нас все хорошо, а вот с сенатом – не очень.

---

<sup>25</sup> *Цинциннат* – римлянин времен ранней республики, получивший известность благодаря необычайно скромному образу жизни. По окончании срока своего консульства удалился в небольшое имение неподалеку от Тибра, но позже, во время кризиса, стал диктатором на четырнадцать дней, а затем вернулся к обработке своего надела.



– Сенаторы прозреют, когда им станут ясны последствия отставки Помпея. Они окажутся перед выбором: либо не предпринимать никаких действий против пиратов, либо назначить главноначальствующим Красса. Для подавляющего большинства сенаторов неприемлемо и то и другое. Нужно немного подмазать, и они покатаются в нашу сторону.

– Великолепно! – с нескрываемым восхищением воскликнул Помпей. – Разве он не мудрец, друзья мои? Разве я не говорил вам, что он умен?

– Теперь о пятнадцати легатах, – продолжил Цицерон. – Не менее половины этих должностей следует раздать нужным людям, чтобы заручиться поддержкой в сенате. – Габиний и Афраний, чувствуя, что должности, на распределении которых они собрались пожить, ускользают из их рук, стали громко возражать, но Помпей лишь махнул рукой, веля им умолкнуть. – Ты – народный герой, – развивал свою мысль Цицерон, – ты горишь любовью к отечеству и стоишь выше мелких ссор и происков. Не надо использовать свое влияние, вознаграждая друзей, которые и так верны тебе, – примени его, чтобы разобщить своих врагов. Лучшее средство расколоть круговую поруку аристократов – сделать так, чтобы кое-кто из них согласился служить под твоим началом.

– Одобряю, – заявил Цезарь, сопроводив свои слова решительным кивком. – План Цицерона лучше, чем мой. А ты, Афраний, прояви терпение. Это лишь первые шаги. В конце пути мы все будем вознаграждены.

– Победа над врагами Рима будет для нас достаточной наградой, – лицемерно проговорил Помпей.

Когда мы возвращались домой, Квинт сказал:

– Надеюсь, ты знаешь, что делаешь.

– Я тоже надеюсь на это, – ответил Цицерон.

– Главное затруднение – Красс и двое его трибунов, с помощью которых он может отвергнуть закон. Как ты собираешься преодолеть это препятствие?

– Понятия не имею. Будем надеяться, что решение придет само. Чаще всего так и бывает.

Только тогда я понял, до какой степени Цицерон полагается на свое старое правило: сначала ввяжись в драку, а уж затем поймешь, как в ней победить. Он пожелал Квинту спокойной ночи и пошел дальше, задумчиво склонив голову. Если изначально он не очень-то верил в великие замыслы Помпея, то теперь руководил их воплощением в жизнь. Цицерон понимал, что ему придется нелегко, и не в последнюю очередь – из-за собственной жены. Насколько мне известно, женщины не очень любят, когда мужчины забывают прошлое. Было бы сложно объяснить Теренции, почему ее муж должен стать мальчиком на побегушках у «Пиценского красавчика», как она упрямо называла Помпея, особенно после скандальных событий в сенате, о которых говорил уже весь город.

Теперь она – готовая к битве – ждала мужа в таблинуме и, как только мы появились, немедленно набросилась на Цицерона.

– Не могу поверить, что дошло до такого! – бушевала Теренция. – С одной стороны – сенат, с другой – чернь, а где же мой муж? Ну конечно, как всегда, с чернью! Теперь-то, надеюсь, ты прервешь с Помпеем всякие отношения?

– Завтра он сообщит о своей отставке, – сообщил Цицерон.

– Что?!

– Это правда. Нынешней ночью я сам буду писать для него прощальную речь. Поэтому, если ты не возражаешь, я поужинаю в комнате для занятий. – Он прошел мимо жены и, как только мы очутились в комнате, спросил меня: – Как думаешь, она мне поверила?

– Нет, – ответил я.

– Вот и я так полагаю, – хихикнул Цицерон. – Она слишком хорошо меня знает.

Теперь он был достаточно богат и мог бы развестись с женой, чтобы подобрать себе более подходящую спутницу – во всяком случае, более привлекательную. К тому же Цицерон был

разочарован тем, что Теренция не может родить ему сына. И все-таки, несмотря на бесконечные ссоры, он оставался с ней. Это нельзя было назвать любовью, по крайней мере, в том смысле, который вкладывают в это слово поэты. Их связывало другое, гораздо более крепкое чувство. Рядом с Теренцией он постоянно чувствовал себя бодрым, она была для него чем-то вроде точильного камня для клинка.

В ту ночь она нас не беспокоила, и Цицерон диктовал мне слова, которые на следующий день должен был произносить Помпей. Раньше хозяин ни для кого не писал речей, это было что-то новое. Теперь, конечно, многие сенаторы заставляют рабов делать это. Я даже слышал про одного, который не знал, о чем будет говорить, пока ему не приносили написанное. Как такие люди могут называть себя государственными деятелями?! Однако Цицерону понравилось сочинять выступления для других. Его забавляло, что слова, которые он нанизывает друг на друга, вскоре будут произносить великие люди, если, конечно, у них есть хоть капля мозгов. Позже он с большим успехом использовал этот прием в своих книгах. Цицерон даже придумал для Габиния высказывание, которое стало знаменитым: «Помпей Великий рожден не для самого себя, но для Рима!»

Он решил сделать речь короткой, и поэтому мы закончили работу еще до полуночи, а наутро, после того как Цицерон позанимался зарядкой и поприветствовал лишь самых важных клиентов, отправились к Помпею и передали ему свиток с речью. Помпей был возбужден и донимал Цицерона вопросами о том, так ли уж хороша идея с уходом в отставку. Однако Цицерон справедливо решил, что военачальник просто беспокоится перед выходом на роstrу, и оказался прав: как только в руках у Помпея оказался свиток, он заметно успокоился. Тогда Цицерон стал натаскивать Габиния, который тоже был там, но трибун не хотел повторять, как актер, чужие высказывания, и не желал говорить, что Помпей «рожден не для себя, но для Рима».

– Почему? – насмешливо спросил Цицерон. – Или ты в это не веришь?

– Хватит жаловаться! – грубо рявкнул Помпей на Габиния. – Скажешь все, что велено!

Габиний замолчал, но метнул в сторону Цицерона злой взгляд. Думаю, именно тогда они стали тайными врагами. Хороший пример того, как сенатор наживал себе недругов опрометчивой шуткой.

На форуме собралась толпа – всем не терпелось увидеть продолжение вчерашнего представления. Доносившийся оттуда шум мы услышали еще на склоне холма, когда спускались от дома Помпея, – устрашающий рокот, который всегда заставлял меня вспоминать огромное море и волны, накатывающиеся на далекий берег.

На форуме собрались почти все сенаторы, причем аристократы окружили себя приверженцами, чтобы те защитили их в случае надобности и освистали Помпея, который, по их мнению, собирался заявить о своих притязаниях на должность главноначальствующего. Сам Помпей вошел на форум в сопровождении Цицерона и своих союзников-сенаторов, однако тут же отделился от них и прошел к задней части роstrы, где под нараставший гул толпы стал прохаживаться, зевать и потирать руки – словом, проявлять все возможные признаки беспокойства. Цицерон пожелал ему удачи и отправился к передней части роstrы, где стояли остальные сенаторы. Ему хотелось понаблюдать за ними. Десять трибунов заняли свои места на помосте, затем вперед вышел Габиний и прокричал:

– Я призываю предстать Помпея Великого перед народом Рима!

В государственных делах очень много значат внешность и умение держаться, а Помпей, как никто другой, умел быть величественным. Широкоплечий, он появился на ростре, встреченный оглушительными рукоплесканиями своих сторонников. Он стоял неподвижно и величаво, как утес, слегка откинув крупную голову, и смотрел на обращенные к нему лица. Ноздри его раздувались, будто он вдыхал запах собственной славы.

Обычно люди ненавидят зачитывать написанные для них речи, предпочитая говорить наудачу, но тут был совсем иной случай. Помпей медленно, так, словно подчеркивал важность этой минуты и показывал, что он стоит выше дешевых ораторских хитростей, развернул свиток с заготовленным текстом.

– Народ Рима! – зазвучал его голос в мгновенно наступившей тишине. – Когда мне было семнадцать, я сражался под началом своего отца, Гнея Помпея Страбона, за то, чтобы в стране воцарилось единство. Когда мне было двадцать три, я собрал пятнадцатитысячное войско и разгромил объединенные силы мятежников Брута, Целия и Каррина, и солдаты прямо на поле битвы провозгласили меня императором. Когда мне было тридцать, еще не войдя в сенат, я принял наши войска в Испании, получив полномочия проконсула, шесть лет сражался с мятежниками и победил. В тридцать шесть я вернулся в Италию и уничтожил последние остатки полчищ беглого раба Спартака. В тридцать семь меня избрали консулом и во второй раз удостоили триумфа. Став консулом, я вернул вашим трибунам исконные права и устроил игры. Когда бы ни возникала опасность для граждан Рима, я неизменно приходил им на помощь. Всю свою жизнь я возглавлял солдат. Сегодня граждане столкнулись с новой, невиданной доселе угрозой. Поступило разумное предложение: создать особые силы во главе с начальником, наделенным неслыханными полномочиями. Кого бы вы ни избрали, он должен пользоваться поддержкой всех сословий, ведь такое можно поручить только человеку, которому доверяют все. После вчерашних событий мне стало ясно, что я не пользуюсь доверием сенаторов, поэтому хочу сказать вам: сколько бы меня ни уговаривали принять эту должность, я не дам своего согласия. Я устал повелевать. Сегодня я заявляю, что больше не притязаю ни на какие государственные должности. Я покидаю город, чтобы вернуться к природе и, подобно моим пращурам, возделывать землю.

После нескольких секунд ошеломленного молчания толпа испустила разочарованный вой, а Габиний, как и было условлено, выскочил на середину ростры.

– Этого нельзя допустить! – завопил он. – Помпей Великий рожден не для самого себя, но для Рима!

Как и следовало ожидать, раздался одобрительный рев, который, отражаясь от стен базилик и храмов, бил по ушам, и без того наполовину оглохшим от шума. Толпа восторженно заорала: «Пом-пей! Пом-пей! Рим! Рим!»

Когда вопли немного утихли, Помпей снова заговорил:

– Ваша доброта трогает меня, мои дорогие сограждане, но мое присутствие в городе может помешать вам сделать мудрый выбор. Вам предстоит избрать достойного человека из числа бывших консулов. И помните: хотя я покидаю Рим, мое сердце навсегда останется с вашими сердцами и храмами Рима. Прощайте!

Помпей поднял свиток, поприветствовав с его помощью бесновавшуюся толпу, а затем развернулся и решительно направился к выходу, как бы не слыша призывов остаться. Под ошеломленными взглядами трибунов он спустился по ступеням. Сначала из поля зрения исчезли его ноги, затем торс и, наконец, благородная голова. Некоторые люди рядом со мной стали рыдать и рвать на себе одежду и волосы, и даже я, знавший, что все это от начала до конца было притворством, не удержался от всхлипываний. Сенаторы переглядывались с таким видом, словно на них пролился ледяной дождь. Одни вели себя дерзко, но большинство выглядели потрясенными и изумленно хлопали глазами. Сколько все помнили себя, Помпей был самым выдающимся римлянином, и вот теперь – его не будет?

На лице Красса отражалось многообразие чувств, передать которые не смог бы даже величайший художник. Ему впервые в жизни представилась возможность выйти из тени Помпея и стать главноначальствующим, но он понимал, что тут дело нечисто.

Цицерон оставался на форуме долго, наблюдая за своими коллегами-сенаторами, а затем торопливо направился к задней части ростры, чтобы рассказать о своих наблюдениях. Там уже

находились прихлебатели Помпея и все пищенцы. Слуги обступили закрытые носилки с сине-золотой парчовой занавеской, чтобы отнести хозяина к Капенским воротам, и полководец уже собирался залезть в них. Как многие, только что произнесшие важную речь, – я не раз видел это – он упивался чувством собственного превосходства и одновременно желал, чтобы его приободрили.

– Все прошло отлично, – сказал он. – А ты как думаешь?

– Я согласен с тобой, – ответил Цицерон. – Все было великолепно.

– Тебе понравилось, как я сказал в конце? Что мое сердце навсегда останется с их сердцами и храмами Рима?

– Это было невероятно трогательно.

Помпей довольно заворчал, уселся на подушки в своих носилках и опустил занавеску, но сразу же отвел ее в сторону и спросил:

– Ты уверен, что все пойдет, как задумано?

– Наши противники в замешательстве. Для начала и это хорошо.

Занавеска снова упала и через мгновение вновь отодвинулась.

– Когда состоится голосование по закону?

– Через пятнадцать дней.

– Извещай меня обо всем. Посылай сообщения каждый день.

Цицерон отступил в сторону, и рабы подняли носилки. Очевидно, они были крепкими парнями, поскольку, несмотря на изрядный вес Помпея, резво понесли его мимо здания сената к выходу с форума. Помпей Великий возвышался над толпой, подобно божеству, а за ним, словно хвост кометы, тянулась процессия почитателей и клиентов.

– Нравится ли мне, как он сказал в конце? – повторил Цицерон, глядя вслед Помпею, и неодобрительно покачал головой. – Конечно нравится, Дурак Великий, ведь это придумал я.

Я думаю, Цицерону было нелегко растрачивать столько сил на вождя, которым он не восхищался, и на дело, которое он считал несправедливым. Но у того, кто поднимается к вершине власти, неизбежно появляются неприятные попутчики. И Цицерон знал, что обратного пути уже нет.

## ХП

Следующие две недели в Риме только и говорили что о морских разбойниках. Габиний и Корнелий, по тогдашнему выражению, «жили на ростре», иными словами, каждый день напоминали народу о пиратской угрозе, выступая со свежими воззваниями и вызывая новых свидетелей. Пересказ ужасных новостей стал для них едва ли не ремеслом. К примеру, был пущен слух об изощренном издевательстве: если кто-то из попавших в плен объявлял себя гражданином Рима, пираты изображали страх и молили о пощаде. Пленнику даже давали тогу и сандалиии, низко кланялись ему всякий раз, когда тот показывался, и эта игра длилась долго – но наконец, далеко в море, разбойники спускали сходни и говорили своему пленнику, что он свободен. А если человек отказывался спускаться в воду, его просто выкидывали за борт. Рассказы эти приводили в гнев людей на форуме, привыкших к тому, что магические слова «Я – римский гражданин» во всем мире выслушивают с глубоким почтением.

Сам Цицерон с ростры не выступал – как ни странно, ни разу. А дело было в том, что он решил воздерживаться от речей до той минуты, когда его слово сможет воздействовать сильнее всего. Конечно, ему очень хотелось нарушить молчание: выступая по этому вопросу, он мог с легкостью разить аристократов, и ему было что сказать. Но все же он отказался, решив, что предложение уже поддержано народом на улицах и что ему лучше действовать за кулисами, продумывая дальнейшие ходы и пытаясь склонить на свою сторону колеблющихся сенаторов. Разнообразие ради он притворился умеренным, вращаясь в привычном для себя сена-

куле, где выслушивал жалобы педариев, обещал передать Помпею униженную мольбу или иное ходатайство или – очень редко – туманно предлагал влиятельным особам высокие должности. Ежедневно в дом приходил гонец из поместья Помпея на Альбанских холмах и приносил послание, содержавшее что-нибудь новое – жалобу, запрос или предписание («Не заметно, чтобы наш новый Цинциннат уделял много времени вспашке земли», – замечал Цицерон с едкой усмешкой). И каждый день сенатор диктовал мне дельный ответ, часто называя имена тех мужей, которых Помпею стоило бы вызвать для беседы. Задача эта была непростой – надлежало по-прежнему делать вид, будто Помпей оставил государственные заботы. Но алчность, лесть, честолюбие, сознание того, что назначение главноначальствующего необходимо, и страх в связи с тем, что им может стать Красс, делали свое дело. В стане Помпея оказалось полдюжины влиятельнейших сенаторов, самым видным из которых был Луций Манлий Торкват, только что расставшийся с преторством и явно желавший быть избранным консулом в следующем году.

Как обычно, главная угроза замыслам Цицерона исходила от Красса. Тот не пребывал в праздности: раздавал заманчивые обещания, завоевывал себе сторонников. Для тех, кто следил за борьбой в верхах, это было поистине захватывающим зрелищем: два извечных соперника, Красс и Помпей, шли буквально голова в голову. У каждого было по паре прикормленных трибунов, и каждый, таким образом, имел возможность наложить вето на принимаемый закон. К этому следовало прибавить тайных сторонников в сенате. Красса поддерживало большинство аристократов, опасавшихся Помпея больше любого другого человека во всей республике. Зато Помпей пользовался любовью народа.

– Они подобны двум скорпионам, кружащим в ожидании удобного времени для нападения, – сказал как-то утром Цицерон, откинувшись на свое ложе, после того как продиктовал очередное послание Помпею. – Ни один не может победить в открытой схватке. Но каждый в состоянии убить другого.

– Как же тогда одержать победу? И кто победит?

Посмотрев на меня, он вдруг выбросил руку и хлопнул ладонью по столу с такой быстротой, что я от неожиданности подскочил на месте.

– Тот, кто нанесет неожиданный удар.

Эти слова он изрек за какие-нибудь четыре дня до того, как народу предстояло проголосовать за Габиниев закон<sup>26</sup>. Цицерон все еще не придумал, как обойти вето со стороны Красса. Он был утомлен телом и духом, вновь принялся рассуждать о том, что неплохо бы нам удалиться в Афины и заняться философией. Прошел день, потом следующий, за ним – еще один, а выход так и был найден. В последний день перед голосованием я, как обычно, поднялся на заре и отворил дверь клиентам Цицерона. Теперь, когда все узнали о его близости к Помпею, эта утренняя толпа удвоилась в размерах. Во все часы наш дом был полон просителями и доброжелателями – к вящему неудовольствию Теренции. Среди них встречались люди с громкими именами: к примеру, в то утро пришел Антоний Гибрида, второй сын великого оратора и консула Марка Антония, – у него только что завершилось трибунство. Этого глупца и пьяницу следовало, несмотря ни на что, принять первым.

На улице было сумрачно, шел дождь. От мокрых волос и влажных одежд посетителей пахло псиной. Черно-белый мозаичный пол покрылся дорожками грязи, и я уже подумывал о том, чтобы позвать домашнего раба для уборки, когда дверь в очередной раз открылась и в дом вошел не кто иной, как Марк Лициний Красс. Я был настолько потрясен, что на время утратил ощущение опасности и приветствовал его столь же просто и естественно, как если бы он был безвестным пришельцем, явившимся с просьбой о рекомендательном письме.

---

<sup>26</sup> Закон, принятый в 67 г. до н. э., давал Помпею широчайшие полномочия в борьбе с пиратами, что, по сути, означало движение в сторону монархической власти.

– И тебе доброе утро, Тирон, – ответил он на мое приветствие. Он помнил мое имя, хотя видел меня всего однажды, и это вселяло тревогу. – Нельзя ли потолковать с твоим хозяином?

Красс был не один. Вместе с ним пришел Квинт Аррий, сенатор, не отстававший от него, словно тень, и смешно выговаривавший слова. Гласные он всегда произносил с придыханием, и собственное имя в его устах звучало как «Харрий». Эту особенность его произношения увековечил в своих пародиях самый жестокий из поэтов – Катулл.

Я поспешил в комнату для занятий. Цицерон, как обычно, диктовал Сосифею какое-то письмо и одновременно подписывал свитки, которые едва успевал подавать Лаврею.

– Ты ни за что не угадаешь, кто пришел! – вскричал я.

– Красс, – спокойно сказал он, даже не подняв глаз.

Меня словно водой окатили.

– И ты не удивлен?

– Нет, – ответил Цицерон, подписывая еще одно письмо. – Он пришел с щедрым предложением. Вообще-то, в нем нет ничего щедрого, но Красс сможет показать себя в выгодном свете, когда о нашем отказе станет известно всем. У него есть множество причин добиваться соглашения, у нас – ни одной. И все же приведи его ко мне, пока он не перекупил всех моих клиентов. Оставайся в комнате и записывай разговор на тот случай, если он попытается приписать мне какие-нибудь высказывания.

Я вышел, чтобы пригласить Красса – тот и в самом деле непринужденно общался с народом в таблинуме, – и повел гостя в комнату для занятий. Младшие письмоводители удалились, осталось всего четверо. Красс, Аррий и Цицерон опустились на кушетки, а я остался стоять в углу, записывая их беседу.

– Хороший дом у тебя, – дружелюбно произнес Красс. – Небольшой, но уютный. Скажи мне, если надумаешь продать.

– Если в нем случится пожар, – ответил Цицерон, – ты первым узнаешь об этом.

– Забавно, – хлопнул в ладоши Красс, залившись искренним смехом. – Но я говорю вполне серьезно. Такой важной особе, как ты, подобает более просторное жилище, в лучшем месте. На Палатинском холме – где же еще? Могу устроить. Нет-нет, – торопливо добавил он, когда Цицерон покачал головой, – не отвергай моего предложения. У нас были разногласия, и я хочу сделать примирительный жест.

– Что ж, весьма любезно с твоей стороны, – проговорил Цицерон, – но, боюсь, между нами все еще стоят интересы одного благородного господина.

– Они необязательно должны стоять между нами. Я восхищенно следил за твоим восхождением, Цицерон. Ты заслуживаешь того положения, которого добился в Риме. Считаю, что летом ты должен стать претором, а через два – консулом. Вот что я думаю – и говорю об этом открыто. Можешь рассчитывать на мою поддержку. Итак, что скажешь?

Предложение действительно было поразительным. В этот миг мне открылась тайна искусного ведения дел. Успеху способствует не постоянная скардность (как считают многие), а умение проявить, когда нужно, невероятную щедрость. Цицерон был застигнут врасплох. Ему предлагали стать консулом: то была мечта всей его жизни, но при Помпее он не осмеливался даже заговорить об этом из боязни пробудить ревность в великом человеке. И вот эту мечту подносят ему на блюде.

– Я потрясен, Красс, – произнес он настолько низким голосом, что ему даже пришлось прокашляться. – Однако судьба вновь разводит нас в разные стороны.

– Вовсе не обязательно. Разве день накануне народного голосования – не лучшее время для того, чтобы прийти к согласию? Я согласен с Помпеем в том, что необходимо верховное начальствование над войсками. Мы разделим его.

– Разделение верховного начальствования? Звучит нелепо.

– Но разделяли же мы консульство.

– Да, но консульство как раз и предполагает разделение власти. Вести войну – совсем другое дело. Тебе это известно гораздо лучше, чем мне. Во время войны даже намек на разделение в верхах смертельно опасен.

– Но задач так много, что их хватит на двоих, – беззаботно отмахнулся Красс. – Пусть Помпей забирает себе восток, а я возьму запад. Или пусть Помпею достанется море, а мне – суша. Или наоборот. Мне все равно. Суть в том, что вдвоем мы можем править миром, а ты станешь мостом между нами.

Несомненно, Цицерон, ожидал от него нападок и угроз – приемов, которыми тот в совершенстве овладел за многие годы пребывания в судах. Но неожиданная щедрость заставила Цицерона заколебаться, не в последнюю очередь потому, что предложение Красса было разумным и принесло бы пользу отечеству. Для Цицерона такое решение было бы наилучшим – он завоевал бы расположение всех сторон.

– Я обязательно сообщу ему, – пообещал Цицерон. – Он узнает обо всем еще до захода солнца.

– Мне от этого нет никакого проку! – фыркнул Красс. – Если бы дело было только в том, чтобы передать предложение, я мог бы направить сюда, на Альбанские холмы, Аррия с письмом. Разве не так, Аррий?

– Конечно мог бы.

– Нет, Цицерон, мне нужно, чтобы ты это сделал. – Красс наклонился вперед и облизнул губы. Он говорил о власти с каким-то сладострастием. – Буду с тобой откровенен. Душа просит, чтобы я снова взялся за военные дела. Я обладаю состоянием, о котором мечтает любой, но оно – не цель, а лишь средство ее достижения. Можешь ли ты назвать страну, которая воздвигла памятник человеку лишь за то, что он богат? Какой из народов поминает в своих молитвах обладателя миллионов, давно умершего и известного лишь числом своих домов? По-настоящему долгая слава рождается лишь под палочкой для письма – а я не поэт! – или на поле боя. Вот почему так важно, чтобы ты уговорил Помпея заключить прочное соглашение со мной.

– Он не мул, которого ведут на рынок, – возразил Цицерон. Его, насколько я мог заметить, начала коробить бесцеремонность старого врага. – Ты сам знаешь, каков он.

– Знаю, и еще как! Но никто в мире не обладает таким даром убеждения, как ты. Это ты заставил его покинуть Рим. Ты! И не отрицай этого. Так неужели теперь ты не убедишь его вернуться?

– Он полагает, что сможет вернуться, только если станет единственным верховным начальником. А иначе не вернется вовсе.

– Значит, Рим больше никогда не увидит его, – отрезал Красс, чье дружелюбие стало трескаться и осыпаться, как краска на одном из его не самых роскошных домов. – Ты прекрасно знаешь, что случится завтра. И действие будет разворачиваться так же предсказуемо, как в театральном фарсе. Габиний выдвинет твой закон, а Требеллий по моему поручению наложит на него вето. Тогда Росций, также следуя моим предписаниям, предложит поправку об учреждении совместного начальствования, и пусть хоть один из трибунов осмелится наложить вето на это предложение. Если Помпей откажется, то уподобится жадному мальчишке, который готов испортить пирог, лишь бы не делиться им.

– Не соглашусь с тобой. Люди любят его.

– Тиберия Гракха тоже любили, но это не принесло ему пользы. Ужасная судьба для радетеля за отечество. Тебе стоит вспомнить о нем, – проговорил Красс, поднимаясь. – И о собственных интересах, Цицерон. Разве не видишь ты, что с Помпеем тебя ждет забвение? Ни одному человеку не дано стать консулом, если против него выступает вся аристократия. – Цицерон тоже встал и осторожно принял протянутую Крассом руку. Тот сжал ладонь Цицерона и подтянул его к себе. – Уже во второй раз, – сказал он, – я протягиваю тебе руку дружбы, Марк Туллий Цицерон. Третьего раза не будет.

С этими словами он вышел из дома, причем так стремительно, что я не успел открыть перед ним дверь. Вернувшись назад, я обнаружил, что Цицерон стоит на том же месте. Он разглядывал, хмурясь, собственную ладонь.

– Это подобно прикосновению к змеиной коже, – усмехнулся он. – Действительно ли он намекнул, что мы с Помпеем можем разделить судьбу Тиберия Гракха? Скажи мне, не ослышался ли я?

– Да, сказано было именно так: «ужасная судьба для радетеля за отечество», – прочел я свою запись. – А что за судьба постигла Тиберия Гракха?

– Загнанный в угол, словно крыса, он был убит знатно в храме, хотя, будучи трибуном, пользовался неприкосновенностью. Лет шестьдесят прошло с тех пор, не меньше. Тиберий Гракх! – стиснул он пальцы в кулак. – А знаешь ли, Тирон, на мгновение я был готов поверить ему. Но клянусь тебе, лучше не быть консулом, чем жить с чувством, что я достиг этого лишь благодаря Крассу.

– Я верю тебе, сенатор. Помпей стоит десятерых таких, как он.

– Скорее сотни... Даже при всех его сумасбродствах.

Я занялся новыми делами, приводя в порядок стол и составляя утренний список посетителей, в то время как Цицерон сидел в комнате для занятий. Вернувшись, я увидел на его лице странное выражение. Я передал ему список и напомнил, что в доме все еще толпятся клиенты в ожидании приема, и в их числе – один сенатор. Цицерон рассеянно указал на двоих, включая Гибриду, и вдруг распорядился:

– Пусть этим займется Сосифей. У меня есть для тебя иное задание. Отправляйся в архив и просмотри анналы за год консульства Муция Сцеволы и Кальпурния Пизона Фруги. Перепиши все, что касается действий Тиберия Гракха в должности трибуна и его земельного закона. И ни слова никому о том, что ты делаешь. Выдумай что-нибудь, если тебя спросят. Ну же! – улыбнулся он впервые за неделю и вскинул руку, легко коснувшись меня пальцами. – Иди, мой мальчик. Иди!

Прослужив ему много лет, я привык к таким неожиданным и властным приказаниям. Мне оставалось лишь поплотнее запахнуться в плащ, готовясь к встрече с холодом и сыростью, и отправиться в путь. Никогда еще город не казался мне столь мрачным и подавленным – посреди зимы, под темным и низким небом, с нищими на каждом углу. А кое-где в канаве мог попасться окоченевший труп бедняги, скончавшегося ночью. Я быстро прошел по зловещим улицам, пересек форум и поднялся по ступенькам архива. В том же здании ранее я отыскивал скудные официальные данные о Гае Верресе. После того мне не раз приходилось бывать здесь по разным делам – особенно когда Цицерон был эдилом, – а потому лицо мое было хорошо знакомо служащим. Мне дали нужный свиток без малейших вопросов. Я положил его на стол для чтения, стоявший у окна, и, не снимая перчаток, развернул озябшими пальцами. Утренний свет был блеклым, в зале сильно дуло, а я не вполне понимал, что мне требуется. Анналы – во всяком случае, пока до них не добрался Цезарь – содержали недвусмысленный и точный отчет о случившемся за каждый год: имена магистратов, названия принятых законов, войны, случаи голода, затмения и прочие природные явления. Анналы основывались на своде, который ежегодно составлял великий понтифик, и вывешивались на белой доске у здания коллегии жрецов.

История всегда привлекала меня. Как когда-то написал сам Цицерон: «Не знать, что было до того, как ты родился, – значит навсегда остаться ребенком. В самом деле, что такое жизнь человека, если память о древних событиях не связывает ее с жизнью наших предков?»<sup>27</sup> Забыв о холоде, я мог бы день напролет с блаженным чувством разворачивать этот свиток, роясь в событиях более чем шестидесятилетней давности. Я обнаружил, что в том же году, 621-м от основания Рима, царь пергамский Аттал III скончался, завещав свое царство Риму, что Ци-

---

<sup>27</sup> Перев. И. Стрельниковой.



пион Африканский Младший уничтожил испанский город Нуманцию, перебив всех его жителей, за исключением лишь пятидесяти, чтобы провести их в цепях во время своего триумфа, и что Тиберий Гракх, трибун, известный своими крайними взглядами, внес закон о разделе общественных земель между простолюдинами, которые тогда, по обыкновению, испытывали тяжелые невзгоды. Ничто не меняется, подумал я. Закон Гракха привел в ярость сенатских аристократов, которые увидели в нем угрозу своим имениям и уговорили или принудили трибуна по имени Марк Октавий наложить вето. Но поскольку тот пользовался всенародной поддержкой, Гракх заявил с ростры, что Октавий нарушает свою священную обязанность – защищать народные интересы. Посему он призвал народ голосовать – триба за трибой – за отстранение Октавия от должности. Люди тут же приступили к этому. Когда первые семнадцать из тридцати пяти триб подавляющим большинством высказались за отстранение, Гракх приостановил голосование и предложил Октавию отозвать свое вето. Октавий ответил отказом. Тогда Гракх призвал богов в свидетели, что изгоняет товарища с должности против своей воли, и провел голосование в восемнадцатой трибе, заручившись большинством. Октавий лишился трибунства («стал обычным гражданином и незаметно скрылся»). Земельный закон был принят. Но знать – как Красс напомнил Цицерону – несколькими месяцами позже осуществила свою месть: Гракх, окруженный в храме Фидес, был до смерти забит палками, а тело его брошено в Тибр.

Я снял с запястья висевшую на нем восковую табличку и взял стилус. Помню, как я оглянулся, желая убедиться, что нахожусь в одиночестве, прежде чем начать переписывать нужные отрывки. Теперь-то я понимал, почему Цицерон так настаивал на соблюдении тайны. Пальцы мои окоченели, а воск застыл. Неудивительно, что буквы выходили просто ужасными. Однажды в дверях появился сам Катул, хранитель архива, и пристально уставился на меня. Я испугался, что сердце мое сейчас выскочит из груди, пробив ребра. Но старик был близорук, да и вряд ли он узнал бы меня – он был не из числа государственных мужей. Поговорив с одним из своих вольноотпущенников, он ушел. А я завершил свою работу и чуть ли не бегом бросился прочь – по обледелым ступенькам, а потом через форум, к дому Цицерона, прижимая к себе восковую табличку и думая о том, что никогда еще не выполнял более важного утреннего поручения.

Когда я добрался до дома, Цицерон все еще шушукался с Антонием Гибридой. Впрочем, заметив меня в дверях, он быстро свернул беседу. Гибрида был одним из тех воспитанных и утонченных людей, чью жизнь и внешность разрушило вино. Даже находясь на изрядном расстоянии от него, я ощущал в воздухе винный перегар – запах фруктов, гниющих в канаве. Несколько лет ранее его изгнали из сената за банкротство и сомнительную нравственность, то есть за продажность и пьянство. К тому же он купил на аукционе рабыню, красивую молоденькую девушку, и открыто взял ее в любовницы. Но как ни странно, он нравился народу именно из-за своего распутства и вот уже год был трибуном, расчищая себе путь обратно в сенат. Дождавшись, когда он уйдет, я передал Цицерону свою запись.

– Что ему нужно? – полюбопытствовал я.

– Хочет моей поддержки на преторских выборах.

– Наглости ему не занимать!

– Должно быть. Впрочем, я обещал поддержать его, – беззаботно произнес Цицерон и, видя мое изумление, воскликнул: – Если он станет претором, у меня будет хотя бы одним соперником меньше в борьбе за консульство!

Положив мою табличку на стол, он внимательно прочитал ее. Потом поставил локти по обе стороны от нее и, опустив подбородок на ладони, перечитал еще раз. Я мог представить, сколь стремительно рождаются мысли в его голове. Наконец Цицерон молвил, обращаясь отчасти ко мне, а отчасти – к себе самому:

– До Гракха никто не пробовал действовать так, и после него тоже. И понятно почему. Подумать только, какое оружие дается человеку! Не важно, победишь или проиграешь, – последствия будут сказываться много лет. – Он поднял на меня взгляд. – Даже не знаю, Тирон. Может, тебе лучше стереть это. – Но едва я сделал движение в сторону стола, быстро возразил: – А может, и не надо.

Вместо этого Цицерон велел мне привести Лаврею и еще пару рабов, чтобы отправить их к сенаторам из ближайшего окружения Помпея попросить тех собраться во второй половине дня, после завершения официальных дел.

– Не здесь, – добавил он, – а в доме Помпея.

Затем Цицерон присел и начал собственноручно писать послание военачальнику. Эту записку он отослал с верховым гонцом, приказав ему не возвращаться без ответа.

– Если Красс хочет вызвать призрак Гракха, – мрачно проговорил Цицерон, когда письмо отправилось в путь, – он его увидит!

Стоит ли говорить о том, что всем другим не терпелось узнать, зачем Цицерон позвал их. Едва суды и прочие присутственные места завершили прием и закрылись, как все до единого явились во дворец Помпея, заняв места вокруг стола. Пустовал только величественный трон, предназначавшийся для хозяина. Помпей отсутствовал, но из уважения к нему на трон никто не сел. Может показаться странным, что такие мудрые и ученые мужи, как Цезарь и Варрон, не знали, какими приемами пользовался Гракх в свою бытность трибуном. Но стоит помнить, что со дня его смерти минуло уже шестьдесят три года и это время было наполнено великими событиями. Никто не проявлял тогда такого жадного любопытства к недавнему прошлому, как в последующие десятилетия. Даже Цицерон подзабыл об этом, пока Красс своей угрозой не всколыхнул воспоминания об отдаленных временах, когда Цицерон готовился к экзаменам на должность защитника. Когда он начал зачитывать отрывок из анналов, поднялся ропот, а окончание чтения было встречено шумными возгласами. Лишь седовласый Варрон, старейший из присутствующих, который по рассказам отца знал о настроении, царившем во время трибунства Гракха, высказал оговорки.

– Тем самым вы даете оправдание, – сказал он, – любому демагогу, который соберет толпу и станет угрожать своему товарищу отстранением от должности, если сочтет, что заручился в трибах поддержкой большинства. Зачем же ограничиваться лишь трибунами? Почему бы не попробовать сместить претора или консула?

– Мы не даем оправдания, – нетерпеливо возразил Цезарь. – Гракх уже дал его для нас.

– Воистину так, – подтвердил Цицерон. – Аристократы убили Гракха, но не объявили его законы не имеющими силы. Я знаю, что имеет в виду Варрон, и отчасти разделяю его беспокойство. Но мы ведем отчаянную борьбу и вынуждены идти на риск.

Раздался одобрителный гул, но решающими оказались голоса Габиния и Корнелия – тех, кому лично приходилось представлять перед народом, добиваясь принятия того или иного закона. Им пришлось бы в случае чего изведать на себе месть знати – пострадать телесно и подвергнуться преследованиям в силу закона.

– Подавляющее большинство народа желает учреждения верховного начальствования, и люди хотят, чтобы оно досталось Помпею, – провозгласил Габиний. – Нельзя допустить, чтобы народной воле помешало богатство Красса, способного подкупить пару трибунов.

Афранию захотелось знать, высказал ли свое мнение Помпей.

– Вот послание, которое я ему направил сегодня утром, – поднял Цицерон знакомую записку над головой. – А под ним – ответ, который он тут же прислал мне.

Своим крупным, решительным почерком Помпей начертал одно слово: «Согласен». И все увидели это.

Дело было решено. А потом Цицерон велел мне сжечь письмо.

Утро собрания выдалось на редкость холодным. Среди колоннад и храмов форума блуждал ледяной ветер. Несмотря на лютую стужу, собрание оказалось многолюдным. В дни важных голосований трибуны перебирались с ростры в храм Кастора, где было больше места, и работники ночь напролет строили деревянные помосты, на которые гуськом поднимались граждане, чтобы отдать свой голос. Цицерон прибыл рано, не замеченный никем, – с собой он захватил только меня и Квинта. По пути с холма он заметил вслух, что является лишь постановщиком действия, но никак не одним из главных действующих лиц. Пообщавшись с представителями триб, он вместе со мной отошел к портику базилики Эмилия, откуда хорошо было видно происходящее и при необходимости можно было отдавать распоряжения.

Зрелище было незабываемым. Должно быть, я один из немногих, кто дожил до этих дней, храня память о нем. Десять трибунов в ряд на скамье, и среди них, подобные наемным гладиаторам, две равные по силам пары: Габиний с Корнелием (за Помпея) против Требеллия с Росцием (за Красса). Жрецы и авгуры у ступеней храма. Рыжий огонь на алтаре, увенчанный трепещущим сероватым язычком. И огромная толпа людей, собравшихся на форуме, чтобы проголосовать. С красными от мороза лицами они собирались в кучки вокруг десятифутовых шестов со знаменами, на которых гордо, крупными буквами, были выведены названия триб: ЭМИЛИЯ, КАМИЛИЯ, ФАБИЯ... Если бы кто-нибудь заплутал, он сразу увидел бы, где ему надлежит быть. Собравшиеся шутили, спорили, о чем-то торговались, пока звук трубы не призвал всех к порядку. Пронзительно крича, глашатай представил публике закон во втором чтении. После этого вперед выступил Габиний и произнес краткую речь. Он сказал, что принес радостную весть – ту, о которой молился народ Рима. Помпей Великий, приняв близко к сердцу страдания римлян, готов пересмотреть свое решение и стать главноначальствующим, но только если все захотят этого.

– Хотите ли вы этого? – спросил Габиний и услышал в ответ восторженный рев.

Рев продолжался довольно долго, и немалая заслуга в том принадлежала старшинам триб. При первых признаках того, что крики начинают затихать, Цицерон давал незаметный знак нескольким старшинам, которые передавали сообщение всему форуму, и знамена триб вновь начинали раскачиваться, вызывая новую бурю восторга. Наконец Габиний властным жестом приказал всем успокоиться.

– Так поставим же вопрос на голосование!

Требеллий поднялся со скамьи трибунов медленно и величаво и шагнул вперед. Нельзя было не восхититься отвагой этого человека, который не побоялся выразить несогласие со многими тысячами. Он поднял руку, изъявляя желание взять слово.

Бросив на него презрительный взгляд, Габиний громогласно обратился к толпе:

– Итак, граждане, позволим ли мы ему говорить?

– Нет! – раздался ответный рев.

Требеллий тонким от сильного волнения голосом завопил:

– Тогда я налагаю вето!

Это должно было означать, что закону пришел конец. Так происходило всегда в течение предыдущих четырех столетий, не считая трибунства Тиберия Гракха. Однако в то злосчастное утро Габиний, вновь призвав гудящую толпу к молчанию, спросил:

– Можно ли считать, что Требеллий говорит от имени всех вас?

– Нет! – прокатилось в ответ. – Нет! Нет!

– Есть ли тут кто-нибудь, от чьего имени он выступает?

Лишь завывание ветра стало ответом на эти слова. Даже сенаторы, поддерживавшие Требеллия, не осмеливались поднять голос. Находясь среди одотрибников, они были беззащитны – толпа растерзала бы их.

– Тогда, в соответствии с тем, как поступил Тиберий Гракх, я предлагаю отрешить Требеллия от должности трибуна, поскольку тот нарушил присягу и более не способен представлять народ. Призываю вас проголосовать немедленно!

Цицерон повернулся ко мне.

– А вот и начало представления, – пробормотал он.

Граждане стали недоуменно переглядываться, затем согласно закивали головами и зашумели, начав понимать, о чем идет речь. Во всяком случае, так вспоминаются мне те события теперь, когда я сижу в своей комнатке с закрытыми глазами и пытаюсь восстановить в памяти былое. Люди осознали: они в силах сделать то, чему не могут помешать даже высокородные мужи в сенате. Катул, Гортензий и Красс в великой тревоге начали пробиваться вперед, к собранию, требуя слушаний. Однако им не позволили пройти – Габиний поставил вдоль нижней ступени лестницы ветеранов Помпея, которые никого не пропускали. Особенно сильно переменился в лице Красс, утративший обычную выдержку. Лицо его сделалось красным и исказилось от гнева, он пытался взять трибунал приступом, но его отбрасывали назад. Заметив что Цицерон наблюдает за ним, Красс указал в его сторону и что-то выкрикнул, но мы не слышали: Красс был далеко, а вокруг стоял невообразимый шум. Цицерон милостиво улыбнулся ему. Глашатай зачитал Габиниево законопредложение: «народ больше не желает, чтобы Требеллий был его трибуном», и счетчики отправились к местам голосования. Как всегда, первыми стали представители трибы Субурана. По мосткам они шли парами и, подав голос, спускались на форум по боковым ступенькам храма. Городские трибы следовали одна за другой, и каждая голосовала за отстранение Требеллия. Затем наступил черед сельских триб. Все это заняло несколько часов, в течение которых Требеллий стоял с посеревшим от тревоги лицом, то и дело переговариваясь со своим сотоварищем Росцием. На короткое время он исчез из трибунала. Я не видел, куда именно направился Требеллий, но догадываюсь, что он просил Красса освободить его от этой обязанности. На форуме сенаторы собирались в маленькие кучки, в то время как их трибы завершали голосование. Катул и Гортензий с мрачными лицами переходили от одного скопления людей к другому. Цицерон тоже кружил между сенаторами, оставив меня позади. С некоторыми он беседовал – например, с Торкватом и его давним союзником Марцеллином, которого тот убедил перейти в лагерь Помпея.

Когда семнадцать триб проголосовали против Требеллия, Габиний распорядился сделать перерыв. Он пригласил Требеллия на трибунал и спросил, готов ли тот склониться перед волей народа и тем самым сохранить за собой трибунал, или же есть необходимость призвать восемнадцатую трибу. Требеллий мог войти в историю как герой и отважный борец за свое дело, и я не раз задавался мыслью о том, не сожалел ли он на склоне лет о своем решении. Но, думаю, тогда он еще мечтал о государственной деятельности. После некоторого колебания он дал понять, что смиряется, и его вето было снято. Вряд ли стоит добавлять, что впоследствии он вызвал презрение обеих сторон и канул в безвестность.

Все взгляды теперь были обращены на Росция, второго трибуна Красса, и именно тогда, в самый разгар дня, у ступеней храма вновь появился Катул. Поднеся сложенные ладони ко рту, он завопил, обращаясь к Габинию и требуя слушаний. Как я уже упоминал, Катул пользовался у народа глубоким уважением за свою любовь к отечеству. Было трудно отказать ему, тем более что он был старшим по возрасту бывшим консулом в сенате. Габиний махнул рукой ветеранам, веля пропустить Катула, и тот, несмотря на почтенный возраст, с прыткостью ящерицы взбежал по ступеням храма.

– А вот это уже ошибка, – вполголоса сказал мне Цицерон.

Как позже сказал Габиний в разговоре с Цицероном, он счел, что аристократы перед лицом поражения пойдут на уступки во имя единства римлян. Как бы не так! Катул принялся метать громы и молнии по поводу *lex Gabinia* и незаконных приемов, примененных для проведения этого закона. По его словам, для республики было сумасшествием доверить свою без-

опасность одному человеку. Ведь война – рискованное занятие, особенно на море: что же делается с главноначальствованием, если Помпей вдруг будет убит? Кто займет его место?

И толпа заревела в ответ:

– Ты!

Это был не тот ответ, которого хотел Катул. Польшенный, он тем не менее знал, что слишком стар для воинского ремесла. Что ему действительно было нужно, так это двойное начальствование – Красса и Помпея, ибо при всем своем презрении к Крассу он сознавал, что богатейший муж Рима по крайней мере станет противовесом мощи Помпея. Но Габиний уже начал понимать, что допустил ошибку, дав слово Катулу. Зимние дни коротки, а голосование надлежало завершить до заката. Грубо прервав бывшего консула, он заявил ему то, что обязан был заявить: пора переходить к голосованию. Росций тут же выскочил вперед и попытался внести официальное предложение о том, чтобы разделить главноначальствование, но народ уже начал уставать и не проявил желания слушать его. Толпа исторгла крик такой силы, что, как рассказывали позже, пролетавший над форумом ворон упал замертво. Все, что Росций мог сделать при таком гвалте, – это показать два пальца, налагая вето и отстаивая назначение двух верховных начальников. Габиний знал, что, если он предложит сместить еще одного трибуна, это обернется поражением для него и утратой возможности учредить в тот же день двойное начальствование. И кто знает, как далеко готова пойти знать, если ей ночью удастся собраться с силами? Поэтому он просто повернулся спиной к Росцию и приказал, несмотря ни на что, поставить закон на голосование.

– Вот оно, – сказал мне Цицерон, когда счетчики со всех ног бросились к своим местам. – Дело сделано. Беги в дом Помпея и скажи, что ему немедленно следует послать известие. Запиши: «Закон принят. Начальником будешь ты. Выступай сразу же. Сегодня к ночи будь в Риме. Твое присутствие необходимо, чтобы все успокоилось. Подпись: Цицерон».

Я убедился, что записал все слово в слово, и поспешил выполнять полученное задание, а Цицерон нырнул в пучину форума, чтобы оттачивать свое искусство – уговаривать, льстить, сочувствовать, порой даже угрожать. Ибо, согласно его философии, не существовало ничего, чего нельзя было бы создать, разрушить или исправить с помощью слов.

Итак, все трибы единогласно одобрили Габиниев закон, которому суждено было иметь гигантские последствия как для Рима, так и для всего мира.

Наступила ночь, форум опустел, бойцы разбрелись по своим лагерям. Твердокаменные аристократы собирались в доме Катула у вершины Палатина, приверженцы Красса – в его жилище, более скромном, стоявшем чуть ниже, на склоне того же холма, победоносные помпеянцы – в особняке своего вождя на Эсквилинском холме. Как всегда, успех оказал поистине волшебное действие. Насколько помню, десятка с два сенаторов набилось в таблинум Помпея, чтобы пить его вино в ожидании триумфального возвращения полководца. Комната была ярко освещена. Там царили густые запахи пота и выпивки вместе с грубым мужским весельем, которое нередко начинается после того, как схлынет напряжение. Цезарь, Африкан, Паликан, Варрон, Габиний и Корнелий – все оказались там, однако вновь пришедших было больше. Всех уже не упомяну, но точно были Луций Торкват и его двоюродный брат Авл, а также Метелл Непос и Лентул Марцеллин, оба из знатных семей. Корнелий Сизенна, один из самых горячих сторонников Верреса, расположился как у себя дома, даже клал ноги на столы и стулья. Присутствовали двое бывших консулов – Лентул Клодиан и Геллий Публикола (тот самый Геллий, который все еще был уязвлен шуткой Цицерона по поводу философского собрания). Что до Цицерона, то он сидел отдельно, в соседней каморке, сочиняя благодарственную речь, которую Помпею надлежало произнести на следующий день. В то время мне казалось непостижимым его странное спокойствие, однако, бросая взгляд в прошлое, я склонен считать, что он ощущал некий душевный надлом. Наверное, он понимал: в Риме сломалось то, что трудно испра-

вить даже при помощи его слов. Время от времени Цицерон отсылал меня в переднюю, чтобы узнать, не подъезжает ли Помпей.

Незадолго до полуночи прибыл гонец и сообщил, что Помпей приближается к городу по Латинской дороге. У Капенских ворот уже собралось множество ветеранов, чтобы сопровождать его до дома при свете факелов – на тот случай, если враги Помпея решатся на какой-нибудь отчаянный шаг. Однако Квинт, почти всю ночь круживший по городу совместно с квартальными заводилами, доложил брату, что на улицах все спокойно.

Наконец с улицы донеслись ликующие возгласы, возвестившие о прибытии великого мужа, и в следующее мгновение он был уже среди нас – неправдоподобно большой, улыбающийся, пожимающий руки, приятельски хлопающий кого-то по спине. Даже мне достался дружелюбный толчок в плечо. Сенаторы принялись уговаривать Помпея произнести речь, и Цицерон заметил – чуть громче, чем следовало бы:

– Он пока не может говорить – я еще не написал то, что ему следует сказать.

Я заметил, что на лицо Помпея набежала мимолетная тень. Как обычно, на помощь пришел Цезарь, залившийся искренним смехом. Сам Помпей вдруг улыбнулся, шутливо погрозив пальцем. Обстановка разрядилась, став непринужденной и чуть насмешливой, как на пирушке в шатре полководца после победы, когда все считают своим долгом немного поддеть триумфатора.

Каждый раз, когда в голове всплывает слово «империй», перед моими глазами, словно живой, предстает Помпей – такой, каким он был той ночью. Склонившись над картой Средиземноморья, он раздавал куски суши и моря с тою же небрежностью, с какой обычно разливают вино («Можешь взять себе Ливийское море, Марцеллин. А тебе, Торкват, достанется Западная Испания...»). И такой, каким он был утром, явившись на форум, чтобы забрать свою награду. Летописцы позже укажут, что двадцать тысяч человек устроили давку в сердце Рима, желая увидеть, как Помпея назначат начальствовать над всем миром. Толпа была настолько велика, что даже Катул с Гортензием не решились на последнюю попытку к сопротивлению, хотя, я уверен, очень того хотели. Вместо этого они стояли бок о бок с другими сенаторами, приняв самый добродушный вид, на какой были способны. А Крассу не хватило сил даже на это – что, впрочем, неудивительно, – и он предпочел не приходить вовсе. Речь Помпея, короткая, свелась в основном к выражению благодарности. Составил ее, конечно, Цицерон. Прозвучал, помимо прочего, и призыв к единству. Впрочем, Помпею не было особой нужды говорить – одного его присутствия оказалось достаточно, чтобы цена хлеба на рынках упала вдвое. Столь велика была вера, которую он вселял в народ. А завершил Помпей свое выступление блестящим театральным жестом, придумать который мог только Цицерон:

– Я вновь облачаюсь в одежду, столь знакомую и дорогую мне, – священный красный плащ римского полководца. И не сниму ее, пока не одержу победу в этой войне, а любой иной исход означает для меня смерть!

Подняв в приветствии руку, он сошел с помоста, вернее, отплыл с него на волне криков одобрения. Рукоплескания еще продолжались, когда Помпей, уже покинув ростру, внезапно показался вновь – уверенно поднимающийся по ступеням Капитолия, в ярко-пурпурном плаще, который служит отличительным знаком действующего проконсула. Все сходили с ума от восторга, а я украдкой посмотрел в ту сторону, где стояли Цицерон и Цезарь. На лице Цицерона застыло отвращение с примесью насмешки, Цезарь же явно был восхищен, будто уже узрел собственное будущее. Помпей же проследовал к Капитолийской триаде, где принес в жертву Юпитеру быка, после чего незамедлительно покинул город, не попрощавшись ни с Цицероном, ни с кем-либо еще. Пройдет шесть лет, прежде чем он вернется сюда.

### ХІІІ

На ежегодных преторских выборах летом того года Цицерон опережал всех. Подготовка к ним вышла неприглядной и бессвязной, поскольку ей предшествовала борьба вокруг Габиниева закона, когда доверие между сторонниками различных деятелей было разрушено. Передо мной лежит письмо, которое Цицерон написал тем летом Аттику, выражая отвращение ко всем проявлениям общественной жизни: «Трудно поверить, насколько за такой короткий срок, как ты увидишь, обстоятельства ухудшились сравнительно с тем, в каком состоянии ты оставил их»<sup>28</sup>.

Дважды голосование приходилось прерывать досрочно из-за драк, вспыхивавших на Марсовом поле. Цицерон подозревал Красса в подкупе черни для срыва голосования, но не нашел доказательств этого. Какова бы ни была истина, лишь к сентябрю восемь избранных преторов смогли собраться в сенате, чтобы определить, кто в каком суде будет председательствовать. По обычаю, они тянули жребий.

Самой заманчивой была должность городского претора, который в те времена ведал всеми судебными делами и считался третьим лицом в государстве после двух консулов. Он устраивал Аполлоновы игры<sup>29</sup>. Эта должность пленяла всех, возглавить же суд по растратам не желал никто ни за какие блага – работа была выматывающей.

– Конечно же, мне хотелось бы стать городским претором, – доверительно поведал мне Цицерон, когда мы с ним направлялись тем утром в сенат. – И я скорее удавился бы, чем согласился целый год расследовать растраты. Но я соглашусь на любую должность в промежутке между этими двумя.

Настроение у него было приподнятое. Выборы наконец состоялись, и он получил наибольшее число голосов. Помпей покинул не только Рим, но и Италию, так что Цицерону не пришлось бы постоянно находиться в тени великого мужа. Теперь Цицерон вплотную приблизился к консулату – на расстояние вытянутой руки.

Церемония жеребьевки всегда собирала полный зал зрителей, поскольку сочетала важное государственное дело с игрой случая. К тому времени, когда мы пришли, большинство сенаторов уже собрались. Цицерон был встречен шумными приветствиями – восторженными возгласами со стороны своих старых соратников из числа педариев и презрительными выкриками аристократов. Красс, по своему обыкновению, развалился на передней консульской скамье, глядя на Цицерона из-под опущенных век, словно кот, который притворяется спящим, наблюдая за прыгающей поблизости птахой. Итоги выборов в целом соответствовали ожиданиям Цицерона, и, если я назову вам остальных новоизбранных преторов, вы получите неплохое представление о том, как тогда вершились государственные дела. Помимо Цицерона, были еще лишь двое мужей, наделенных изрядными способностями. Оба спокойно ждали своей очереди тянуть жребий. Самым одаренным, несомненно, был Аквиллий Галл – некоторые считали его законником лучше Цицерона. Он уже был уважаемым судьей и обладал качествами, делавшими его образцом для подражания, – такими, как блестящий ум, скромность, справедливость, доброта, великолепный вкус. А вдобавок – роскошным особняком на Виминальском холме. Памятуя обо всех этих достоинствах, Цицерон намеревался предложить Аквиллию, который был старше его, вместе побороться за консульство. С Галлом мог сравниться, во всяком случае, по весу в обществе, Сульпиций Гальба, принадлежавший к известной аристократической фамилии, у которого в атриуме висело множество масок консулов. Не оставалось никаких

---

<sup>28</sup> Перев. В. Горенштейна.

<sup>29</sup> *Аполлоновы игры* – ежегодные благодарственные празднества в честь бога Аполлона, устраивавшиеся в июле. Во время них проводились театральные представления и спортивные состязания.

сомнений в том, что он станет одним из соперников Цицерона в борьбе за консульскую должность. Честный и способный, он отличался также резкостью и надменностью, что обернулось бы против него в случае напряженной борьбы. Четвертым по одаренности был, полагаю, Квинт Корнифиций, хотя его высказывания иногда звучали до того нелепо, что вызывали у Цицерона смех. Этот богатый, рьяный защитник старых верований, беспрестанно твердил о том, что Рим должен бороться с упадком нравов. Цицерон называл его «кандидатом богов».

У тех, кто следовал за этими мужами, особых достоинств, боюсь, не наблюдалось. Примечательно, что четверо остальных свежей избранной преторов в свое время были изгнаны из сената – кто за денежную нехватку, а кто и за нехватку совести. Самым пожилым из них был Вариний Глабер, один из тех неглупых и вечно недовольных людей, которые уверены в своем жизненном успехе и не могут поверить в неудачу, когда она постигает их. Семь лет назад он уже был претором, и сенат вверил ему войско для подавления восстания Спартака. Однако его слабые легионы терпели от взбунтовавшихся рабов поражение за поражением, и он, покрытый позором, на время исчез из общественной жизни. За ним шел Гай Орхивий – «сплошной напор и ни капли одаренности», как определил его Цицерон. Тем не менее он пользовался поддержкой крупного объединения избирателей. На седьмое место в умственном отношении Цицерон ставил Кассия Лонгина – «бочонок сала», как иногда именовали этого человека, самого толстого в Риме. Таким образом, на восьмом месте оказывался не кто иной, как Антоний Гибрида – тот самый пьяница, который взял себе в жены девчонку-рабыню. Цицерон согласился помочь ему на выборах: пусть среди преторов окажется хотя бы один, чьего честолюбия можно не слишком опасаться.

– Знаешь ли, почему его кличут Гибридой? – спросил меня как-то раз Цицерон. – Он наполовину человек, наполовину безмозглый скот. Хотя лично я не вижу в нем человеческой половины.

Однако боги, так почитаемые Корнифицием, не упускают случая покарать человека за подобную спесь, и в тот день они примерно наказали Цицерона. Жребий предстояло тащить из древней урны, которая использовалась столетиями. Председательствовавший консул Глабрион начал вызывать кандидатов в алфавитном порядке; первым шел Антоний Гибрида. Он запустил дрожащую руку в урну за табличкой и передал свой жребий Глабриону, который, приподняв бровь, зачитал вслух:

– Городской претор.

На секунду все присутствующие онемели, а затем зал огласился таким громким хохотом, что голуби, гнездившиеся под крышей, взлетели, роняя перья и помет. Гортензий и еще кое-кто из аристократов, знавшие, что Цицерон помогал Гибриде, показывали на оратора пальцем и хлопали друг друга по плечу в знак насмешки. Красс так развеселился, что едва не упал со своей скамьи, в то время как Гибрида, которому предстояло стать третьим лицом в государстве, просто сиял: несомненно, он истолковал презрительный смех как выражение радости.

Я не видел лица Цицерона, но мог догадаться, какая мысль крутится у него в голове: к его личному невезению прибавится еще безудержное расхищение государственных средств. Вторым пошел Галл, которому достался суд, ведавший избирательным законодательством. Толстяк Лонгин получил в свое ведение дела об измене. А когда «кандидат богов» Корнифиций был вознагражден за свою веру уголовным судом, будущее начало выглядеть откровенно мрачным, и я приготовился к худшему. Но, к счастью, перед нами был еще Орхивий. Он-то и вытянул суд по растратам. А когда Гальбе достался суд по насильственным действиям против государства, перед Цицероном осталось лишь две возможности: или вновь заняться знакомыми ему вымогательствами, или же стать претором по делам чужеземцев, то есть подчиненным Гибриды, – незавидная участь для умнейшего в городе мужа. Он шел по помосту навстречу своему жребию, горестно качая головой: мол, сколько ни хитри, а в государственных делах все решает случай. Цицерон сунул в урну руку и вытащил то, что было ему суждено, – дела о вымо-



гательствах. Просматривалось некое приятное совпадение в том, что объявление о выпавшем жребии зачитал именно Глабрион – бывший председатель суда, где сделал себе имя Цицерон. Претором по делам чужеземцев сделался Вариний, жертва Спартака. Все суды на предстоящий год были обеспечены председателями, и, кроме того, предварительно определились кандидаты в консулы.

Увлечшись круговертью событий государственной важности, я чуть было не забыл упомянуть о том, что той весной забеременела Помпония. Сообщая об этом Аттику, Цицерон в порыве ликования писал: «вот доказательство того, что брак с Квинтом все-таки дает плоды». Дитя – здоровый мальчик – появилось на свет вскоре после преторианских выборов. Меня пригласили присутствовать при обряде очищения на десятый день после рождения ребенка. Это стало для меня предметом особой гордости и признаком того, что мое положение в семье стало еще более высоким. Церемония состоялась в храме богини Теллус<sup>30</sup>, неподалеку от родового жилища. Вряд ли хоть кто-нибудь на свете любил своего племянника так же горячо, как Цицерон. Он настоял на том, чтобы заказать у серебряных дел мастера великолепный амулет для младенца. После того как малыш Квинт, которого жрец окропил водой, оказался на руках у Цицерона, я внезапно осознал, насколько тому хотелось иметь собственного сына. Стремление любого мужа стать консулом, должно быть, во многом обусловлено желанием того, чтобы его сын, и внук, и сыновья его сыновей – и так до бесконечности – могли в соответствии с *ius imaginum*<sup>31</sup> выставлять его посмертную маску в семейном атриуме. Что толку заботиться о славе семейного имени, если роду суждено прерваться, даже не начавшись? Теренция стояла у противоположной стены храма и внимательно следила, как ее муж нежно поглаживает щечку младенца кончиком мизинца. Видимо, она думала о том же.

Рождение ребенка часто заставляет взглянуть на будущее по-новому, и я уверен, что именно поэтому Цицерон вскоре после рождения племянника позаботился о помолвке Туллии, которой тогда было десять лет. Для него она по-прежнему оставалась светом очей, и он, при всей занятости судебными и государственными делами, почти каждый день выкраивал хотя бы немного времени, чтобы почитать дочери или поиграть с ней в какую-нибудь игру. Свой замысел он обсудил сначала с ней, а не с Теренцией, проявив, как всегда, и нежность, и хитрость.

– Скажи-ка, – обратился он к Туллии однажды утром, когда мы вдвоем были в комнате для занятий, – не хотела бы ты когда-нибудь выйти замуж?

Та ответила, что хотела бы, и даже очень. Цицерон полюбопытствовал, кого ей хотелось бы получить в мужа.

– Тирона! – вскричала Туллия, обхватив меня руками.

– Боюсь, у него совсем нет времени на то, чтобы обзавестись женой, – торжественно ответил Цицерон. – Ему приходится слишком много работать, помогая мне. Не назовешь ли кого-нибудь еще?

Туллия знала лишь немногих мужчин, достигших зрелого возраста, и ей не пришлось долго раздумывать: с ее уст слетело имя Фруги, который со времен дела Верреса был возле Цицерона так долго, что стал почти членом семейства.

– Фруги! – воскликнул Цицерон так, словно эта идея буквально только что осенила его самого. – Отличная мысль! А ты уверена, что тебе нужно именно это? Уверена? Давай сейчас же пойдем и скажем маме.

Так Теренция оказалась побежденной на собственном поле. Муж оставил ее с носом ловко, точно какого-нибудь слабоумного аристократа в сенате. Не то чтобы ей так уж претил Фруги. Он казался Теренции вполне подходящим женихом: учтивый, рассудительный моло-

---

<sup>30</sup> *Теллус* – древнеримская богиня Матери-земли.

<sup>31</sup> Закон, согласно которому выставлять у себя в доме гипсовые маски могла только римская знать.

дой человек, которому исполнился двадцать один год, из очень знатной семьи. Но она была достаточно проницательна и понимала, что Цицерон готовит себе преемника, которого собирается обучить и вывести на общественное поприще – по сути, вместо собственного сына. И это, несомненно, вызывало у нее тревожные мысли. А на угрозы Теренция всегда отвечала предельно резко. Церемония обручения состоялась в ноябре, и все прошло довольно гладко. Фруги, которому невеста, надо сказать, была весьма по сердцу, застенчиво надел ей на палец кольцо под одобрительными взглядами представителей обоих семейств и их домочадцев. Было условлено, что свадьба состоится пять лет спустя, когда Туллия достигнет зрелости. Но в тот вечер между Цицероном и Теренцией случилась одна из самых яростных ссор. Разыгралась она в таблинуме, прежде чем я успел убраться оттуда. Цицерон сделал вполне невинное замечание о том, что семейство Фруги тепло встретило Туллию. Зловеще помолчав, Теренция ответила, что семейка в самом деле приветливая, что, впрочем, неудивительно, если учесть...

– Учесть что? – обреченно спросил Цицерон. Он, судя по всему, уже считал ссору неизбежной, как рвоту после поедания несвежей устрицы. А с тем, что неизбежно, лучше разобратся сразу.

– Если учесть, какие связи они обретают, – ответила Теренция и сразу же перешла в атаку, нанеся удар своим излюбленным способом. Иными словами, разговор шел о том, что Цицерон ведет себя постыдно, пресмыкаясь перед Помпеем и сворой его приспешников-провинциалов. Таким образом, утверждала Теренция, их семья противопоставила себя всем достойнейшим людям в государстве. И еще он способствовал противоправному принятию Габиниева закона, усилившего власть толпы. Не упомяну уже всего, что сказала она. Да разве это важно? Как и при большинстве супружеских перепалок, нужен был лишь повод, истинная же причина заключалась в ином – в неспособности Теренции произвести на свет сына, породившей полутеческую привязанность Цицерона к Фруги. Тем не менее я хорошо помню, что Цицерон дал жене отпор, заявив, что Помпей, при всех его недостатках, – великолепный солдат, чего не может оспорить никто. Когда его сделали главноначальствующим, он тут же занялся наведением порядка на море, сведя на нет пиратскую угрозу за каких-нибудь сорок девять дней. Вспоминается и едкий ответ Теренции: раз море удалось очистить от пиратов за каких-нибудь семь недель, должно быть, они были не так опасны, как твердили Цицерон со своими друзьями! В этот миг мне удалось наконец выскользнуть из комнаты и забиться в свой уголок, так что остального я не слышал. Однако обстановка в доме на несколько дней стала хрупкой, как неаполитанское стекло.

– Видишь, как тяжело мне приходится? – пожаловался Цицерон на следующее утро, потирая лоб костяшками пальцев. – Ни в чем я не нахожу облегчения – ни в труде, ни в отдыхе.

Что до Теренции, то ее все больше тяготили думы о предполагаемом бесплодии. Дни напролет молилась она в храме Юноны на Авентинском холме, где во всех уголках ползали лишенные яда змеи, способные придать женщине плодовитость, и ни одному мужчине не дозволялось даже украдкой заглянуть туда, в святая святых. Еще я слышал от ее служанки, что в своей спальне она устроила святилище богини.

Сдается мне, что в душе Цицерон разделял мнение Теренции о Помпее. Было нечто подозрительное в том, как быстро он одержал победу («В конце зимы подготовил, – говорил Цицерон, – с наступлением весны начал, в середине лета закончил»). Это наводило на мысль: не мог ли с задачей справиться полководец без чрезвычайных полномочий? Как бы то ни было, усомниться в успехе не мог никто. Пиратов изгнали сперва из вод, омывающих Сицилию и Африку, – на восток, в Илирийское море, к Ахайе, – а затем очистили от них все побережье Греции. Наконец Помпей поймал их в ловушку, заперев в Корацезиуме, который стал последним надежным оплотом пиратов в Киликии. Десять тысяч человек погибло тогда в великой битве на море и суше, четыреста кораблей было потоплено. Еще двадцать тысяч захватили в плен. Но вместо того чтобы распять пленников – как, несомненно, поступил бы Красс, – Помпей распорядился переселить их с женами и детьми вглубь страны, в обезлюдившие города

Греции и Малой Азии, один из которых он с присущей ему скромностью переименовал в Помпеиополис. И все это – без ведома сената.

Цицерон наблюдал за успехами своего покровителя со смешанными чувствами («Помпеиополис! О боги, до чего безвкусно!») – не в последнюю очередь потому, что знал наперед: чем больше Помпея будет распирает от успехов, тем длиннее станет тень, которая ляжет на будущность самого Цицерона. Тщательное вынашивание замыслов и подавляющее численное преимущество войска – такими были главные составляющие триумфов Помпея как на поле боя, так и в Риме. И как только первая задача – разгром морских разбойников – была выполнена, пришло время второй: Габиний на форуме принялся склонять всех к тому, чтобы отобрать восточные легионы у Лукулла и передать Помпею. Использовал он все ту же уловку: пользуясь полномочиями трибуна, созывал к ростре свидетелей, которые в самых мрачных тонах живописали картину войны с Митридатом. Легионеры, не получавшие жалованья уже несколько лет, попросту отказались покинуть зимний лагерь. Нищенское существование, которое владели простые бойцы, Габиний противопоставлял гигантскому состоянию их начальствующего-аристократа, который привез с войны столько добычи, что смог купить целый холм у ворот Рима и построить там великолепный дворец. Достаточно сказать, что все залы для приемов в нем были названы в честь богов. Габиний вызвал к ростре архитекторов Лукулла и заставил их представить народу все чертежи и модели. С тех пор имя Лукулла стало синонимом кричащей роскоши, и разъяренные граждане сожгли его чучело на форуме.

В декабре Габиний и Корнелий перестали быть трибунами, и в дело вступил новый ставленник Помпея – отныне его интересы на народных собраниях отстаивал избранный трибуном Гай Манилий. Он тут же выдвинул законопредложение, согласно которому Помпей принимал войска, выставленные против Митридата, и брал в управление три провинции – Азию, Киликию и Битинию, причем две последние ранее были отданы Лукуллу. Цицерон, видимо, вовсе не желал высказываться по данному вопросу. Но призрачные надежды на то, что ему удастся отмолчаться, развеялись, когда к нему пожаловал Габиний с посланием от Помпея. Тот кратко желал Цицерону благополучия и выражал надежду на то, что он поддержит Манилиев закон, «все его положения», не только закулисно, но и публично, выступая с ростры.

– «Все его положения», – повторил Габиний с ухмылкой. – Наверное, ты знаешь, что это означает.

– Полагаю, это означает законодательную оговорку, согласно которой ты получаешь легионы на Евфрате, а заодно и защиту от уголовного преследования, притом что твое трибунство закончилось.

– Точно, – снова осклабился Габиний и довольно сносно изобразил Помпея, приняв гордую осанку и надув щеки: – Не правда ли, он умен? Разве не говорил я вам, что он просто умница?

– Успокойся, Габиний, – устало проговорил Цицерон. – Уверю тебя, я желаю только одного – чтобы к берегам Евфрата отправился именно ты.

В государственных делах очень опасно оказаться в роли мальчика для битья при великом муже. Но именно это теперь выпало Цицерону. Те, кто никогда не осмелился бы оскорбить или даже осудить Помпея, отныне могли безнаказанно дубасить его защитника, и все прекрасно знали, кому на деле предназначаются эти удары. Но от исполнения прямого приказа главнотрунчальствующего уклониться было нельзя, и Цицерону пришлось произнести свою первую речь с ростры. Он готовил ее с необыкновенным тщанием и несколько раз заранее продиктовал мне, а затем показал Квинту и Фруги, чтобы выслушать их отзывы. От Теренции же Цицерон рассудительно утаил ее, зная: копию придется отослать Помпею и поэтому потребуется немало лести. (Я смотрю в свиток и вижу то место, где Квинт дополнил слова о «ниспосланной свыше доблести» Помпея: получилась «ниспосланная свыше необычайная доблесть».) Цицерон сочинил блестящий лозунг, вместивший в себя все заслуги Помпея: «Один закон, один муж, один

год» – и часами корпел над заключительной частью. Он твердо знал, что в случае неудачи на ростре его положение в обществе пострадает, а враги скажут, что у оратора нет связи с народом, ибо его слова не трогают римский плебс. Наутро перед выступлением он по-настоящему заболел от волнения. Цицерона беспрерывно тошнило, а я стоял рядом, подавая ему полотенце. Он был настолько изможден и бледен, что я всерьез беспокоился, достанет ли у него сил добрести до форума. Однако, по его глубокому убеждению, любой исполнитель, сколь бы опытен он ни был, должен бояться перед выходом на сцену: «ты должен напрячься, как согнутый лук, если хочешь, чтобы стрелы летели»; и когда мы достигли задворков ростры, Цицерон был уже готов выступать. Вряд ли стоит упоминать о том, что он не взял с собой никаких записей. Манилий объявил имя выступающего; последовали рукоплескания. Утро было превосходным – чистым и ясным. Собралась огромная толпа. Цицерон оправил рукава, выпрямился и медленно взошел к шуму и свету.

Помпею вновь противостояли Катул и Гортензий, но со времени принятия Габиниева закона они не придумали новых доводов, и Цицерон не отказал себе в удовольствии позабавиться над ними.

– Что же говорит Гортензий? – с издевкой спросил он. – Если надо облечь всей полнотой власти одного человека, то, по мнению Гортензия, этого более других достоин Помпей, но все же предоставлять всю полноту власти одному человеку не следует. До чего же устарели эти речи, опровергнутые скорее действительностью, чем словами. Ведь именно ты, Гортензий, употребив все свое богатое и редкостное дарование, убедительно и красноречиво возражал в сенате храброму мужу Габинию, когда тот предложил назначить одного военачальника для борьбы с морскими разбойниками. И что же? Клянусь бессмертными богами, если бы тогда римский народ придал твоему мнению больше значения, чем своей безопасности и своим истинным интересам, разве мы сохраняли бы и поныне нашу славу и владычество над миром?

Если Помпей хочет поставить Габиния во главе одного из легионов, пусть так и будет, заявил Цицерон. Ибо кто еще, кроме самого Помпея, сделал столь много для разгрома пиратов?

– Сам же я, – торжественно заключил Цицерон, – обещаю и обязуюсь перед римским народом посвятить свершению этого дела все свое усердие, ум, трудолюбие, дарование, все то влияние, каким я пользуюсь благодаря милости римского народа, то есть благодаря своей преторской власти, а также своему личному авторитету, честности и стойкости. И я призываю в свидетели всех богов, в особенности тех, которые являются покровителями этого священного места и видят все помыслы всех государственных мужей; делаю это не по чьей-либо просьбе, не с целью приобрести своим участием в этом деле расположение Помпея, не из желания найти в чем-либо мощном влиянии защиту от возможных опасностей и помощь при соискании почетных должностей, так как опасности я – насколько человек может за себя ручаться – легко избегну своим бескорыстием; почестей же я достигну не благодаря одному человеку, не выступлениями с этого места, а, при вашем благоволении, все тем же своим неутомимым трудолюбием. Итак, все взятое мной на себя в этом деле было взято – я твердо заявляю об этом – ради блага государства<sup>32</sup>.

Он покинул ростру под уважительные хлопки. Закон был принят, Лукулл лишен начальствования над войсками, а Габиний получил легатство. Что до Цицерона, то он преодолел еще одно препятствие на пути к консульству, но ценой небывалой ненависти со стороны аристократов.

Позже он получил письмо от Варрона с описанием того, как Помпей встретил известие о получении им полной власти над римскими войсками на Востоке. Центурионы, наперебой поздравляя Помпея, сгрудились вокруг полководца в его эфесской ставке, он же, нахмутив

<sup>32</sup> Перев. В. Горенштейна.

брови, хлопнул себя по бедру и («утомленным голосом», по свидетельству Варрона) произнес: «Увы, что за бесконечная борьба! Насколько лучше было бы остаться одним из незаметных людей – ведь теперь я никогда не избавлюсь от войн, никогда не спасусь от зависти, не смогу мирно жить в деревне с женой!» Такое притворство трудно было принять на веру, ведь все знали, насколько сильно он желал этой власти.

Преторство принесло Цицерону новые почести. Теперь, когда бы он ни вышел из дому, его уже охраняли шестеро ликторов. Впрочем, Цицерон почти не обращал на них внимания. То были неотесанные парни, которых взяли на службу за силу и жестокий нрав: если римского гражданина приговаривали к наказанию, они с готовностью исполняли приговор. Им не было равных в умении всыпать кому-либо палок или отрубить голову. Поскольку они занимались этим постоянно, некоторые за долгие годы службы привыкали к власти и смотрели на охраняемых ими магистратов чуть свысока из-за того, что те недолго оставались на месте: сегодня ты здесь, а завтра тебя нет. Цицерона корбило, когда они с преувеличенной грубостью расталкивали людей, очищая ему дорогу, а также приказывали окружающим обнажить голову или спешиться при приближении претора. Ведь люди, подвергавшиеся оскорблениям, были его избирателями. Он просил ликторов быть повежливее, и какое-то время те слушались, но скоро брались за старое. Главный из них, так называемый «ближний» ликтор, который постоянно должен был находиться возле охраняемого, был особенно несносным. Не помню уже его имени, но он всегда наушничал, сообщая Цицерону о намерениях других преторов, собирал по крохам сплетни у своих товарищей-ликторов, не сознавая, что его поведение представляется Цицерону крайне подозрительным. Ибо Цицерон знал: сплетни – это разновидность торговли, в которой ликтор предлагает сведения о «своем» магистрате. Однажды утром он пожаловался мне:

– Эти люди – живое предупреждение о том, что случается с любым государством, имеющим постоянных служащих. Из наших слуг они становятся нашими господами!

Как и он, я теперь занимал более высокое положение. Стало ясно, что, как доверенный письмоводитель претора, я, даже будучи рабом, вправе рассчитывать на особую любезность со стороны людей, с которыми встречается мой хозяин. Цицерон заранее предупредил: мне могут предлагать деньги, чтобы я использовал свое влияние в интересах просителей. А когда я начал горячо возражать, что никогда в жизни не приму взятки, он оборвал меня:

– Нет, Тирон, собственные деньги тебе не помешают. Почему бы и нет? Прошу об одном: говорить, кто тебе заплатил. Каждому, кто явится с подношением, говори, что мои решения не покупаются, что я рассматриваю беспристрастно любое дело. В остальном же полагаюсь на твою рассудительность.

Разговор этот имел для меня огромное значение. Я всегда надеялся на то, что рано или поздно Цицерон даст мне хоть какую-то свободу. Разрешение сберегать деньги стало предвестием того заветного дня. Суммы перепадали небольшие – пятьдесят монет, иногда сто. Ожидалось, что в обмен я подсуну претору под нос такой-то свиток или составлю рекомендательное письмо и передам ему на подпись. Деньги я хранил в небольшом кошельке, который прятал за расшатанным кирпичом в стене своей каморки.

Как претор, Цицерон был обязан преподавать право одаренным детям из хороших семейств. В мае, после сенатских каникул, у него появился новый молодой ученик – шестнадцати лет от роду. Это был Марк Целий Руф из Интерамнии, сын богатого ростовщика и влиятельного магистрата, ведавшего проведением выборов, из трибы Велина. Цицерон согласился, главным образом из желания сохранить хорошие отношения с отцом, быть наставником мальчика на протяжении двух лет, после чего тот должен был завершить обучение в другой семье – у Крассов, поскольку ее глава был связан с отцом Целия. Последний хотел, чтобы наследник в первую очередь научился распоряжаться своим состоянием. То был низенький хитрый

человечек, образчик заимодавца: похоже, сын для него был лишь вложением капитала, которое никак не приносило отдачи.

– Бить его надо регулярно, – напутствовал он Цицерона, еще не успев представить ему сына. – Мальчишка неглупый, вот только непутевый и распущенный. Так что разрешаю стегать его сколько душе угодно.

Вид у Цицерона был озадаченный. За всю свою жизнь он не отстегал ни одного человека. Но, к счастью, впоследствии отлично поладил с молодым Целием, который оказался полной противоположностью отцу. Он был высок и хорош собою, а также полностью равнодушен к деньгам и денежным отношениям. Цицерон находил это забавным, я – не очень: многие докучные обязанности, от которых Целий увиливал всеми силами, как правило, приходилось выполнять мне. И все же, оглядываясь назад, я вынужден признать, что юноша отличался редкостным обаянием.

Не буду вдаваться в подробности преторства Цицерона, ведь я пишу не учебник по юриспруденции, и вам, должно быть, не терпится, чтобы я перешел к самому занятному – консульским выборам. Стоит сказать, что Цицерон имел славу честного и справедливого судьи, а знания и опыт позволяли ему легко справляться с работой. Если же Цицерон не мог распутать правовое хитросплетение и нуждался в мнении еще одного знающего человека, он обращался к Сервию Сульпицию, своему старому приятелю, с которым они вместе учились у Молона. А иной раз отправлялся к уважаемому всеми претору суда по выборным делам Аквиллию Галлу, чей дом стоял на Виминальском холме. За время председательства Цицерона самым крупным оказалось дело Гая Лициния Мацера, родственника и сторонника Красса. Речь шла о его отрешении от должности наместника Македонии за злоупотребления. Слушания продолжались несколько недель, и Цицерон вынес вполне справедливое решение, но однажды не смог удержаться от шутки. Обвинение строилось на том, что Мацер получил полмиллиона в виде незаконных выплат. Поначалу тот отрицал это. Тогда были представлены доказательства того, что именно такую сумму уплатили ссудной компании, которая находилась под его управлением. Мацер тут же изменил свои показания и заявил, что действительно помнит эти выплаты, но думал, что они вполне законны.

– Что ж, вполне возможно, – сказал Цицерон присяжным, знакомя их с уликами, – вполне возможно, что обвиняемый так и думал. – Он погрузился в молчание, достаточно долгое для того, чтобы некоторые захихикали, а потом напустил на себя преувеличенную серьезность. – Нет-нет, в самом деле, он мог так считать. И в подобном случае, – (тут снова повисла пауза), – все побуждает заключить: этот человек слишком глуп для того, чтобы быть римским наместником.

Я много раз бывал в самых разных судах, и громоподобный смех стал верным признаком того, что Цицерон доказал вину сего мужа убедительнее самого искусного обвинителя. Беда Мацера заключалась вовсе не в том, что он был дураком. Наоборот, он был очень умен, настолько, что считал всех вокруг дураками. Пока присяжные голосовали, он, не ощущая угрозы, отправился домой, чтобы сменить одежду и подстричься, поскольку вечером надеялся отпраздновать победу. В отсутствие Мацера присяжные признали его виновным; и тот уже выходил из дома, чтобы вернуться в суд, когда Красс перехватил его на пороге и рассказал о случившемся. Одни утверждают, что он упал замертво, сраженный этой вестью. Другие – что он вернулся в дом и лишил себя жизни, дабы его сын не изведal унижения в связи со ссылкой отца. Как бы то ни было, дело завершилось его смертью, и у Красса появилась новая причина люто ненавидеть Цицерона, словно для этого не доставало иных причин.

Аполлоновы игры, по обычаю, давали начало сезону выборов, хотя, честно говоря, в те времена казалось, что ему нет конца. Едва завершались одни, как кандидаты начинали готовиться к следующим. По этому поводу Цицерон шутил, что управление государством – это

просто времяпровождение между выборами. Именно это, должно быть, и сгубило республику: она объелась выборами до смерти. Как бы то ни было, устройство общественных увеселений в честь Аполлона входило в обязанности городского претора, а им в тот год был Антоний Гибрида.

Римляне не ожидали ничего особенного, а вернее, не ожидали вовсе ничего – было известно, что все свои деньги Гибрида пропил и проиграл. И потому все едва не онемели от неожиданности, когда он устроил не только великолепные театральные постановки, но и пышные представления в Большом цирке: гонки на колесницах с двенадцатью заездами, атлетические состязания и охоту на диких зверей с участием пантер и всевозможных диковинных тварей. Сам я не был там, но Цицерон, вернувшись домой, рассказал мне обо всем в мельчайших подробностях. Он только и говорил что об этих празднествах. Улегшись на одну из лежанок в пустом триклинии – Теренция с Туллией были за городом, – Цицерон в красках описал увиденное им. Там были колесничие, почти полностью обнаженные атлеты – кулачные бойцы, борцы, бегуны, метатели копья и дискоболы, – флейтисты, лирники, танцоры, одетые вакханками и сатирами, курители фимиама, предназначенные к закланию быки и козы с позолоченными рогами, дикие животные в клетках, гладиаторы... Казалось, голова у него все еще идет кругом.

– Во сколько же все это обошлось? Я не перестаю задаваться этим вопросом. Гибрида, должно быть, рассчитывает вернуть издержки, когда поедет в свою провинцию. Слышал бы ты, как громогласно его приветствовали при появлении и уходе! Видно, я чего-то не понимаю, Тирон. Что ж, сколь невероятным это ни казалось, нам следует дополнить список. Пойдем же.

Мы вместе пошли в комнату для занятий, где я открыл сундук и вынул все записи относительно участия Цицерона в консульских выборах. Там было немало тайных списков – существующих сторонников, тех, кого следовало перетянуть на свою сторону, жертвователей, городов, местностей, с указанием на то, насколько горячо в них поддерживают Цицерона. Важнейшим, однако, был перечень вероятных противников. К именам прилагались сведения о каждом – как положительного, так и отрицательного свойства. Возглавлял список Гальба, за ним следовал Галл, затем Корнифиций и, наконец, Паликан. Цицерон взял у меня стилус и своим мелким и аккуратным почерком вписал пятого – того, чье имя он сам ожидал увидеть меньше всего: Антоний Гибрида.

Несколько дней спустя случилось то, что оказало сильнейшее воздействие на судьбу Цицерона и будущее государства, хотя вряд ли он тогда мог догадываться об этом. Нечто вроде крохотной оспины, которую человек обнаруживает у себя однажды утром, не придавая ей большого значения, – и за несколько месяцев та разрастается в гигантскую опухоль. В нашем случае оспиной стало послание, пришедшее нежданно, словно гром среди ясного неба: Цицерона вызывали к верховному понтифику Метеллу Пию. Моего хозяина снедало любопытство – Пий, уже очень старый (ему было не менее шестидесяти четырех лет) и полный достоинства, ранее никогда не снисходил до беседы с ним и уж тем более не звал к себе в гости. Конечно же, мы немедленно пустились в путь, следуя за ликторами, которые расчищали нам дорогу.

В те времена предстоятель обитал на Священной дороге, близ Дома весталок, и я помню, как польщен был Цицерон тем, что его видели входящим в эти покои. Ибо здесь действительно билось священное сердце Рима, и немногим выпадала возможность переступить этот порог. Нас подвели к лестнице, и мы вместе с провожатым пошли по галерее, с которой открывался вид на сад Дома весталок. В душе я таил надежду на то, что хоть краем глаза смогу взглянуть на одну из этих таинственных дев, одетых в белое, но сад был пуст, а замедлить ход мы не могли, поскольку в конце галереи уже стоял Пий. Он ждал нас, от нетерпения притопывая ногой, по бокам от него стояли двое жрецов. Всю жизнь он был солдатом, и это сказалось на его облике: Пий напоминал грубое и потертое изделие из кожи, которое долгие годы болталось под

открытым небом и лишь недавно оказалось в доме. Ни рукопожатия, ни приглашения присесть. Пий с ходу выпалил своим скрипучим голосом:

– Претор, мне нужно поговорить с тобой о Сергии Катилине.

При одном упоминании этого имени Цицерон оцепенел: именно Катилина замучил до смерти его дальнего родственника Гратидиана, государственного мужа, искавшего расположения у народа. Мучитель перебил несчастному конечности, вырвал глаза и язык. Безумная ярость пронзала мозг Катилины внезапно, словно молния. Он мог быть обаятельным, учтивым и дружелюбным. Но стоило кому-нибудь обронить в беседе замечание, внешне совершенно безобидное, или бросить на него будто бы неуважительный взгляд, как Катилина терял самообладание. Во времена Суллановых проскрипций, когда списки лиц, подлежащих смерти, оглашались на форуме, Катилина считался одним из самых искусных убийц. Действовал он молотом и ножом – «ударными орудиями», как их называли, – и сколотил немалое состояние за счет имущества казненных.

В числе тех, кого он замучил, оказался даже его собственный шурин. И все же ему невозможно было отказать в обаянии: на одного человека, содрогавшегося от его кровожадности, приходились двое-трое очарованных его щедростью, не менее безоглядной. Отличался он и плотской невоздержанностью. Семью годами ранее его обвинили в связи с девицей-весталкой – ею, кстати, была Фабия, сводная сестра Теренции. За такое преступление полагалась смерть – не только ему, но и ей. И если бы вина Катилины была доказана, Фабия ожидала бы обычная казнь за нарушение священного обета чистоты, – погребение заживо в крохотной камерке близ Коллинских ворот, предназначенной для этой цели. Но вокруг Катилины сплотились аристократы под предводительством Катула. Они добились для него оправдания, и он продолжил государственную деятельность, не понеся особого ущерба. В год, что предшествовал минувшему, он был претором, а затем уехал править Африкой, избежав всех этих страстей вокруг Габиниева закона. Ко времени описываемых событий он только что вернулся оттуда.

– Правителей Африки, – продолжил Пий, – давала в основном моя семья, с тех пор как полвека назад эта провинция оказалась во власти моего отца. Ее жители искали защиты у меня, и должен сказать тебе, претор, что никто не притеснял их так, как Сергей Катилина. Он ограбил провинцию до нитки, обирая и казня ее обитателей, насилая их жен и дочерей, расхищая богатства храмов. Ах, этот Сергей! – вскричал Пий, с отвращением сплюнув на пол большой сгусток желтой слюны. – Похваляется, что произошел от троянцев. И ни одного порядочного человека среди предков за двести с лишним лет! А недавно мне доложили, что ты – тот самый претор, который должен привлечь этого мерзавца к ответу. – Он смерил Цицерона взглядом с головы до ног. – Любопытно на тебя взглянуть! Не разберу, что ты за человек, но тем не менее... Так что же ты намерен сделать?

На попытки оскорбить его Цицерон всегда отвечал хладнокровием. И теперь он просто спросил:

– Африканцы подготовили дело?

– Подготовили. Их посланники уже в Риме, подыскивают подходящего обвинителя. К кому им обратиться?

– Вряд ли стоит спрашивать об этом меня. Председательствуя на суде, я должен хранить беспристрастность.

– Чушь! Оставь эту судейскую болтовню. Поговорим начистоту. Как мужчина с женщиной. – Пий поманил Цицерона, приглашая придвинуться. Почти все свои зубы он оставил на полях сражений, а потому, когда заговорил шепотом, слова вылетели из его щербатого рта с громким присвистом: – О нынешних судах тебе известно больше, чем мне. Так кто бы мог справиться с этим делом?

– Если говорить откровенно, дело не обещает быть легким, – сказал Цицерон. – Жестокость Катилины общеизвестна. Лишь отважному мужу по силам выдвинуть обвинения против



этого кровавого убийцы. К тому же, насколько можно предположить, в следующем году он будет избираться в консулы. Ты имеешь дело с действительно опасным врагом.

– В консулы? – Пий с размаху ударил кулаком себя в грудь. При этом ухнуло так, что сопровождавшие его жрецы от страха подпрыгнули на месте. – Сергию Катилине консулом не бывать – ни в следующем году, ни в каком другом. Не бывать, пока в этом старом теле теплится жизнь! Должен же найтись в этом городе тот, в ком достанет мужества привлечь его к суду. А если нет, то что ж... Я еще не так стар и глуп, чтобы забыть правила, по которым в Риме ведутся бои. А ты, претор, – заключил он, – на всякий случай оставь в своем расписании достаточно времени для слушаний по этому делу.

С этими словами верховный понтифик зашаркал прочь по коридору, бубня что-то себе под нос. Следом за ним зашагали благочестивые помощники.

Цицерон нахмурился, глядя вслед ему, и покачал головой. Я же не в силах был как следует разобраться в этих хитросплетениях, хоть и провел у него на службе тринадцать лет. Мне было невдомек, почему разговор так сильно встревожил его. Но хозяин мой явно испытал потрясение, и, как только мы вновь оказались на Священной дороге, он оттащил меня в сторону, подальше от ушей ближнего ликтора, и заговорил:

– Дело принимает серьезный оборот. Мне следовало быть готовым к этому.

Когда я спросил, какая ему разница – привлекут Катилину к суду или нет, он дрогнувшим голосом ответил:

– Пойми, глупец, закон не позволяет идти на выборы тому, против кого выдвинуты обвинения. Это означает, что если африканцам удастся найти себе защитника и обвинения против Катилины все же будут выдвинуты, а дело, допустим, затянется до следующего лета, ему не позволят притязать на консульство, пока разбирательство не будет завершено. А это означает, что если, паче чаяния, он будет оправдан, мне придется тягаться с ним в мой год.

Сомневаюсь, что в Риме был другой сенатор, способный заглядывать в будущее столь далеко и усмотреть повод для беспокойства в ворохе всевозможных «если». Действительно, когда он рассказал о своих тревогах Квинту, брат со смехом отмахнулся:

– А если бы в тебя ударила молния, Марк? И если бы Метелл Пий смог припомнить, в какой день недели это случилось?..

Однако ничто не могло успокоить Цицерона, и он негласно начал наводить справки, сопутствует ли африканцам успех в поисках достойного защитника. Впрочем, как он и предполагал, задача оказалась не из легких, хотя они собрали великое множество свидетельств преступлений Катилины, а Пий добился принятия сенатом постановления, осуждавшего бесчинства бывшего наместника. Никто не решался выступить против столь грозного противника: был риск, что в одну прекрасную ночь тебя найдут в Тибре, плывущим лицом вниз. На какое-то время обвинения повисли в воздухе, и Цицерон поместил это дело на задворки своего разума. К сожалению, передышка оказалась непродолжительной.

## XIV

Под конец преторства Цицерону следовало отправиться за границу, чтобы в течение года управлять одной из провинций. В республике это было обычным делом. Государственный муж получал возможность набраться опыта по части управления, а заодно и пополнить личные средства, истощившиеся после подготовки к выборам. Потом он возвращался домой, оценивал настроения в обществе и, если все складывалось хорошо, тем же летом выдвигался в консулы. К примеру, Антоний Гибрида, которому Аполлоновы игры явно обошлись очень недешево, отправился в Каппадокию, стремясь пожить чем только можно. Но Цицерон не пошел этим путем, отказавшись от права хозяйничать в провинции. Ему не хотелось стать жертвой непомерных обвинений, когда за тобой несколько месяцев неотступно ходит особый обвини-

тель. Кроме того, ему вполне хватило годового пребывания на Сицилии. С тех пор Цицерон боялся покидать Рим, а если уезжал, то лишь на неделю-другую. Трудно представить себе человека, который любил бы городскую жизнь больше Цицерона. Он черпал силы в суматохе улиц и площадей, шуме сената и форума. И какие бы выгоды ни сулила провинциальная жизнь, он совершенно не желал провести год в смертельной скуке, будь то на Сицилии или в Македонии.

К тому же у него стала забирать много времени защитническая практика. Первым его подопечным стал Гай Корнелий, бывший трибун Помпея, которого аристократы обвинили в измене. Не менее пяти видных сенаторов-патрициев – Гортензий, Катул, Лепид, Марк Лукулл и даже старикашка Метелл Пий – ополчились на Корнелия за содействие в принятии Помпеева закона, обвинив его в противозаконном нарушении вето, наложенного коллегой-трибуном. Я был убежден, что под таким натиском ему остается только отправиться в ссылку. Корнелий и сам так думал. Он даже стал паковать домашнюю утварь, готовясь к отъезду. Но, видя на противоположной стороне Гортензия и Катугула, Цицерон преисполнился непреклонной решимости. В завершающей речи он был просто неотразим.

– Им ли поучать нас? – спросил он. – Действительно ли об исконных правах трибунов должны рассказывать нам пятеро высокородных мужей, каждый из которых поддержал закон Суллы, отменивший именно эти права? Выступил ли хоть один из этих блистательных мужей в поддержку храбрейшего Гнея Помпея, когда тот, став консулом, первым делом восстановил принадлежавшее трибунам право вето? Спросите себя, наконец: действительно ли движет ими вновь проснувшаяся озабоченность обычаями трибунов, действительно ли она оторвала их от рыбных заводов и собственных портиков, заставив явиться в суд? Или же дело в иных «обычаях», гораздо более близких их сердцу, – себялюбии и жажде мести?

Он произнес еще многое в том же духе, и, когда наконец закончил, все пятеро высокопоставленных истцов (севших в ряд, что было ошибкой) словно уменьшились в размерах, особенно Пий, который явно не поспевал за происходящим. Приставив ладонь к уху, он беспокойно ерзал на месте, в то время как его мучитель расхаживал по площадке, где вершился суд. То было одно из последних появлений старого воина на публике, прежде чем он стал угасать от тяжелой болезни. После того как судьи проголосовали за снятие с Корнелия всех обвинений, Пий под шиканье и издевательский смех удалился из суда с выражением старческого недоумения на лице – тем самым, которое, боюсь, все более свойственно и мне самому.

– Что ж, – с немалым удовлетворением произнес Цицерон, когда и мы собрались идти домой, – теперь-то, во всяком случае, он знает, каков я.

Не стану перечислять всех дел, за которые брался Цицерон, – они исчисляются десятками. Таким был избранный им способ действий – обязать как можно больше влиятельных лиц оказывать ему поддержку на консульских выборах и сделать свое имя хорошо известным среди избирателей. Несомненно, он очень тщательно отбирал клиентов. По меньшей мере четверо были сенаторами: Фунданий, заведовавший крупным объединением голосующих, Орхивий, тоже претор, Галл, намеревавшийся избираться в преторы, и Муций Орестин, обвиненный в ограблении, но тем не менее надеявшийся стать трибуном. Дело Муция было сложным, и Цицерону пришлось уделить ему много дней.

Наверное, ни один еще кандидат не подходил так к выборам – как к деловому предприятию. Для обсуждения подготовки к ним Цицерон каждую неделю созывал собрание в своей комнате для занятий. Одни приходили, другие уходили, но узкий круг оставался прежним. В него входили пять человек: сам Цицерон, Квинт, Фруги, я и Целий – ученик Цицерона, постигавший премудрости правоведения. Несмотря на юный возраст (а может быть, и благодаря ему), он не знал себе равных в собирании слухов по всему городу. Подготовкой снова руководил Квинт, настоявший на своем праве вести эти собрания. Квинт не упускал случая намекнуть – то снисходительно усмехаясь, то приподнимая бровь, – что Цицерон, несмотря на чрезвычайную одаренность, был склонен к умствованиям и витал в облаках: чтобы устоять

на земле, он не мог обойтись без здравого смысла, присущего его брату. Цицерон подыгрывал Квинту, довольно умело изображая согласие.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.